ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1973

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ВОЙНА И МИР

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

Р 1
Т 53

Примечания
Л. Д. Опульской

Оформление художника
И. Жихарева

7—3—1
Подп. изд.

ВОЙНА И МИР

ТОМ ПЕРВЫЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

— Eh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) — je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus мой верный раб, comme vous dites [1]. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur [2], садитесь и рассказывайте.

Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был *грипп,* как она говорила (*грипп* был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими). В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано без различия во всех:

«Si vous n'avez rien de mieux à faire, Monsieur le comte (или mon prince), et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraye pas trop, je serai charmée de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures. Annette Scherer» [3].

---

[1] Ну, князь, Генуя и Лукка — поместья фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого Антихриста (право, я верю, что он Антихрист), — я вас больше не знаю, вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб, как вы говорите *(франц.)*. ⟨Переводы, за исключением специально отмеченных, принадлежат Л. Н. Толстому; переводы с французского языка не оговариваются. — *Ред.*⟩

[2] Я вижу, что я вас пугаю.

[3] Если у вас, граф (или князь), нет в виду ничего лучшего и если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между семью и десятью часами. *Анна Шерер.*

— Dieu, quelle virulente sortie![1] — отвечал, нисколько не смутясь такою встречей, вошедший князь, в придворном, шитом мундире, в чулках, башмаках и звездах, с светлым выражением плоского лица.

Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими, покровительственными интонациями, которые свойственны состаревшемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на диване.

— Avant tout dites moi, comment vous allez, chère amie?[2] Успокойте меня,— сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка.

— Как можно быть здоровой... когда нравственно страдаешь? Разве можно, имея чувство, оставаться спокойною в наше время? — сказала Анна Павловна.— Вы весь вечер у меня, надеюсь?

— А праздник английского посланника? Нынче середа. Мне надо показаться там,— сказал князь.— Дочь заедет за мной и повезет меня.

— Я думала, что нынешний праздник отменен. Je vous avoue que toutes ces fêtes et tous ces feux d'artifice commencent à devenir insipides[3].

— Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили,— сказал князь, по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили.

— Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu'a-t-on décidé par rapport à la dépêche de Novosilzoff? Vous savez tout[4].

— Как вам сказать? — сказал князь холодным, скучающим тоном. — Qu'a-t-on décidé? On a décidé que Buonaparte a brûlé ses vaisseaux, et je crois que nous sommes en train de brûler les nôtres[5].

Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пиесы. Анна Павловна Шерер, напротив,

---

[1] Господи, какое горячее нападение!

[2] Прежде всего скажите, как ваше здоровье, милый друг?

[3] Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны.

[4] Не мучьте меня. Ну, что же решили по случаю депеши Новосильцева? Вы всё знаете.

[5] Что решили? Решили, что Бонапарте сжег свои корабли, и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши.

несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов.

Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться.

В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась.

— Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю?.. Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали Новосильцеву? Ничего. Они не поняли, они не могут понять самоотвержения нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет! Пруссия уже объявила, что Бонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него... И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. Cette fameuse neutralité prussienne, ce n'est qu'un piège [1]. Я верю в одного бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!.. — Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своею горячностью.

— Я думаю,— сказал князь, улыбаясь,— что, ежели бы вас послали вместо нашего милого Винценгероде,

---

[1] Этот пресловутый нейтралитет Пруссии — только западня.

вы бы взяли приступом согласие прусского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю?

— Сейчас. A propos, — прибавила она, опять успокоиваясь,— нынче у меня два очень интересные человека, le vicomte de Mortemart, il est allié aux Montmorency par les Rohans [1], одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. И потом l'abbé Morio; [2] вы знаете этот глубокий ум? Он был принят государем. Вы знаете?

— А! Я очень рад буду,— сказал князь.— Скажите,— прибавил он, как будто только что вспомнив что-то и особенно-небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главной целью его посещения,— правда, что l'impératrice-mère [3] желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену? C'est un pauvre sire, ce baron, à ce qu'il paraît [4].— Князь Василий желал определить сына на это место, которое через императрицу Марию Феодоровну старались доставить барону.

Анна Павловна почти закрыла глаза в знак того, что ни она, ни кто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице.

— Monsieur le baron de Funke a été recommandé à l'impératrice-mère par sa sœur [5],— только сказала она грустным, сухим тоном. В то время как Анна Павловна назвала императрицу, лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, что с ней бывало каждый раз, когда она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице. Она сказала, что ее величество изволила оказать барону Функе beaucoup d'estime [6], и опять взгляд ее подернулся грустью.

Князь равнодушно замолк. Анна Павловна, с свойственною ей придворною и женскою ловкостью и быстротою такта, захотела и щелкануть князя за то, что он дерзнул так отозваться о лице, рекомендованном императрице, и в то же время утешить его.

---

[1] Кстати, — виконт Мортемар, он в родстве с Монморанси чрез Роганов.

[2] аббат Морио.

[3] вдовствующая императрица.

[4] Барон этот ничтожное существо, как кажется.

[5] Барон Функе рекомендован императрице-матери ее сестрою.

[6] много уважения.

— Mais à propos de votre famille, — сказала она, — знаете ли, что ваша дочь, с тех пор как выезжает, fait les délices de tout le monde. On la trouve belle comme le jour[1].

Князь наклонился в знак уважения и признательности.

— Я часто думаю, — продолжала Анна Павловна после минутного молчания, придвигаясь к князю и ласково улыбаясь ему, как будто выказывая этим, что политические и светские разговоры кончены и теперь начинается задушевный, — я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастие жизни. За что вам дала судьба таких двух славных детей (исключая Анатоля, вашего меньшого, я его не люблю, — вставила она безапелляционно, приподняв брови), — таких прелестных детей? А вы, право, менее всех цените их и потому их не сто́ите.

И она улыбнулась своею восторженною улыбкой.

— Que voulez-vous? Lafater aurait dit que je n'ai pas la bosse de la paternité[2], — сказал князь.

— Перестаньте шутить. Я хотела серьезно поговорить с вами. Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Между нами будь сказано (лицо ее приняло грустное выражение), о нем говорили у ее величества и жалеют вас...

Князь не отвечал, но она молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился.

— Что ж мне делать? — сказал он наконец. — Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли des imbéciles[3]. Ипполит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатоль — беспокойный. Вот одно различие, — сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то неожиданно-грубое и неприятное.

— И зачем родятся дети у таких людей, как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас, — сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза.

— Je suis votre верный раб, et à vous seule je puis l'avouer. Мои дети — ce sont les entraves de mon existence[4].

---

[1] Кстати, о вашем семействе... составляет наслаждение всего общества. Ее находят прекрасною, как день.

[2] Что делать! Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви.

[3] дурни.

[4] Я ваш... и вам одним могу признаться. Мои дети — обуза моего существования.

Это мой крест. Я так себе объясняю. Que voulez vous?..[1] — Он помолчал, выражая жестом свою покорность жестокой судьбе.

Анна Павловна задумалась.

— Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатоля. Говорят,— сказала она,— что старые девицы ont la manie des mariages[2]. Я еще не чувствую за собою этой слабости, но у меня есть одна petite personne, которая очень несчастлива с отцом, une parente à nous, une princesse[3] Болконская.— Князь Василий не отвечал, хотя с свойственной светским людям быстротой соображения и памятью движением головы показал, что он принял к соображенью это сведенье.

— Нет, вы знаете ли, что этот Анатоль мне стоит сорок тысяч в год, — сказал он, видимо не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал.

— Что будет через пять лет, ежели это пойдет так? Voilà l'avantage d'être père[4]. Она богата, ваша княжна?

— Отец очень богат и скуп. Он живет в деревне. Знаете, этот известный князь Болконский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный прусским королем. Он очень умный человек, но со странностями и тяжелый. La pauvre petite est malheureuse comme les pierres[5]. У нее брат, вот что недавно женился на Lise Мейнен, адъютант Кутузова. Он будет нынче у меня.

— Ecoutez, chère Annette[6],— сказал князь, взяв вдруг свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то книзу.— Arrangez-moi cette affaire et je suis votre вернейший раб à tout jamais (пап — comme mon староста m'écrit des[7] донесенья: покой-ер-п). Она хорошей фамилии и богата. Все, что мне нужно.

И он с теми свободными и фамильярными грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал фрейлинскою рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону.

---

[1] Что делать?..
[2] имеют манию женить.
[3] девушка... наша родственница, княжна.
[4] Вот выгода быть отцом.
[5] Бедняжка несчастлива, как камни.
[6] Послушайте, милая Анет.
[7] Устройте мне это дело, и я навсегда ваш... как мой староста мне пишет.

— Attendez[1],— сказала Анна Павловна, соображая.— Я нынче же поговорю с Lise (la femme du jeune Болконский)[2]. И, может быть, это уладится. Ce sera dans votre famille que je ferai mon apprentissage de vieille fille[3].

II

Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили; приехала дочь князя Василия, красавица Элен, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре и бальном платье. Приехала и известная, как la femme la plus séduisante de Pétersbourg[4], молодая, маленькая княгиня Болконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в *большой* свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера. Приехал князь Ипполит, сын князя Василия, с Мортемаром, которого он представил; приехал и аббат Морио и многие другие.

— Вы не видали еще, — или: — вы не знакомы с ma tante?[5] — говорила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма серьезно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как скоро стали приезжать гости, называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на ma tante и потом отходила.

Все гости совершали обряд приветствования никому не известной, никому не интересной и не нужной тетушки. Анна Павловна с грустным, торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Ma tante каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава богу, лучше. Все подходившие, из приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения исполненной тяжелой обязанности

---

[1] Постойте.
[2] Лизе (жене Болконского).
[3] Я в вашем семействе начну обучаться ремеслу старой девицы.
[4] самая обворожительная женщина в Петербурге.
[5] моей тетушкой?

отходили от старушки, чтоб уж весь вечер ни разу не подойти к ней.

Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее — короткость губы и полуоткрытый рот — казались ее особенною, собственно ее красотой. Всем было весело смотреть на эту полную здоровья и живости хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение. Старикам и скучающим, мрачным молодым людям казалось, что они сами делаются похожи на нее, побыв и поговорив несколько времени с ней. Кто говорил с ней и видел при каждом слове ее светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, тот думал, что он особенно нынче любезен. И это думал каждый.

Маленькая княгиня, переваливаясь, маленькими быстрыми шажками обошла стол с рабочею сумочкой на руке и, весело оправляя платье, села на диван, около серебряного самовара, как будто все, что она ни делала, было partie de plaisir[1] для нее и для всех ее окружавших.

— J'ai apporté mon ouvrage[2], — сказала она, развертывая свой ридикюль и обращаясь ко всем вместе.

— Смотрите, Annette, ne me jouez pas un mauvais tour,— обратилась она к хозяйке.— Vous m'avez écrit que c'était une toute petite soirée; voyez comme je suis attifée[3].

И она развела руками, чтобы показать свое, в кружевах, серенькое изящное платье, немного ниже грудей опоясанное широкою лентой.

— Soyez tranquille, Lise, vous serez toujours la plus jolie[4], — отвечала Анна Павловна.

— Vous savez, mon mari m'abandonne, — продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу,— il va se faire tuer. Dites moi, pourquoi cette vilaine guerre[5], — сказала

---

[1] увеселение.

[2] Я захватила работу.

[3] не сыграйте со мной злой шутки; вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер. Видите, как я укутана.

[4] Будьте покойны, Лиза, вы все-таки будете лучше всех.

[5] Вы знаете, мой муж покидает меня. Идет на смерть. Скажите, зачем эта гадкая война.

она князю Василию и, не дожидаясь ответа, обратилась к дочери князя Василия, к красивой Элен.

— Quelle délicieuse personne, que cette petite princesse! [1] — сказал князь Василий тихо Анне Павловне.

Вскоре после маленькой княгини вошел массивный, толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи, графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне. Но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, при виде вошедшего Пьера в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту. Хотя действительно Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной.

— C'est bien aimable à vous, monsieur Pierre, d'être venu voir une pauvre malade [2],— сказала ему Анна Павловна, испуганно переглядываясь с тетушкой, к которой она подводила его. Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскивать что-то глазами. Он радостно, весело улыбнулся, кланяясь маленькой княгине, как близкой знакомой, и подошел к тетушке. Страх Анны Павловны был не напрасен, потому что Пьер, не дослушав речи тетушки о здоровье ее величества, отошел от нее. Анна Павловна испуганно остановила его словами:

— Вы не знаете аббата Морио? Он очень интересный человек... — сказала она.

— Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно...

— Вы думаете?.. — сказала Анна Павловна, чтобы сказать что-нибудь и вновь обратиться к своим занятиям хозяйки дома, но Пьер сделал обратную неучтивость.

---

[1] Что за милая особа, эта маленькая княгиня.

[2] Очень мило с вашей стороны, мосье Пьер, что вы приехали навестить бедную больную.

Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушел; теперь он остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, нагнув голову и расставив большие ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, что план аббата был химера.

— Мы после поговорим, — сказала Анна Павловна, улыбаясь.

И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. Как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, — так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину. Но среди этих забот все виден был в ней особенный страх за Пьера. Она заботливо поглядывала на него в то время, как он подошел послушать то, что говорилось около Мортемара, и отошел к другому кружку, где говорил аббат. Для Пьера, воспитанного за границей, этот вечер Анны Павловны был первый, который он видел в России. Он знал, что тут собрана вся интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза. Он все боялся пропустить умные разговоры, которые он может услыхать. Глядя на уверенные и изящные выражения лиц, собранных здесь, он все ждал чего-нибудь особенно умного. Наконец он подошел к Морио. Разговор показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли, как это любят молодые люди.

III

Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели. Кроме ma tante, около которой сидела только одна пожилая дама с исплаканным, худым лицом, несколько чужая в этом блестящем обществе, общество разбилось на три кружка. В одном, более мужском, центром был аббат; в другом, молодом, —

красавица княжна Элен, дочь князя Василия, и хорошенькая, румяная, слишком полная по своей молодости, маленькая княгиня Болконская. В третьем — Мортемар и Анна Павловна.

Виконт был миловидный, с мягкими чертами и приемами, молодой человек, очевидно, считавший себя знаменитостью, но, по благовоспитанности, скромно предоставлявший пользоваться собой тому обществу, в котором он находился. Анна Павловна, очевидно, угощала им своих гостей. Как хороший метрдотель подает как нечто сверхъестественно-прекрасное тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидать его в грязной кухне, так в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям сначала виконта, потом аббата, как что-то сверхъестественно-утонченное. В кружке Мортемара заговорили тотчас об убиении герцога Энгиенского. Виконт сказал, что герцог Энгиенский погиб от своего великодушия и что были особенные причины озлобления Бонапарта.

— Ah! voyons. Contez-nous cela, vicomte, — сказала Анна Павловна, с радостью чувствуя, как чем-то à la Louis XV отзывалась эта фраза, — contez-nous cela, vicomte [1].

Виконт поклонился в знак покорности и учтиво улыбнулся. Анна Павловна сделала круг около виконта и пригласила всех слушать его рассказ.

— Le vicomte a été personnellement connu de monseigneur [2], — шепнула Анна Павловна одному. — Le vicomte est un parfait conteur [3], — проговорила она другому. — Comme on voit l'homme de la bonne compagnie [4], — сказала она третьему; и виконт был подан обществу в самом изящном и выгодном для него свете, как ростбиф на горячем блюде, посыпанный зеленью.

Виконт хотел уже начать свой рассказ и тонко улыбнулся.

— Переходите сюда, chère Hélène [5], — сказала Анна Павловна красавице княжне, которая сидела поодаль, составляя центр другого кружка.

Княжна Элен улыбалась; она поднялась с той же неизменяющеюся улыбкой вполне красивой женщины, с

---

[1] Ах, да! Расскажите нам это, виконт... напоминающим Людовика XV.

[2] Виконт был лично знаком с герцогом.

[3] Виконт удивительный мастер рассказывать.

[4] Как сейчас виден человек хорошего общества.

[5] милая Элен. — *Ред.*

которою она вошла в гостиную. Слегка шумя своею белою бальною робой, убранною плющом и мохом, и блестя белизной плеч, глянцем волос и бриллиантов, она прошла между расступившимися мужчинами и прямо, не глядя ни на кого, но всем улыбаясь и как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины, и как будто внося с собою блеск бала, подошла к Анне Павловне. Элен была так хороша, что не только не было в ней заметно и тени кокетства, но, напротив, ей как будто совестно было за свою несомненную и слишком сильно и победительно действующую красоту. Она как будто желала и не могла умалить действие своей красоты.

— Quelle belle personne! [1] — говорил каждый, кто ее видел. Как будто пораженный чем-то необычайным, виконт пожал плечами и опустил глаза в то время, как она усаживалась пред ним и освещала и его все тою же неизменною улыбкой.

— Madame, je crains pour mes moyens devant un pareil auditoire [2], — сказал он, наклоняя с улыбкой голову.

Княжна облокотила свою открытую полную руку на столик и не нашла нужным что-либо сказать. Она, улыбаясь, ждала. Во все время рассказа она сидела прямо, посматривая изредка то на свою полную красивую руку, легко лежавшую на столе, то на еще более красивую грудь, на которой она поправляла бриллиантовое ожерелье; поправляла несколько раз складки своего платья и, когда рассказ производил впечатление, оглядывалась на Анну Павловну и тотчас же принимала то самое выражение, которое было на лице фрейлины, и потом опять успокоивалась в сияющей улыбке. Вслед за Элен перешла и маленькая княгиня от чайного стола.

— Attendez moi, je vais prendre mon ouvrage, — проговорила она. — Voyons, à quoi pensez-vous? — обратилась она к князю Ипполиту. — Apportez-moi mon ridicule [3].

Княгиня, улыбаясь и говоря со всеми, вдруг произвела перестановку и, усевшись, весело оправилась.

— Теперь мне хорошо, — приговаривала она и, попросив начинать, принялась за работу.

---

[1] Что за красавица!

[2] Я, право, опасаюсь за свое уменье перед такой публикой.

[3] Подождите, я возьму мою работу... Что ж вы? О чем вы думаете? Принесите мой ридикюль.

Князь Ипполит перенес ей ридикюль, перешел за нею и, близко придвинув к ней кресло, сел подле нее.

Le charmant Hippolyte[1] поражал своим необыкновенным сходством с сестрою-красавицею и еще более тем, что, несмотря на сходство, он был поразительно дурен собой. Черты его лица были те же, как и у сестры, но у той все освещалось жизнерадостной, самодовольной, молодой, неизменной улыбкой и необычайной, античной красотой тела; у брата, напротив, то же лицо было отуманено идиотизмом и неизменно выражало самоуверенную брюзгливость, а тело было худощаво и слабо. Глаза, нос, рот — все сжималось как будто в одну неопределенную и скучную гримасу, а руки и ноги всегда принимали неестественное положение.

— Ce n'est pas une histoire de revenants?[2] — сказал он, усевшись подле княгини и торопливо пристроив к глазам свой лорнет, как будто без этого инструмента он не мог начать говорить.

— Mais non, mon cher[3],— пожимая плечами, сказал удивленный рассказчик.

— C'est que je déteste les histoires de revenants[4],— сказал князь Ипполит таким тоном, что видно было, — он сказал эти слова, а потом уже понял, что они значили.

Из-за самоуверенности, с которою он говорил, никто не мог понять, очень ли умно или очень глупо то, что он сказал. Он был в темно-зеленом фраке, в панталонах цвета cuisse de nymphe effrayée[5], как он сам говорил, в чулках и башмаках.

Vicomte рассказал очень мило о том ходившем тогда анекдоте, что герцог Энгиенский тайно ездил в Париж для свидания с m-lle George[6], и что там он встретился с Бонапарте, пользовавшимся тоже милостями знаменитой актрисы, и что там, встретившись с герцогом, Наполеон случайно упал в тот обморок, которому он был подвержен, и находился во власти герцога, которою герцог не воспользовался, но что Бонапарте впоследствии за это-то великодушие и отмстил смертью герцогу.

---

[1] Милый Ипполит. — *Ред.*
[2] Это не история о привидениях?
[3] Вовсе нет.
[4] Дело в том, что я терпеть не могу историй о привидениях.
[5] тела испуганной нимфы.
[6] актрисой Жорж.

Рассказ был очень мил и интересен, особенно в том месте, где соперники вдруг узнают друг друга, и дамы, казалось, были в волнении.

— Charmant[1],— сказала Анна Павловна, оглядываясь вопросительно на маленькую княгиню.

— Charmant, — прошептала маленькая княгиня, втыкая иголку в работу, как будто в знак того, что интерес и прелесть рассказа мешают ей продолжать работу.

Виконт оценил эту молчаливую похвалу и, благодарно улыбнувшись, стал продолжать; но в это время Анна Павловна, все поглядывавшая на страшного для нее молодого человека, заметила, что он что-то слишком горячо и громко говорит с аббатом, и поспешила на помощь к опасному месту. Действительно, Пьеру удалось завязать с аббатом разговор о политическом равновесии, и аббат, видимо, заинтересованный простодушной горячностью молодого человека, развивал перед ним свою любимую идею. Оба слишком оживленно и естественно слушали и говорили, и это-то не понравилось Анне Павловне.

— Средство — европейское равновесие и droit des gens[2],— говорил аббат.— Стоит одному могущественному государству, как Россия, прославленному за варварство, стать бескорыстно во главе союза, имеющего целью равновесие Европы, — и оно спасет мир!

— Как же вы найдете такое равновесие? — начал было Пьер; но в это время подошла Анна Павловна и, строго взглянув на Пьера, спросила итальянца о том, как он переносит здешний климат. Лицо итальянца вдруг изменилось и приняло оскорбительно притворно-сладкое выражение, которое, видимо, было привычно ему в разговоре с женщинами.

— Я так очарован прелестями ума и образования общества, в особенности женского, в которое я имел счастье быть принят, что не успел еще подумать о климате, — сказал он.

Не выпуская уже аббата и Пьера, Анна Павловна для удобства наблюдения присоединила их к общему кружку.

В это время в гостиную вошло новое лицо. Новое лицо это был молодой князь Андрей Болконский, муж маленькой княгини. Князь Болконский был небольшого роста,

---

[1] Прелестно.
[2] народное право.

весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою оживленною женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них, и слушать их ему было очень скучно. Из всех же прискучивших ему лиц лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всех ему надоело. С гримасой, портившею его красивое лицо, он отвернулся от нее. Он поцеловал руку Анны Павловны и, щурясь, оглядел все общество.

— Vous vous enrôlez pour la guerre, mon prince? [1] — сказала Анна Павловна.

— Le général Koutouzoff,— сказал Болконский, ударяя на последнем слоге *zoff,* как француз, — a bien voulu de moi pour aide-de-camp... [2]

— Et Lise, votre femme? [3]

— Она поедет в деревню.

— Как вам не грех лишать нас вашей прелестной жены?

— André, — сказала его жена, обращаясь к мужу тем же кокетливым тоном, каким она обращалась и к посторонним, — какую историю нам рассказал виконт о m-lle Жорж и Бонапарте!

Князь Андрей зажмурился и отвернулся. Пьер, со времени входа князя Андрея в гостиную не спускавший с него радостных, дружелюбных глаз, подошел к нему и взял его за руку. Князь Андрей, не оглядываясь, сморщил лицо в гримасу, выражавшую досаду на того, кто трогает его за руку, но, увидав улыбающееся лицо Пьера, улыбнулся неожиданно-доброй и приятной улыбкой.

— Вот как!.. И ты в большом свете! — сказал он Пьеру.

— Я знал, что вы будете, — отвечал Пьер. — Я приеду к вам ужинать, — прибавил он тихо, чтобы не мешать виконту, который продолжал свой рассказ.— Можно?

— Нет, нельзя, — сказал князь Андрей, смеясь, пожатием руки давая знать Пьеру, что этого не нужно спрашивать. Он что-то хотел сказать еще, но в это время

---

[1] Вы собираетесь на войну, князь?
[2] Генералу Кутузову угодно меня к себе в адъютанты...
[3] А Лиза, ваша жена?

поднялся князь Василий с дочерью, и мужчины встали, чтобы дать им дорогу.

— Вы меня извините, мой милый виконт, — сказал князь Василий французу, ласково притягивая его за рукав вниз к стулу, чтобы он не вставал. — Этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас. Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер, — сказал он Анне Павловне.

Дочь его, княжна Элен, слегка придерживая складки платья, пошла между стульев, и улыбка сияла еще светлее на ее прекрасном лице. Пьер смотрел почти испуганными, восторженными глазами на эту красавицу, когда она проходила мимо его.

— Очень хороша, — сказал князь Андрей.

— Очень, — сказал Пьер.

Проходя мимо, князь Василий схватил Пьера за руку и обратился к Анне Павловне.

— Образуйте мне этого медведя, — сказал он. — Вот он месяц живет у меня, и в первый раз я его вижу в свете. Ничто так не нужно молодому человеку, как общество умных женщин.

IV

Анна Павловна улыбнулась и обещалась заняться Пьером, который, она знала, приходился родня по отцу князю Василью. Пожилая дама, сидевшая прежде с ma tante, торопливо встала и догнала князя Василья в передней. С лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. Доброе, исплаканное лицо ее выражало только беспокойство и страх.

— Что же вы мне скажете, князь, о моем Борисе? — сказала она, догоняя его в передней. (Она выговаривала имя Борис с особенным ударением на *о*). — Я не могу оставаться дольше в Петербурге. Скажите, какие известия я могу привезти моему бедному мальчику?

Несмотря на то, что князь Василий неохотно и почти неучтиво слушал пожилую даму и даже выказывал нетерпение, она ласково и трогательно улыбалась ему и, чтобы он не ушел, взяла его за руку.

— Что вам сто́ит сказать слово государю, и он прямо будет переведен в гвардию, — просила она.

— Поверьте, что я сделаю все, что могу, княгиня, — отвечал князь Василий, — но мне трудно просить госу-

даря; я бы советовал вам обратиться к Румянцеву, через князя Голицына: это было бы умнее.

Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий России, но она была бедна, давно вышла из света и утратила прежние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. Только затем, чтобы увидеть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер к Анне Павловне, только затем она слушала историю виконта. Она испугалась слов князя Василия; когда-то красивое лицо ее выразило озлобление, но это продолжалось только минуту. Она опять улыбнулась и крепче схватилась за руку князя Василия.

— Послушайте, князь, — сказала она, — я никогда не просила вас, никогда не буду просить, никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам. Но теперь, я богом заклинаю вас, сделайте это для моего сына, и я буду считать вас благодетелем, — торопливо прибавила она. — Нет, вы не сердитесь, а вы обещайте мне. Я просила Голицына, он отказал. Soyez le bon enfant que vous avez été [1], — говорила она, стараясь улыбаться, тогда как в ее глазах были слезы.

— Папа́, мы опоздаем, — сказала, поворачивая свою красивую голову на античных плечах, княжна Элен, ожидавшая у двери.

Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтоб он не исчез. Князь Василий знал это, и, раз сообразив, что ежели бы он стал просить за всех, кто его просит, то вскоре ему нельзя было бы просить за себя, он редко употреблял свое влияние. В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако, после ее нового призыва, что-то вроде укора совести. Она напомнила ему правду: первыми шагами своими в службе он был обязан ее отцу. Кроме того, он видел по ее приемам, что она одна из тех женщин, особенно матерей, которые, однажды взяв себе что-нибудь в голову, не отстанут до тех пор, пока не исполнят их желания, а в противном случае готовы на ежедневные, ежеминутные приставания и даже на сцены. Это последнее соображение поколебало его.

— Chère Анна Михайловна, — сказал он с своею всегдашнею фамильярностью и скукой в голосе.— Для меня

---

[1] Будьте тем добрым, каким вы бывали прежде.

почти невозможно сделать то, что вы хотите; но чтобы доказать вам, как я люблю вас и чту память покойного отца вашего, я сделаю невозможное: сын ваш будет переведен в гвардию, вот вам моя рука. Довольны вы?

— Милый мой, вы благодетель! Я иного и не ждала от вас; я знала, как вы добры.

Он хотел уйти.

— Постойте, два слова. Une fois passé aux gardes... [1] — Она замялась. — Вы хороши с Михайлом Иларионовичем Кутузовым, рекомендуйте ему Бориса в адъютанты. Тогда бы я была покойна, и тогда бы уж...

Князь Василий улыбнулся.

— Этого не обещаю. Вы знаете, как осаждают Кутузова с тех пор, как он назначен главнокомандующим. Он мне сам говорил, что все московские барыни сговорились отдать ему всех своих детей в адъютанты.

— Нет, обещайте, я не пущу вас, милый благодетель мой.

— Папá, — опять тем же тоном повторила красавица,— мы опоздаем.

— Ну, au revoir [2], прощайте, видите...

— Так завтра вы доложите государю?

— Непременно, а Кутузову не обещаю.

— Нет, обещайте, обещайте, Basile, — сказала вслед ему Анна Михайловна, с улыбкой молодой кокетки, которая когда-то, должно быть, была ей свойственна, а теперь так не шла к ее истощенному лицу.

Она, видимо, забыла свои годы и пускала в ход, по привычке, все старинные женские средства. Но как только он вышел, лицо ее опять приняло то же холодное, притворное выражение, которое было на нем прежде. Она вернулась к кружку, в котором виконт продолжал рассказывать, и опять сделала вид, что слушает, дожидаясь времени уехать, так как дело ее было сделано.

— Но как вы находите всю эту последнюю комедию du sacre de Milan? [3] — сказала Анна Павловна.— Et la nouvelle comédie des peuples de Gênes et de Lucques qui viennent présenter leurs vœux à M. Buonaparte. M. Buonaparte assis sur un trône, et exauçant les vœux des nations!

---

[1] Но когда его переведут в гвардию...
[2] до свиданья.
[3] коронации в Милане?

Adorable! Non, mais c'est à en devenir folle! On dirait que le monde entier a perdu la tête [1].

Князь Андрей усмехнулся, прямо глядя в лицо Анны Павловны.

— «Dieu me la donne, gare à qui la touche»,— сказал он (слова Бонапарте, сказанные при возложении короны). — On dit qu'il a été très beau en prononçant ces paroles [2],— прибавил он и еще раз повторил эти слова по-итальянски: «Dio mi la dona, guai a chi la tocca».

— J'espère enfin, — продолжала Анна Павловна, — que ça a été la goutte d'eau qui fera déborder le verre. Les souverains ne peuvent plus supporter cet homme qui menace tout [3].

— Les souverains? Je ne parle pas de la Russie,— сказал виконт учтиво и безнадежно.— Les souverains, madame! Qu'ont ils fait pour Louis XVI, pour la reine, pour madame Elisabeth? Rien,— продолжал он, одушевляясь.— Et croyez-moi, ils subissent la punition pour leur trahison de la cause des Bourbons. Les souverains? Ils envoient des ambassadeurs complimenter l'usurpateur [4].

И он, презрительно вздохнув, опять переменил положение. Князь Ипполит, долго смотревший в лорнет на виконта, вдруг при этих словах повернулся всем телом к маленькой княгине и, попросив у нее иголку, стал показывать ей, рисуя иголкой на столе, герб Конде. Он растолковывал ей этот герб с таким значительным видом, как будто княгиня просила его об этом.

— Bâton de gueules, engrêlé de gueules d'azur — maison Condé [5],— говорил он.

---

[1] И новая комедия: народы Генуи и Лукки изъявляют свои желания господину Бонапарте. И господин Бонапарте сидит на троне и исполняет желания народов. О! это восхитительно! Нет, от этого можно с ума сойти. Подумаешь, что весь свет потерял голову.

[2] «Бог мне дал корону. Горе тому, кто ее тронет». Говорят, он был очень хорош, произнося эти слова.

[3] Надеюсь, что это была, наконец, та капля, которая переполнит стакан. Государи не могут более терпеть этого человека, который угрожает всему.

[4] Государи! Я не говорю о России. Государи! Но что они сделали для Людовика XVI, для королевы, для Елизаветы? Ничего. И, поверьте мне, они несут наказание за свою измену делу Бурбонов. Государи! Они шлют послов приветствовать похитителя престола.

[5] Палка из пастей, оплетенная лазоревыми пастями, — дом Конде.

Княгиня, улыбаясь, слушала.

— Ежели еще год Бонапарте останется на престоле Франции, — продолжал виконт начатый разговор, с видом человека, не слушающего других, но в деле, лучше всех ему известном, следящего только за ходом своих мыслей, — то дела пойдут слишком далеко. Интригой, насилием, изгнаниями, казнями общество, я разумею хорошее общество, французское, навсегда будет уничтожено, и тогда...

Он пожал плечами и развел руками. Пьер хотел было сказать что-то: разговор интересовал его, но Анна Павловна, караулившая его, перебила.

— Император Александр, — сказала она с грустью, сопутствовавшей всегда ее речам об императорской фамилии, — объявил, что он предоставит самим французам выбрать образ правления. И я думаю, нет сомнения, что вся нация, освободившись от узурпатора, бросится в руки законного короля, — сказала Анна Павловна, стараясь быть любезной с эмигрантом и роялистом.

— Это сомнительно, — сказал князь Андрей. — Monsieur le vicomte[1] совершенно справедливо полагает, что дела зашли уже слишком далеко. Я думаю, что трудно будет возвратиться к старому.

— Сколько я слышал, — краснея, опять вмешался в разговор Пьер, — почти все дворянство перешло уже на сторону Бонапарта.

— Это говорят бонапартисты, — сказал виконт, не глядя на Пьера. — Теперь трудно узнать общественное мнение Франции.

— Bonaparte l'a dit[2],— сказал князь Андрей с усмешкой. (Видно было, что виконт ему не нравился и что он, хотя и не смотрел на него, против него обращал свои речи.)

— «Je leur ai montré le chemin de la gloire,— сказал он после недолгого молчания, опять повторяя слова Наполеона,— ils n'en ont pas voulu; je leur ai ouvert mes antichambres, ils se sont precipités en foule...» Je ne sais pas à quel point il a eu le droit de le dire[3].

---

[1] Господин виконт.

[2] Это говорил Бонапарт.

[3] «Я показал им путь славы: они не хотели; я открыл им мои передние: они бросились толпой...» Не знаю, до какой степени имел он право так говорить.

— Aucun[1], — возразил виконт. — После убийства герцога даже самые пристрастные люди перестали видеть в нем героя. Si même ça été un héros pour certaines gens, — сказал виконт, обращаясь к Анне Павловне, — depuis l'assassinat du duc il y a un martyr de plus dans le ciel, un héros de moins sur la terre[2].

Не успели еще Анна Павловна и другие улыбкой оценить этих слов виконта, как Пьер опять ворвался в разговор, и Анна Павловна, хотя и предчувствовавшая, что он скажет что-нибудь неприличное, уже не могла остановить его.

— Казнь герцога Энгиенского, — сказал Пьер, — была государственная необходимость; и я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке.

— Dieu! mon dieu![3] — страшным шепотом проговорила Анна Павловна.

— Comment, monsieur Pierre, vous trouvez que l'assassinat est grandeur d'âme?[4] — сказала маленькая княгиня, улыбаясь и придвигая к себе работу.

— Ah! Oh! — сказали разные голоса.

— Capital![5] — по-английски сказал князь Ипполит и принялся бить себя ладонью по коленке. Виконт только пожал плечами.

Пьер торжественно посмотрел сверх очков на слушателей.

— Я потому так говорю, — продолжал он с отчаянностью, — что Бурбоны бежали от революции, предоставив народ анархии; а один Наполеон умел понять революцию, победить ее, и потому для общего блага он не мог остановиться перед жизнью одного человека.

— Не хотите ли перейти к тому столу? — сказала Анна Павловна. Но Пьер, не отвечая, продолжал свою речь.

— Нет, — говорил он, все более и более одушевляясь, — Наполеон велик, потому что он стал выше революции, подавил ее злоупотребления, удержав все хорошее,— и равенство граждан, и свободу слова и печати,— и только потому приобрел власть.

---

[1] Никакого.

[2] Если он и был героем для некоторых людей, то после убиения герцога одним мучеником стало больше на небесах и одним героем меньше на земле.

[3] Бог мой!

[4] Как, мосье Пьер, вы видите в убийстве величие души?

[5] Превосходно!

— Да, ежели бы он, взяв власть, не пользуясь ею для убийства, отдал бы ее законному королю, — сказал виконт,— тогда бы я назвал его великим человеком.

— Он бы не мог этого сделать. Народ отдал ему власть только затем, чтоб он избавил его от Бурбонов, и потому, что народ видел в нем великого человека. Революция была великое дело, — продолжал мсье Пьер, выказывая этим отчаянным и вызывающим вводным предложением свою великую молодость и желание все поскорее высказать.

— Революция и цареубийство великое дело?.. После этого... да не хотите ли перейти к тому столу? — повторила Анна Павловна.

— Contrat social [1], — с кроткой улыбкой сказал виконт.

— Я не говорю про цареубийство. Я говорю про идеи.

— Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства, — опять перебил иронический голос.

— Это были крайности, разумеется, но не в них все значение, а значение в правах человека, в эманципации от предрассудков, в равенстве граждан; и все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе.

— Свобода и равенство, — презрительно сказал виконт, как будто решившийся, наконец, серьезно доказать этому юноше всю глупость его речей, — всё громкие слова, которые уже давно компрометировались. Кто же не любит свободы и равенства? Еще спаситель наш проповедовал свободу и равенство. Разве после революции люди стали счастливее? Напротив. Мы хотели свободы, а Бонапарте уничтожил ее.

Князь Андрей с улыбкой посматривал то на Пьера, то на виконта, то на хозяйку. В первую минуту выходки Пьера Анна Павловна ужаснулась, несмотря на свою привычку к свету; но когда она увидела, что, несмотря на произнесенные Пьером святотатственные речи, виконт не выходил из себя, и когда она убедилась, что замять этих речей уже нельзя, она собралась с силами и, присоединившись к виконту, напала на оратора.

— Mais, mon cher monsieur Pierre [2],— сказала Анна Павловна, — как же вы объясняете великого человека, который мог казнить герцога, наконец просто человека, без суда и без вины?

---

[1] «Общественный договор» Руссо.
[2] Но, мой любезный мосье Пьер.

— Я бы спросил, — сказал виконт, — как monsieur объясняет 18 брюмера? Разве это не обман? C'est un escamotage qui ne ressemble nullement à la manière d'agir d'un grand homme [1].

— А пленные в Африке, которых он убил? — сказала маленькая княгиня. — Это ужасно! — И она пожала плечами.

— C'est un roturier, vous aurez beau dire [2], — сказал князь Ипполит.

Мсье Пьер не знал, кому отвечать, оглянул всех и улыбнулся. Улыбка у него была не такая, как у других людей, сливающаяся с неулыбкой. У него, напротив, когда приходила улыбка, то вдруг, мгновенно исчезало серьезное и даже несколько угрюмое лицо и являлось другое — детское, доброе, даже глуповатое и как бы просящее прощения.

Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, что этот якобинец совсем не так страшен, как его слова. Все замолчали.

— Как вы хотите, чтоб он всем отвечал вдруг? — сказал князь Андрей. — Притом надо в поступках государственного человека различать поступки частного лица, полководца или императора. Мне так кажется.

— Да, да, разумеется, — подхватил Пьер, обрадованный выступавшею ему подмогой.

— Нельзя не сознаться, — продолжал князь Андрей, — Наполеон как человек велик на Аркольском мосту, в госпитале в Яффе, где он чумным подает руку, но... но есть другие поступки, которые трудно оправдать.

Князь Андрей, видимо, желавший смягчить неловкость речи Пьера, приподнялся, сбираясь ехать и подавая знак жене.

Вдруг князь Ипполит поднялся и, знаками рук останавливая всех и прося присесть, заговорил:

— Ah! aujourd'hui on m'a raconté une anecdote moscovite, charmante: il faut que je vous en régale. Vous m'excusez, vicomte, il faut que je raconte en russe. Autrement on ne sentira pas le sel de l'histoire [3].

---

[1] Это шулерство, вовсе не похожее на образ действий великого человека.

[2] Выскочка, что ни говорите.

[3] Ах, сегодня мне рассказали прелестный московский анекдот; надо вас им попотчевать. Извините, виконт, я буду рассказывать по-русски; иначе пропадет вся соль анекдота.

И князь Ипполит начал говорить по-русски таким выговором, каким говорят французы, пробывшие с год в России. Все приостановились: так оживленно, настоятельно требовал князь Ипполит внимания к своей истории.

— В Moscou есть одна бариня, une dame. И она очень скупо. Ей нужно было иметь два valets de pied [1] за карета. И очень большой ростом. Это было ее вкусу. И она имела une femme de chambre [2], еще большой росту. Она сказала...

Тут князь Ипполит задумался, видимо, с трудом соображая.

— Она сказала... да, она сказала: «Девушка (à la femme de chambre), надень livrée и поедем мной, за карета, faire des visites» [3].

Тут князь Ипполит фыркнул и захохотал гораздо прежде своих слушателей, что произвело невыгодное для рассказчика впечатление. Однако многие, и в том числе пожилая дама и Анна Павловна, улыбнулись.

— Она поехала. Незапно сделалась сильный ветер. Девушка потеряла шляпа, и длинны волоса расчесались...

Тут он не мог уже более держаться и стал отрывисто смеяться и сквозь этот смех проговорил:

— И весь свет узнал...

Тем анекдот и кончился. Хотя и непонятно было, для чего он его рассказал и для чего его надо было рассказать непременно по-русски, однако Анна Павловна и другие оценили светскую любезность князя Ипполита, так приятно закончившего неприятную и нелюбезную выходку мсье Пьера. Разговор после анекдота рассыпался на мелкие, незначительные толки о будущем и прошедшем бале, спектакле, о том, когда и где кто увидится.

V

Поблагодарив Анну Павловну за ее charmante soirée [4], гости стали расходиться.

Пьер был неуклюж. Толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными красными руками, он, как

---

[1] лакея.
[2] девушка.
[3] Ливрею... делать визит.
[4] обворожительный вечер.

говорится, не умел войти в салон и еще менее умел из него выйти, то есть перед выходом сказать что-нибудь особенно приятное. Кроме того, он был рассеян. Вставая, он вместо своей шляпы захватил треугольную шляпу с генеральским плюмажем и держал ее, дергая султан, до тех пор, пока генерал не попросил возвратить ее. Но вся его рассеянность и неуменье войти в салон и говорить в нем выкупались выражением добродушия, простоты и скромности. Анна Павловна повернулась к нему и, с христианскою кротостью выражая прощение за его выходку, кивнула ему и сказала:

— Надеюсь увидеть вас еще, но надеюсь тоже, что вы перемените свои мнения, мой милый мсье Пьер, — сказала она.

Когда она сказала ему это, он ничего не ответил, только наклонился и показал всем еще раз свою улыбку, которая ничего не говорила, разве только вот что: «Мнения мнениями, а вы видите, какой я добрый и славный малый». И все и Анна Павловна невольно почувствовали это.

Князь Андрей вышел в переднюю и, подставив плечи лакею, накидывавшему ему плащ, равнодушно прислушивался к болтовне своей жены с князем Ипполитом, вышедшим тоже в переднюю. Князь Ипполит стоял возле хорошенькой беременной княгини и упорно смотрел прямо на нее в лорнет.

— Идите, Annette, вы простудитесь, — говорила маленькая княгиня, прощаясь с Анной Павловной. — C'est arrêté [1], — прибавила она тихо.

Анна Павловна уже успела переговорить с Лизой о сватовстве, которое она затевала между Анатолем и золовкой маленькой княгини.

— Я надеюсь на вас, милый друг, — сказала Анна Павловна тоже тихо,— вы напишете к ней и скажете мне, comment le père envisagera la chose. Au revoir [2],— и она ушла из передней.

Князь Ипполит подошел к маленькой княгине и, близко наклоняя к ней свое лицо, стал полушепотом что-то говорить ей.

Два лакея, один княгинин, другой его, дожидаясь,

---

[1] Так решено.
[2] как отец посмотрит на дело. До свидания.

когда они кончат говорить, стояли с шалью и редингтотом и слушали их, непонятный им, французский говор с такими лицами, как будто они понимали, что говорится, но не хотели показывать этого. Княгиня, как всегда, говорила улыбаясь и слушала смеясь.

— Я очень рад, что не поехал к посланнику, — говорил князь Ипполит, — скука... Прекрасный вечер. Не правда ли, прекрасный?

— Говорят, что бал будет очень хорош, — отвечала княгиня, вздергивая с усиками губку.— Все красивые женщины общества будут там.

— Не все, потому что вас там не будет; не все, — сказал князь Ипполит, радостно смеясь, и, схватив шаль у лакея, даже толкнул его и стал надевать ее на княгиню. От неловкости или умышленно (никто бы не мог разобрать этого) он долго не отпускал рук, когда шаль уже была надета, и как будто обнимал молодую женщину.

Она грациозно, но все улыбаясь, отстранилась, повернулась и взглянула на мужа. У князя Андрея глаза были закрыты: так он казался усталым и сонным.

— Вы готовы? — спросил он жену, обходя ее взглядом.

Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, который у него, по-новому, был длиннее пяток, и, путаясь в нем, побежал на крыльцо за княгиней, которую лакей подсаживал в карету.

— Princesse, au revoir[1], — кричал он, путаясь языком так же, как и ногами.

Княгиня, подбирая платье, садилась в темноте кареты; муж ее оправлял саблю; князь Ипполит, под предлогом прислуживания, мешал всем.

— Па-звольте, сударь, — сухо-неприятно обратился князь Андрей по-русски к князю Ипполиту, мешавшему ему пройти.

— Я тебя жду, Пьер, — ласково и нежно проговорил тот же голос князя Андрея.

Форейтор тронул, и карета загремела колесами. Князь Ипполит смеялся отрывисто, стоя на крыльце и дожидаясь виконта, которого он обещал довезти до дому.

---

[1] Княгиня, до свидания.

— Eh bien, mon cher, votre petite princesse est très bien, très bien, — сказал виконт, усевшись в карету с Ипполитом. — Mais très bien. — Он поцеловал кончики своих пальцев. — Et tout-à-fait française [1].

Ипполит, фыркнув, засмеялся.

— Et savez-vous que vous êtes terrible avec votre petit air innocent, — продолжал виконт. — Je plains le pauvre mari, ce petit officier qui se donne des airs de prince régnant [2].

Ипполит фыркнул еще и сквозь смех проговорил:

— Et vous disiez, que les dames russes ne valaient pas les dames françaises. Il faut savoir s'y prendre [3].

Пьер, приехав вперед, как домашний человек, прошел в кабинет князя Андрея и тотчас же, по привычке, лег на диван, взял первую попавшуюся с полки книгу (это были Записки Цезаря) и принялся, облокотившись, читать ее из середины.

— Что ты сделал с mademoiselle Шерер? Она теперь совсем заболеет, — сказал, входя в кабинет, князь Андрей и потирая маленькие белые ручки.

Пьер поворотился всем телом, так что диван заскрипел, обернул оживленное лицо к князю Андрею, улыбнулся и махнул рукой.

— Нет, этот аббат очень интересен, но только не так понимает дело... По-моему, вечный мир возможен, но я не умею, как это сказать... Но только не политическим равновесием.

Князь Андрей не интересовался, видимо, этими отвлеченными разговорами.

— Нельзя, mon cher [4], везде все говорить, что только думаешь. Ну, что ж, ты решился, наконец, на что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат? — спросил князь Андрей после минутного молчания.

Пьер сел на диван, поджав под себя ноги.

— Можете себе представить, я все еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится.

---

[1] Ну, мой дорогой, ваша маленькая княгиня очень мила. Очень мила. И совсем, совсем француженка.

[2] А знаете ли, вы ужасны с вашим невинным видом. Я жалею бедного мужа, этого офицерика, который корчит из себя владетельную особу.

[3] А вы говорили, что русские дамы не стоят французских. Надо уметь взяться.

[4] мой милый.

— Но ведь надо на что-нибудь решиться? Отец твой ждет.

Пьер с десятилетнего возраста был послан с гувернером-аббатом за границу, где он пробыл до двадцатилетнего возраста. Когда он вернулся в Москву, отец отпустил аббата и сказал молодому человеку: «Теперь ты поезжай в Петербург, осмотрись и выбирай. Я на все согласен. Вот тебе письмо к князю Василью, и вот тебе деньги. Пиши обо всем, я тебе во всем помóга». Пьер уже три месяца выбирал карьеру и ничего не делал. Про этот выбор и говорил ему князь Андрей. Пьер потер себе лоб.

— Но он масон должен быть, — сказал он, разумея аббата, которого он видел на вечере.

— Все это бредни, — остановил его опять князь Андрей, — поговорим лучше о деле. Был ты в конной гвардии?..

— Нет, не был, но вот что мне пришло в голову, и я хотел вам сказать. Теперь война против Наполеона. Ежели б это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу; но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире... это нехорошо.

Князь Андрей только пожал плечами на детские речи Пьера. Он сделал вид, что на такие глупости нельзя отвечать; но действительно на этот наивный вопрос трудно было ответить что-нибудь другое, чем то, что ответил князь Андрей.

— Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было, — сказал он.

— Это-то и было бы прекрасно, — сказал Пьер.

Князь Андрей усмехнулся.

— Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет...

— Ну, для чего вы идете на войну? — спросил Пьер.

— Для чего? Я не знаю. Так надо. Кроме того, я иду... — Он остановился. — Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь — не по мне!

VI

В соседней комнате зашумело женское платье. Как будто очнувшись, князь Андрей встряхнулся, и лицо его приняло то же выражение, какое оно имело в гостиной Анны Павловны. Пьер спустил ноги с дивана. Вошла

княгиня. Она была уже в другом, домашнем, но столь же элегантном и свежем платье. Князь Андрей встал, учтиво подвигая ей кресло.

— Отчего, я часто думаю, — заговорила она, как всегда по-французски, поспешно и хлопотливо усаживаясь в кресло, — отчего Анет не вышла замуж? Как вы все глупы, messieurs, что на ней не женились. Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку. Какой вы спорщик, мсье Пьер!

— Я и с мужем вашим все спорю; не понимаю, зачем он хочет идти на войну, — сказал Пьер, без всякого стеснения (столь обыкновенного в отношениях молодого мужчины к молодой женщине) обращаясь к княгине.

Княгиня встрепенулась. Видимо, слова Пьера затронули ее за живое.

— Ах, вот я то же говорю! — сказала она. — Я не понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно? Ну, вот вы будьте судьей. Я ему все говорю: здесь он адъютант у дяди, самое блестящее положение. Все его так знают, так ценят. На днях у Апраксиных я слышала, как одна дама спрашивает: «C'est ça le fameux prince André?» Ma parole d'honneur! [1] — Она засмеялась. — Он так везде принят. Он очень легко может быть и флигель-адъютантом. Вы знаете, государь очень милостиво говорил с ним. Мы с Анет говорили, это очень легко было бы устроить. Как вы думаете?

Пьер посмотрел на князя Андрея и, заметив, что разговор этот не нравился его другу, ничего не отвечал.

— Когда вы едете? — спросил он.

— Ah! ne me parlez pas de ce départ, ne m'en parlez pas. Je ne veux pas en entendre parler [2], — заговорила княгиня таким капризно-игривым тоном, каким она говорила с Ипполитом в гостиной и который так, очевидно, не шел к семейному кружку, где Пьер был как бы членом. — Сегодня, когда я подумала, что надо прервать все эти дорогие отношения... И потом, ты знаешь, André? — Она значительно мигнула мужу. — J'ai peur, j'ai peur! [3] — прошептала она, содрогаясь спиною.

---

[1] «Это известный князь Андрей?» Честное слово!

[2] Ах, не говорите мне про этот отъезд, не говорите! Я не хочу про это слышать.

[3] Мне страшно! страшно!

Муж посмотрел на нее с таким видом, как будто он был удивлен, заметив, что кто-то еще, кроме его и Пьера, находился в комнате; однако с холодною учтивостью вопросительно обратился к жене:

— Чего ты боишься, Лиза? Я не могу понять, — сказал он.

— Вот как все мужчины эгоисты; все, все эгоисты! Сам из-за своих прихотей, бог знает зачем, бросает меня, запирает в деревню одну.

— С отцом и сестрой, не забудь, — тихо сказал князь Андрей.

— Все равно одна, без *моих* друзей... И хочет, чтоб я не боялась.

Тон ее уже был ворчливый, губка поднялась, придавая лицу не радостное, а зверское, беличье выражение. Она замолчала, как будто находя неприличным говорить при Пьере про свою беременность, тогда как в этом и состояла сущность дела.

— Все-таки я не понял, de quoi vous avez peur[1], — медлительно проговорил князь Андрей, не спуская глаз с жены.

Княгиня покраснела и отчаянно взмахнула руками.

— Non, André, je dis que vous avez tellement, tellement changé...[2]

— Твой доктор велит тебе раньше ложиться, — сказал князь Андрей. — Ты бы шла спать.

Княгиня ничего не сказала, и вдруг короткая с усиками губка задрожала; князь Андрей, встав и пожав плечами, прошел по комнате.

Пьер удивленно и наивно смотрел через очки то на него, то на княгиню и зашевелился, как будто он тоже хотел встать, но опять раздумал.

— Что мне за дело, что тут мсье Пьер, — вдруг сказала маленькая княгиня, и хорошенькое лицо ее вдруг распустилось в слезливую гримасу. — Я тебе давно хотела сказать, André: за что ты ко мне так переменился? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию, ты меня не жалеешь. За что?

— Lise! — только сказал князь Андрей; но в этом слове были и просьба, и угроза, и, главное, уверение в том, что она сама раскается в своих словах; но она торопливо продолжала:

---

[1] чего ты боишься.

[2] Нет, Андрей, ты так переменился, так переменился...

— Ты обращаешься со мной, как с больною или с ребенком. Я все вижу. Разве ты такой был полгода назад?

— Lise, я прошу вас перестать, — сказал князь Андрей еще выразительнее.

Пьер, все более и более приходивший в волнение во время этого разговора, встал и подошел к княгине. Он, казалось, не мог переносить вида слез и сам готов был заплакать.

— Успокойтесь, княгиня. Вам это так кажется, потому что, я вас уверяю, я сам испытал... отчего... потому что... Нет, извините, чужой тут лишний... Нет, успокойтесь... Прощайте...

Князь Андрей остановил его за руку.

— Нет, постой, Пьер. Княгиня так добра, что не захочет лишить меня удовольствия провести с тобою вечер.

— Нет, он только о себе думает, — проговорила княгиня, не удерживая сердитых слез.

— Lise, — сказал сухо князь Андрей, поднимая тон на ту ступень, которая показывает, что терпение истощено.

Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха; она исподлобья взглянула своими прекрасными глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающей опущенным хвостом.

— Mon dieu, mon dieu! [1] — проговорила княгиня и, подобрав одною рукой складку платья, подошла к мужу и поцеловала его в лоб.

— Bonsoir, Lise [2], — сказал князь Андрей, вставая и учтиво, как у посторонней, целуя руку.

Друзья молчали. Ни тот, ни другой не начинал говорить. Пьер поглядывал на князя Андрея, князь Андрей потирал себе лоб своею маленькою ручкой.

— Пойдем ужинать, — сказал он со вздохом, вставая и направляясь к двери.

Они вошли в изящно, заново, богато отделанную столовую. Все, от салфеток до серебра, фаянса и хрусталя, носило на себе тот особенный отпечаток новизны, который

---

[1] Боже мой, боже мой!
[2] Прощай, Лиза.

бывает в хозяйстве молодых супругов. В середине ужина князь Андрей облокотился и, как человек, давно имеющий что-нибудь на сердце и вдруг решающийся высказаться, с выражением нервного раздражения, в каком Пьер никогда еще не видал своего приятеля, начал говорить:

— Никогда, никогда не женись, мой друг; вот тебе мой совет, не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал все, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно, а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда не годным... А то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Все истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты ждешь от себя чего-нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя все кончено, все закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с придворным лакеем и идиотом... Да что!..

Он энергически махнул рукой.

Пьер снял очки, отчего лицо его изменилось, еще более выказывая доброту, и удивленно глядел на друга.

— Моя жена, — продолжал князь Андрей, — прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которою можно быть покойным за свою честь; но, боже мой, чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым! Это я тебе одному и первому говорю, потому что я люблю тебя.

Князь Андрей, говоря это, был еще менее похож, чем прежде, на того Болконского, который, развалившись, сидел в креслах Анны Павловны и сквозь зубы, щурясь, говорил французские фразы. Его сухое лицо все дрожало нервическим оживлением каждого мускула; глаза, в которых прежде казался потушенным огонь жизни, теперь блестели лучистым, ярким блеском. Видно было, что чем безжизненнее казался он в обыкновенное время, тем энергичнее был он в минуты раздражения.

— Ты не понимаешь, отчего я это говорю, — продолжал он. — Ведь это целая история жизни. Ты говоришь, Бонапарте и его карьера, — сказал он, хотя Пьер и не говорил про Бонапарте. — Ты говоришь, Бонапарте; но Бонапарте, когда он работал, шаг за шагом шел к своей цели, он был свободен, у него ничего не было, кроме его цели, — и он достиг ее. Но свяжи себя с женщиной — и, как скованный колодник, теряешь всякую свободу. И все,

что есть в тебе надежд и сил, все только тяготит и раскаянием мучает тебя. Гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество — вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь. Je suis très aimable et très caustique [1], — продолжал князь Андрей, — и у Анны Павловны меня слушают. И это глупое общество, без которого не может жить моя жена, и эти женщины... Ежели бы ты только мог знать, что это такое toutes les femmes distinguées [2] и вообще женщины! Отец мой прав. Эгоизм, тщеславие, тупоумие, ничтожество во всем — вот женщины, когда они показываются так, как они есть. Посмотришь на них в свете, кажется, что что-то есть, а ничего, ничего, ничего! Да, не женись, душа моя, не женись, — кончил князь Андрей.

— Мне смешно, — сказал Пьер, — что *вы себя, себя* считаете неспособным, свою жизнь — испорченною жизнью. У вас все, все впереди. И вы...

Он не сказал, *что вы,* но уже тон его показывал, как высоко ценит он друга и как много ждет от него в будущем.

«Как он может это говорить!» — думал Пьер. Пьер считал князя Андрея образцом всех совершенств именно оттого, что князь Андрей в высшей степени соединял все те качества, которых не было у Пьера и которые ближе всего можно выразить понятием — силы воли. Пьер всегда удивлялся способности князя Андрея спокойного обращения со всякого рода людьми, его необыкновенной памяти, начитанности (он все читал, все знал, обо всем имел понятие) и больше всего его способности работать и учиться. Ежели часто Пьера поражало в Андрее отсутствие способности мечтательного философствования (к чему особенно был склонен Пьер), то и в этом он видел не недостаток, а силу.

В самых лучших, дружеских и простых отношениях лесть или похвала необходимы, как подмазка необходима для колес, чтобы они ехали.

— Je suis un homme fini [3], — сказал князь Андрей. — Что обо мне говорить? Давай говорить о тебе, — сказал он,

---

[1] Я хороший болтун.
[2] эти порядочные женщины.
[3] Я конченый человек.

помолчав и улыбнувшись своим утешительным мыслям. Улыбка эта в то же мгновение отразилась на лице Пьера.

— А обо мне что говорить? — сказал Пьер, распуская свой рот в беззаботную, веселую улыбку. — Что я такое? Je suis un bâtard! [1] — И он вдруг багрово покраснел. Видно было, что он сделал большое усилие, чтобы сказать это. — Sans nom, sans fortune... [2] И что ж, право... — Но он не сказал, *что право*. — Я свободен пока, и мне хорошо. Я только никак не знаю, что мне начать. Я хотел серьезно посоветоваться с вами.

Князь Андрей добрыми глазами смотрел на него. Но во взгляде его, дружеском, ласковом, все-таки выражалось сознание своего превосходства.

— Ты мне дорог, особенно потому, что ты один живой человек среди всего нашего света. Тебе хорошо. Выбери, что хочешь; это все равно. Ты везде будешь хорош, но одно: перестань ты ездить к этим Курагиным, вести эту жизнь. Так это не идет тебе: все эти кутежи, и гусарство, и все...

— Que voulez-vous, mon cher, — сказал Пьер, пожимая плечами, — les femmes, mon cher, les femmes! [3]

— Не понимаю, — отвечал Андрей. — Les femmes comme il faut, это другое дело; но les femmes Курагина, les femmes et le vin [4], не понимаю!

Пьер жил у князя Василия Курагина и участвовал в разгульной жизни его сына Анатоля, того самого, которого для исправления собирались женить на сестре князя Андрея.

— Знаете что! — сказал Пьер, как будто ему пришла неожиданно счастливая мысль, — серьезно, я давно это думал. С этою жизнью я ничего не могу ни решить, ни обдумать. Голова болит, денег нет. Нынче он меня звал, я не поеду.

— Дай мне честное слово, что ты не будешь ездить?

— Честное слово!

Уже был второй час ночи, когда Пьер вышел от своего друга. Ночь была июньская петербургская, бессумрачная ночь. Пьер сел в извозчичью коляску с намерением ехать

---

[1] Незаконный сын!

[2] Без имени, без состояния...

[3] Что делать, женщины, мой друг, женщины!

[4] Порядочные женщины.., женщины Курагина, женщины и вино.

домой. Но чем ближе он подъезжал, тем более он чувствовал невозможность заснуть в эту ночь, походившую более на вечер или на утро. Далеко было видно по пустым улицам. Дорогой Пьер вспомнил, что у Анатоля Курагина нынче вечером должно было собраться обычное игорное общество, после которого обыкновенно шла попойка, кончавшаяся одним из любимых увеселений Пьера.

«Хорошо бы было поехать к Курагину», — подумал он. Но тотчас же он вспомнил данное князю Андрею честное слово не бывать у Курагина.

Но тотчас же, как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными, ему так страстно захотелось еще раз испытать эту столь знакомую ему беспутную жизнь, что он решился ехать. И тотчас же ему пришла в голову мысль, что данное слово ничего не значит, потому что еще прежде, чем князю Андрею, он дал также князю Анатолю слово быть у него; наконец, он подумал, что все эти честные слова — такие условные вещи, не имеющие никакого определенного смысла, особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра же или он умрет, или случится с ним что-нибудь такое необыкновенное, что не будет уже ни честного, ни бесчестного. Такого рода рассуждения, уничтожая все его решения и предположения, часто приходили Пьеру. Он поехал к Курагину.

Подъехав к крыльцу большого дома у конногвардейских казарм, в котором жил Анатоль, он поднялся на освещенное крыльцо, на лестницу, и вошел в отворенную дверь. В передней никого не было; валялись пустые бутылки, плащи, калоши; пахло вином, слышался дальний говор и крик.

Игра и ужин уже кончились, но гости еще не разъезжались. Пьер скинул плащ и вошел в первую комнату, где стояли остатки ужина и один лакей, думая, что его никто не видит, допивал тайком недопитые стаканы. Из третьей комнаты слышалась возня, хохот, крики знакомых голосов и рев медведя. Человек восемь молодых людей толпились озабоченно около открытого окна. Трое возились с молодым медведем, которого один таскал на цепи, пугая им другого.

— Держу за Стивенса сто! — кричал один.

— Смотри не поддерживать! — кричал другой.

— Я за Долохова! — кричал третий. — Разними, Курагин.

— Ну, бросьте Мишку, тут пари.

— Одним духом, иначе проиграно, — кричал четвертый.

— Яков! Давай бутылку, Яков! — кричал сам хозяин, высокий красавец, стоявший посреди толпы в одной тонкой рубашке, раскрытой на средине груди. — Стойте, господа. Вот он, Петруша, милый друг, — обратился он к Пьеру.

Другой голос невысокого человека с ясными голубыми глазами, особенно поражавший среди этих всех пьяных голосов своим трезвым выражением, закричал от окна:

— Иди сюда — разойми пари! — Это был Долохов, семеновский офицер, известный игрок и бретёр, живший вместе с Анатолем. Пьер улыбался, весело глядя вокруг себя.

— Ничего не понимаю. В чем дело? — спросил он.

— Стойте, он не пьян. Дай бутылку, — сказал Анатоль и, взяв со стола стакан, подошел к Пьеру.

— Прежде всего пей.

Пьер стал пить стакан за стаканом, исподлобья оглядывая пьяных гостей, которые опять столпились у окна, и прислушиваясь к их говору. Анатоль наливал ему вино и рассказывал, что Долохов держит пари с англичанином Стивенсом, моряком, бывшим тут, в том, что он, Долохов, выпьет бутылку рома, сидя на окне третьего этажа с опущенными наружу ногами.

— Ну, пей же всю, — сказал Анатоль, подавая последний стакан Пьеру, — а то не пущу!

— Нет, не хочу, — сказал Пьер, отталкивая Анатоля, и подошел к окну.

Долохов держал за руку англичанина и ясно, отчетливо выговаривал условия пари, обращаясь преимущественно к Анатолю и Пьеру.

Долохов был человек среднего роста, курчавый и с светлыми голубыми глазами. Ему было лет двадцать пять. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, самая поразительная черта его лица, был весь виден. Линии этого рта были замечательно тонко изогнуты. В середине верхняя губа энергически опускалась на крепкую нижнюю острым клином, и в углах образовывалось постоянно что-то вроде двух улыбок, по одной с каждой стороны; и все вместе, а особенно в соединении с твердым, наглым, умным взглядом, составляло впечатление такое, что нельзя было не заметить этого лица. Долохов был небогатый человек, без всяких связей. И несмотря на

то, что Анатоль проживал десятки тысяч, Долохов жил с ним и успел себя поставить так, что Анатоль и все знавшие их уважали Долохова больше, чем Анатоля. Долохов играл во все игры и почти всегда выигрывал. Сколько бы он ни пил, он никогда не терял ясности головы. И Курагин и Долохов в то время были знаменитостями в мире повес и кутил Петербурга.

Бутылка рома была принесена; раму, не пускавшую сесть на наружный откос окна, выламывали два лакея, видимо, торопившиеся и робевшие от советов и криков окружавших господ.

Анатоль с своим победительным видом подошел к окну. Ему хотелось сломать что-нибудь. Он оттолкнул лакеев и потянул раму, но рама не сдавалась. Он разбил стекло.

— Ну-ка ты, силач, — обратился он к Пьеру.

Пьер взялся за перекладины, потянул и с треском где сломал, где выворотил дубовую раму.

— Всю вон, а то подумают, что я держусь, — сказал Долохов.

— Англичанин хвастает... а?.. хорошо?.. — говорил Анатоль.

— Хорошо, — сказал Пьер, глядя на Долохова, который, взяв в руки бутылку рома, подходил к окну, из которого виднелся свет неба и сливавшихся на нем утренней и вечерней зари.

Долохов с бутылкой рома в руке вскочил на окно.

— Слушать! — крикнул он, стоя на подоконнике и обращаясь в комнату. Все замолчали.

— Я держу пари (он говорил по-французски, чтоб его понял англичанин, и говорил не слишком хорошо на этом языке). Держу пари на пятьдесят империалов, хотите на сто? — прибавил он, обращаясь к англичанину.

— Нет, пятьдесят, — сказал англичанин.

— Хорошо, на пятьдесят империалов, — что я выпью бутылку рома всю, не отнимая ото рта, выпью, сидя за окном, вот на этом месте (он нагнулся и показал покатый выступ стены за окном), и не держась ни за что... Так?..

— Очень хорошо, — сказал англичанин.

Анатоль повернулся к англичанину и, взяв его за пуговицу фрака и сверху глядя на него (англичанин был мал ростом), начал по-английски повторять ему условия пари.

— Постой, — закричал Долохов, стуча бутылкой по окну, чтоб обратить на себя внимание. — Постой, Курагин; слушайте. Если кто сделает то же, то я плачу сто империалов. Понимаете?

Англичанин кивнул головой, не давая никак разуметь, намерен ли он или нет принять это новое пари. Анатоль не отпускал англичанина, и, несмотря на то, что тот, кивая, давал знать, что он все понял, Анатоль переводил ему слова Долохова по-английски. Молодой худощавый мальчик, лейб-гусар, проигравшийся в этот вечер, взлез на окно, высунулся и посмотрел вниз.

— Ууу! — проговорил он, глядя за окно на камень тротуара.

— Смирно! — закричал Долохов и сдернул с окна офицера, который, запутавшись шпорами, неловко спрыгнул в комнату.

Поставив бутылку на подоконник, чтобы было удобно достать ее, Долохов осторожно и тихо полез в окно. Спустив ноги и распершись обеими руками в края окна, он примерился, уселся, отпустил руки, подвинулся направо, налево и достал бутылку. Анатоль принес две свечки и поставил их на подоконник, хотя было уже совсем светло. Спина Долохова в белой рубашке и курчавая голова его были освещены с обеих сторон. Все столпились у окна. Англичанин стоял впереди. Пьер улыбался и ничего не говорил. Один из присутствующих, постарше других, с испуганным и сердитым лицом, вдруг продвинулся вперед и хотел схватить Долохова за рубашку.

— Господа, это глупости; он убьется до смерти, — сказал этот более благоразумный человек.

Анатоль остановил его.

— Не трогай, ты его испугаешь, он убьется. А?.. Что тогда?.. А?..

Долохов обернулся, поправляясь и опять распершись руками.

— Ежели кто ко мне еще будет соваться, — сказал он, редко пропуская слова сквозь стиснутые и тонкие губы, — я того сейчас спущу вот сюда. Ну!..

Сказав «ну!», он повернулся опять, отпустил руки, взял бутылку и поднес ко рту, закинул назад голову и вскинул кверху свободную руку для перевеса. Один из лакеев, начавший подбирать стекла, остановился в согнутом положении, не спуская глаз с окна и спины Долохова. Анатоль стоял прямо, разинув глаза. Англичанин, выпя-

тив вперед губы, смотрел сбоку. Тот, который останавливал, убежал в угол комнаты и лег на диван лицом к стене. Пьер закрыл лицо, и слабая улыбка, забывшись, осталась на его лице, хоть оно теперь выражало ужас и страх. Все молчали. Пьер отнял от глаз руки. Долохов сидел все в том же положении, только голова загнулась назад, так что курчавые волосы затылка прикасались к воротнику рубахи, и рука с бутылкой поднималась все выше и выше, содрогаясь и делая усилие. Бутылка видимо опорожнялась и с тем вместе поднималась, загибая голову. «Что же это так долго?» — подумал Пьер. Ему казалось, что прошло больше получаса. Вдруг Долохов сделал движение назад спиной, и рука его нервически задрожала; этого содрогания было достаточно, чтобы сдвинуть все тело, сидевшее на покатом откосе. Он сдвинулся весь, и еще сильнее задрожали, делая усилие, рука и голова его. Одна рука поднялась, чтобы схватиться за подоконник, но опять опустилась. Пьер опять закрыл глаза и сказал себе, что никогда уж не откроет их. Вдруг он почувствовал, что все вокруг зашевелилось. Он взглянул: Долохов стоял на подоконнике, лицо его было бледно и весело.

— Пуста!

Он кинул бутылку англичанину, который ловко поймал ее. Долохов спрыгнул с окна. От него сильно пахло ромом.

— Отлично! Молодцом! Вот так пари! Черт вас возьми совсем! — кричали с разных сторон.

Англичанин, достав кошелек, отсчитывал деньги. Долохов хмурился и молчал. Пьер вскочил на окно.

— Господа! Кто хочет со мною пари? Я то же сделаю, — вдруг крикнул он. — И пари не нужно, вот что. Вели дать бутылку. Я сделаю... вели дать.

— Пускай, пускай! — сказал Долохов, улыбаясь.

— Что ты, с ума сошел? Кто тебя пустит? У тебя и на лестнице голова кружится, — заговорили с разных сторон.

— Я выпью, давай бутылку рома! — закричал Пьер, решительным и пьяным жестом ударяя по столу, и полез в окно.

Его схватили за руки; но он был так силен, что далеко оттолкнул того, кто приблизился к нему.

— Нет, его так не уломаешь ни за что, — говорил Анатоль, — постойте, я его обману. Послушай, я с тобой держу пари, но завтра, а теперь мы все едем к ***.

— Едем, — закричал Пьер, — едем!.. И Мишку с собой берем...

И он ухватил медведя и, обняв и подняв его, стал кружиться с ним по комнате.

VII

Князь Василий исполнил обещание, данное на вечере у Анны Павловны княгине Друбецкой, просившей его о своем единственном сыне Борисе. О нем было доложено государю, и, не в пример другим, он был переведен в гвардии Семеновский полк прапорщиком. Но адъютантом или состоящим при Кутузове Борис так и не был назначен, несмотря на все хлопоты и происки Анны Михайловны. Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в Москву, прямо к своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых с детства воспитывался и годами живал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские и тотчас переведенный в гвардейские прапорщики. Гвардия уже вышла из Петербурга 10-го августа, и сын, оставшийся для обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивилов.

У Ростовых были именинницы Натальи — мать и меньшая дочь. С утра не переставая подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. Графиня с красивой старшею дочерью и гостями, не перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной.

Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет сорока пяти, видимо, изнуренная детьми, которых у ней было двенадцать человек. Медлительность ее движений и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле принимания и занимания разговором гостей. Молодежь была в задних комнатах, не находя нужным участвовать в приеме визитов. Граф встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду.

— Очень, очень вам благодарен, ma chère, или mon cher[1] (ma chère или mon cher он говорил всем без исключения, без малейших оттенков, как выше, так и ниже его сто-

[1] милая или милый.

явшим людям), за себя и за дорогих именинниц. Смотрите же, приезжайте обедать. Вы меня обидите, mon cher. Душевно прошу вас от всего семейства, ma chère. — Эти слова с одинаким выражением на полном, веселом и чисто выбритом лице и с одинаково крепким пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами говорил он всем без исключения и изменения. Проводив одного гостя, граф возвращался к тому или той, которые были еще в гостиной; придвинув кресла и с видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колена руки, он значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанности человека шел провожать, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать. Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, раздвигавших столы и развертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил:

— Ну, ну, Митенька, смотри, чтобы все было хорошо. Так, так, — говорил он, с удовольствием оглядывая огромный раздвинутый стол. — Главное — сервировка. То-то...— И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в гостиную.

— Марья Львовна Карагина с дочерью! — басом доложил огромный графинин выездной лакей, входя в двери гостиной. Графиня подумала и понюхала из золотой табакерки с портретом мужа.

— Замучили меня эти визиты, —сказала она. —Ну, уж ее последнюю приму. Чопорна очень. Проси, — сказала она лакею грустным голосом, как будто говорила: «Ну, уж добивайте».

Высокая, полная, с гордым видом дама с круглолицею улыбающеюся дочкой, шумя платьями, вошли в гостиную.

— Chère comtesse, il y a si longtemps... elle a été alitée la pauvre enfant... au bal des Razoumowsky... et la comtesse Apraksine... j'ai été si heureuse... [1] — послышались

[1] Уж так давно... Графиня... Больна была бедняжка... на бале Разумовских... графиня Апраксина... я так была рада...

оживленные женские голоса, перебивая один другой и сливаясь с шумом платьев и придвиганием стульев. Начался тот разговор, который затевают ровно настолько, чтобы при первой паузе встать, зашуметь платьями, проговорить: «Je suis bien charmée; la santé de maman... et la comtesse Apraksine» [1], — и опять, зашумев платьями, пройти в переднюю, надеть шубу или плащ и уехать. Разговор зашел о главной городской новости того времени — о болезни известного богача и красавца екатерининского времени старого графа Безухова и о его незаконном сыне Пьере, который так неприлично вел себя на вечере у Анны Павловны Шерер.

— Я очень жалею бедного графа, — говорила гостья, — здоровье его и так было плохо, а теперь это огорченье от сына. Это его убьет!

— Что такое? — спросила графиня, как будто не зная, о чем говорит гостья, хотя она раз пятнадцать уже слышала причину огорчения графа Безухова.

— Вот нынешнее воспитание! Еще за границей, — продолжала гостья, — этот молодой человек предоставлен был самому себе, и теперь в Петербурге, говорят, он такие ужасы наделал, что его с полицией выслали оттуда.

— Скажите! — сказала графиня.

— Он дурно выбирал свои знакомства, — вмешалась княгиня Анна Михайловна. — Сын князя Василия, он и один Долохов, они, говорят, бог знает что делали. И оба пострадали. Долохов разжалован в солдаты, а сын Безухова выслан в Москву. Анатоля Курагина — того отец как-то замял. Но выслали-таки из Петербурга.

— Да что бишь они сделали? — спросила графиня.

— Это совершенные разбойники, особенно Долохов, — говорила гостья. — Он сын Марьи Ивановны Долоховой, такой почтенной дамы, и что же? Можете себе представить: они втроем достали где-то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция их унимать. Они поймали квартального и привязали его спина с спиной к медведю и пустили медведя в Мойку; медведь плавает, а квартальный на нем.

— Хороша, ma chère, фигура квартального, — закричал граф, помирая со смеху.

— Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф?

Но дамы невольно смеялись и сами.

---

[1] Очень, очень рада... здоровье мама... графиня Апраксина.

— Насилу спасли этого несчастного, — продолжала гостья. — И это сын графа Кирилла Владимировича Безухова так умно забавляется! — прибавила она. — А говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот все воспитание заграничное куда довело. Надеюсь, что здесь его никто не примет, несмотря на его богатство. Мне хотели его представить. Я решительно отказалась: у меня дочери.

— Отчего вы говорите, что этот молодой человек так богат? — спросила графиня, нагибаясь от девиц, которые тотчас же сделали вид, что не слушают. — Ведь у него только незаконные дети. Кажется... и Пьер незаконный.

Гостья махнула рукой.

— У него их двадцать незаконных, я думаю.

Княгиня Анна Михайловна вмешалась в разговор, видимо, желая выказать свои связи и свое знание всех светских обстоятельств.

— Вот в чем дело, — сказала она значительно и тоже полушепотом. — Репутация графа Кирилла Владимировича известна... Детям своим он и счет потерял, но этот Пьер любимый был.

— Как старик был хорош, — сказала графиня, — еще прошлого года! Красивее мужчины я не видывала.

— Теперь очень переменился, — сказала Анна Михайловна. — Так я хотела сказать, — продолжала она, — по жене прямой наследник всего именья князь Василий, но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием и писал государю... так что никто не знает, ежели он умрет (он так плох, что этого ждут каждую минуту, и Lorrain приехал из Петербурга), кому достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию. Сорок тысяч душ и миллионы. Я это очень хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. Да и Кирилл Владимирович мне приходится троюродным дядей по матери. Он и крестил Борю, — прибавила она, как будто не приписывая этому обстоятельству никакого значения.

— Князь Василий приехал в Москву вчера. Он едет на ревизию, мне говорили, — сказала гостья.

— Да, но, entre nous [1], — сказала княгиня, — это предлог, он приехал, собственно, к графу Кириллу Владимировичу, узнав, что он так плох.

---

[1] между нами.

— Однако, ma chère, это славная штука, — сказал граф и, заметив, что старшая гостья его не слушала, обратился уже к барышням: — Хороша фигура была у квартального, я воображаю.

И он, представив, как махал руками квартальный, опять захохотал звучным и басистым смехом, колебавшим все его полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие. — Так, пожалуйста же, обедать к нам, — сказал он.

VIII

Наступило молчание. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь нисколько, если гостья поднимется и уедет. Дочь гостьи уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что-то короткою кисейною юбкою, и остановилась посередине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались студент с малиновым воротником, гвардейский офицер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской курточке.

Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг вбежавшей девочки.

— А, вот она! — смеясь, закричал он. — Именинница! Ma chère именинница!

— Ma chère, il y a un temps pour tout [1], — сказала графиня, притворяясь строгою. — Ты ее все балуешь, Elie, — прибавила она мужу.

— Bonjour, ma chère, je vous félicite, — сказала гостья. — Quelle délicieuse enfant! [2] — прибавила она, обращаясь к матери.

Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбив-

---

[1] Милая, на все есть время.

[2] Здравствуйте, моя милая, поздравляю вас. Какое прелестное дитя!

шимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи и засмеялась. Она смеялась чему-то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из-под юбочки.

— Видите?.. Кукла... Мими... Видите.

И Наташа не могла больше говорить (ей все смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись.

— Ну, поди, поди с своим уродом! — сказала мать, притворно сердито отталкивая дочь. — Это моя меньшая, — обратилась она к гостье.

Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери, взглянула на нее снизу сквозь слезы смеха и опять спрятала лицо.

Гостья, принужденная любоваться семейною сценой, сочла нужным принять в ней какое-нибудь участие.

— Скажите, моя милая, — сказала она, обращаясь к Наташе, — как же вам приходится эта Мими? Дочь, верно?

Наташе не понравился тон снисхождения до детского разговора, с которым гостья обратилась к ней. Она ничего не ответила и серьезно посмотрела на гостью.

Между тем все это молодое поколение: Борис — офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай — студент, старший сын графа, Соня — пятнадцатилетняя племянница графа, и маленький Петруша — меньшой сын, — все разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и comtesse Apraksine [1]. Изредка они взглядывали друг на друга и едва удерживались от смеха.

Два молодых человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис был высокий белокурый юноша

---

[1] графине Апраксиной.

с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица. Николай был невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением лица. На верхней губе его уже показывались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность и восторженность. Николай покраснел, как только вошел в гостиную. Видно было, что он искал и не находил, что сказать; Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал спокойно, шутливо, как эту Мими, куклу, он знал еще молодою девицей с не испорченным еще носом, как она в пять лет на его памяти состарелась и как у ней по всему черепу треснула голова. Сказав это, он взглянул на Наташу. Наташа отвернулась от него, взглянула на младшего брата, который, зажмурившись, трясся от беззвучного смеха, и, не в силах более удерживаться, прыгнула и побежала из комнаты так скоро, как только могли нести ее быстрые ножки. Борис не рассмеялся.

— Вы, кажется, тоже хотели ехать, maman? Карета нужна? — сказал он, с улыбкой обращаясь к матери.

— Да, поди, поди, вели приготовить, — сказала она, улыбаясь.

Борис вышел тихо в двери и пошел за Наташей; толстый мальчик сердито побежал за ними, как будто досадуя на расстройство, происшедшее в его занятиях.

IX

Из молодежи, не считая старшей дочери графини (которая была четырьмя годами старше сестры и держала себя уже как большая) и гостьи-барышни, в гостиной остались Николай и Соня-племянница. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, отененным длинными ресницами взглядом, густою черною косою, два раза обвивавшею ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнаженных худощавых, но грациозных мускулистых руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанною манерой она напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестною кошечкой. Она, видимо, считала приличным выказывать улыбкой участие к общему разговору; но против воли ее глаза из-под длинных густых ресниц смотрели на уезжающего в армию cousin с таким

девическим страстным обожанием, что улыбка ее не могла ни на мгновение обмануть никого, и видно было, что кошечка присела только для того, чтоб еще энергичнее прыгнуть и заиграть с своим cousin, как скоро только они так же, как Борис с Наташей, выберутся из этой гостиной.

— Да, ma chère, — сказал старый граф, обращаясь к гостье и указывая на своего Николая. — Вот его друг Борис произведен в офицеры, и он из дружбы не хочет отставать от него; бросает и университет, и меня, старика: идет в военную службу, ma chère. А уж ему место в архиве было готово, и все. Вот дружба-то? — сказал граф вопросительно.

— Да, ведь война, говорят, объявлена, — сказала гостья.

— Давно говорят, — сказал граф. — Опять поговорят, поговорят, да так и оставят. Ma chère, вот дружба-то! — повторил он. — Он идет в гусары.

Гостья, не зная, что сказать, покачала головой.

— Совсем не из дружбы, — отвечал Николай, вспыхнув и отговариваясь, как будто от постыдного на него наклепа. — Совсем не дружба, а просто чувствую призвание к военной службе.

Он оглянулся на кузину и на гостью-барышню: обе смотрели на него с улыбкой одобрения.

— Нынче обедает у нас Шуберт, полковник Павлоградского гусарского полка. Он был в отпуску здесь и берет его с собой. Что делать? — сказал граф, пожимая плечами и говоря шуточно о деле, которое, видимо, стоило ему много горя.

— Я уж вам говорил, папенька, — сказал сын, — что, ежели вам не хочется меня отпустить, я останусь. Но я знаю, что никуда не гожусь, кроме как в военную службу; я не дипломат, не чиновник, не умею скрывать того, что чувствую, — говорил он, все поглядывая с кокетством красивой молодости на Соню и гостью-барышню.

Кошечка, впиваясь в него глазами, казалась каждую секунду готовою заиграть и выказать всю свою кошечью натуру.

— Ну, ну, хорошо! — сказал старый граф. — Все горячится. Все Бонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из поручиков попал в императоры. Что ж, дай бог, — прибавил он, не замечая насмешливой улыбки гостьи.

Большие заговорили о Бонапарте. Жюли, дочь Карагиной, обратилась к молодому Ростову:

— Как жаль, что вас не было в четверг у Архаровых. Мне скучно было без вас, — сказала она, нежно улыбаясь ему.

Польщенный молодой человек с кокетливой улыбкой молодости ближе пересел к ней и вступил с улыбающеюся Жюли в отдельный разговор, совсем не замечая того, что эта его невольная улыбка ножом ревности резала сердце красневшей и притворно улыбавшейся Сони. В середине разговора он оглянулся на нее. Соня страстно-озлобленно взглянула на него и, едва удерживая на глазах слезы, а на губах притворную улыбку, встала и вышла из комнаты. Все оживление Николая исчезло. Он выждал первый перерыв разговора и с расстроенным лицом вышел из комнаты отыскивать Соню.

— Как секреты-то этой всей молодежи шиты белыми нитками! — сказала Анна Михайловна, указывая на выходящего Николая. — Cousinage dangereux voisinage [1], — прибавила она.

— Да, — сказала графиня, после того как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал, но который постоянно занимал ее. — Сколько страданий, сколько беспокойств перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться! А и теперь, право, больше страха, чем радости. Все боишься, все боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек, и для мальчиков.

— Все от воспитания зависит, — сказала гостья.

— Да, ваша правда, — продолжала графиня. — До сих пор я была, слава богу, другом своих детей и пользуюсь полным их доверием, — говорила графиня, повторяя заблуждение многих родителей, полагающих, что у детей их нет тайн от них. — Я знаю, что я всегда буду первою confidente [2] моих дочерей и что Николенька, по своему пылкому характеру, ежели будет шалить (мальчику нельзя без этого), то все не так, как эти петербургские господа.

— Да, славные, славные ребята, — подтвердил граф, всегда разрешавший запутанные для него вопросы тем,

---

[1] Беда — двоюродные братцы и сестрицы.
[2] советницей.

что все находил славным. — Вот подите! Захотел в гусары! Да вот, что вы хотите, ma chère!

— Какое милое существо ваша меньшая! — сказала гостья. — Порох!

— Да, порох, — сказал граф. — В меня пошла! И какой голос: хоть и моя дочь, а я правду скажу, певица будет, Саломони другая. Мы взяли итальянца ее учить.

— Не рано ли? Говорят, вредно для голоса учиться в эту пору.

— О нет, какой рано! — сказал граф. — Как же наши матери выходили в двенадцать — тринадцать лет замуж?

— Уж она и теперь влюблена в Бориса! Какова? — сказала графиня, тихо улыбаясь, глядя на мать Бориса, и, видимо, отвечая на мысль, всегда ее занимавшую, продолжала: — Ну, вот видите, держи я ее строго, запрещай я ей... бог знает, что бы они делали потихоньку (графиня разумела, они целовались бы), а теперь я знаю каждое ее слово. Она сама вечером прибежит и все мне расскажет. Может быть, я балую ее, но, право, это, кажется, лучше. Я старшую держала строго.

— Да, меня совсем иначе воспитывали, — сказала старшая, красивая графиня Вера, улыбаясь.

Но улыбка не украсила лица Веры, как это обыкновенно бывает; напротив, лицо ее стало неестественно и оттого неприятно. Старшая, Вера, была хороша, была неглупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у нее был приятный, то, что она сказала, было справедливо и уместно; но, странное дело, все, и гостья и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость.

— Всегда с старшими детьми мудрят, хотят сделать что-нибудь необыкновенное, — сказала гостья.

— Что греха таить, ma chère! Графинюшка мудрила с Верой, — сказал граф. — Ну, да что ж! Все-таки славная вышла, — прибавил он, одобрительно подмигивая Вере.

Гостьи встали и уехали, обещаясь приехать к обеду.

— Что за манера! Уж сидели, сидели! — сказала графиня, проводя гостей.

X

Когда Наташа вышла из гостиной и побежала, она добежала только до цветочной. В этой комнате она остановилась, прислушиваясь к говору в гостиной и ожидая

выхода Бориса. Она уже начинала приходить в нетерпение и, топнув ножкой, сбиралась было заплакать оттого, что он не сейчас шел, когда заслышались не тихие, не быстрые, приличные шаги молодого человека. Наташа быстро бросилась между кадок цветов и спряталась.

Борис остановился посреди комнаты, оглянулся, смахнул рукой соринки с рукава мундира и подошел к зеркалу, рассматривая свое красивое лицо. Наташа, притихнув, выглядывала из своей засады, ожидая, что он будет делать. Он постоял несколько времени перед зеркалом, улыбнулся и пошел к выходной двери. Наташа хотела его окликнуть, но потом раздумала.

— Пускай ищет, — сказала она себе. Только что Борис вышел, как из другой двери вышла раскрасневшаяся Соня, сквозь слезы что-то злобно шепчущая. Наташа удержалась от своего первого движения выбежать к ней и осталась в своей засаде, как под шапкой-невидимкой, высматривая, что делалось на свете. Она испытывала особое новое наслаждение. Соня шептала что-то и оглядывалась на дверь гостиной. Из двери вышел Николай.

— Соня! что с тобою? можно ли это? — сказал Николай, подбегая к ней.

— Ничего, ничего, оставьте меня! — Соня зарыдала.

— Нет, я знаю что.

— Ну знаете, и прекрасно, и подите к ней.

— Соооня! одно слово! Можно ли так мучить меня и себя из-за фантазии? — говорил Николай, взяв ее за руку.

Соня не вырывала у него руки и перестала плакать.

Наташа, не шевелясь и не дыша, блестящими глазами смотрела из своей засады. «Что теперь будет?» — думала она.

— Соня! мне весь мир не нужен! Ты одна для меня все, — говорил Николай. — Я докажу тебе.

— Я не люблю, когда ты так говоришь.

— Ну, не буду, ну прости, Соня! — Он притянул ее к себе и поцеловал.

«Ах, как хорошо!» — подумала Наташа, и когда Соня с Николаем вышли из комнаты, она пошла за ними и вызвала к себе Бориса.

— Борис, подите сюда, — сказала она с значительным и хитрым видом. — Мне нужно сказать вам одну вещь.

Сюда, сюда, — сказала она и провела его в цветочную на то место между кадок, где она была спрятана. Борис, улыбаясь, шел за нею.

— Какая же это *одна вещь?* — спросил он.

Она смутилась, оглянулась вокруг себя и, увидев брошенную на кадке свою куклу, взяла ее в руки.

— Поцелуйте куклу, — сказала она.

Борис внимательным, ласковым взглядом смотрел в ее оживленное лицо и ничего не отвечал.

— Не хотите? Ну, так подите сюда, — сказала она и глубже ушла в цветы и бросила куклу. — Ближе, ближе! — шептала она. Она поймала руками офицера за обшлага, и в покрасневшем лице ее видны были торжественность и страх.

— А меня хотите поцеловать? — прошептала она чуть слышно, исподлобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волненья.

Борис покраснел.

— Какая вы смешная! — проговорил он, нагибаясь к ней, еще более краснея, но ничего не предпринимая и выжидая.

Она вдруг вскочила на кадку, так что стала выше его, обняла его обеими руками, так что тонкие голые ручки согнулись выше его шеи, и, откинув движением головы волосы назад, поцеловала его в самые губы.

Она проскользнула между горшками на другую сторону цветов и, опустив голову, остановилась.

— Наташа, — сказал он, — вы знаете, что я люблю вас, но...

— Вы влюблены в меня? — перебила его Наташа.

— Да, влюблен, но, пожалуйста, не будем делать того, что сейчас... еще четыре года... Тогда я буду просить вашей руки.

Наташа подумала.

— Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... — сказала она, считая по тоненьким пальчикам.— Хорошо! Так кончено?

И улыбка радости и успокоения осветила ее оживленное лицо.

— Кончено! — сказал Борис.

— Навсегда? — сказала девочка. — До самой смерти?

И, взяв его под руку, она с счастливым лицом тихо пошла с ним рядом в диванную.

XI

Графиня так устала от визитов, что не велела принимать больше никого, и швейцару приказано было только звать непременно кушать всех, кто будет еще приезжать с поздравлениями. Графине хотелось с глазу на глаз поговорить с другом своего детства, княгиней Анной Михайловной, которую она не видала хорошенько с ее приезда из Петербурга. Анна Михайловна, с своим исплаканным и приятным лицом, подвинулась ближе к креслу графини.

— С тобой я буду совершенно откровенна, — сказала Анна Михайловна. — Уж мало нас осталось, старых друзей! От этого я так и дорожу твоею дружбой.

Анна Михайловна посмотрела на Веру и остановилась. Графиня пожала руку своему другу.

— Вера, — сказала графиня, обращаясь к старшей дочери, очевидно, нелюбимой. — Как у вас ни на что понятия нет? Разве ты не чувствуешь, что ты здесь лишняя? Поди к сестрам, или...

Красивая Вера презрительно улыбнулась, видимо, не чувствуя ни малейшего оскорбления.

— Ежели бы вы мне сказали давно, маменька, я бы тотчас ушла, — сказала она и пошла в свою комнату. Но, проходя мимо диванной, она заметила, что в ней у двух окошек симметрично сидели две пары. Она остановилась и презрительно улыбнулась. Соня сидела близко подле Николая, который переписывал ей стихи, в первый раз сочиненные им. Борис с Наташей сидели у другого окна и замолчали, когда вошла Вера. Соня и Наташа с виноватыми и счастливыми лицами взглянули на Веру.

Весело и трогательно было смотреть на этих влюбленных девочек, но вид их, очевидно, не возбуждал в Вере приятного чувства.

— Сколько раз я вас просила, — сказала она, — не брать моих вещей, у вас есть своя комната. — Она взяла от Николая чернильницу.

— Сейчас, сейчас, — сказал он, макая перо.

— Вы все умеете делать не вовремя, — сказала Вера. — То прибежали в гостиную, так что всем совестно сделалось за вас.

Несмотря на то, или именно потому, что сказанное ею было совершенно справедливо, никто ей не отвечал, и все четверо только переглядывались между собой. Она медлила в комнате с чернильницей в руке.

— И какие могут быть в ваши года секреты между Наташей и Борисом и между вами, — все одни глупости.

— Ну, что тебе за дело, Вера? — тихоньким голоском, заступнически проговорила Наташа.

Она, видимо, была ко всем еще более, чем всегда, в этот день добра и ласкова.

— Очень глупо,— сказала Вера,— мне совестно за вас. Что за секреты?..

— У каждого свои секреты. Мы тебя с Бергом не трогаем, — сказала Наташа, разгорячась.

— Я думаю, не трогаете, — сказала Вера, — потому что в моих поступках никогда ничего не может быть дурного. А вот я маменьке скажу, как ты с Борисом обходишься.

— Наталья Ильинишна очень хорошо со мной обходится, — сказал Борис. — Я не могу жаловаться, — сказал он.

— Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово *дипломат* было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову); даже скучно, — сказала Наташа оскорбленным, дрожащим голосом. — За что она ко мне пристает?

— Ты этого никогда не поймешь, — сказала она, обращаясь к Вере, — потому что ты никогда никого не любила; у тебя сердца нет, ты только madame de Genlis (это прозвище, считавшееся очень обидным, было дано Вере Николаем), и твое первое удовольствие — делать неприятности другим. Ты кокетничай с Бергом сколько хочешь, — проговорила она скоро.

— Да уж я, верно, не стану перед гостями бегать за молодым человеком...

— Ну, добилась своего, — вмешался Николай, — наговорила всем неприятностей, расстроила всех. Пойдемте в детскую.

Все четверо, как спугнутая стая птиц, поднялись и пошли из комнаты.

— Мне наговорили неприятностей, а я никому ничего, — сказала Вера.

— Madame de Genlis! Madame de Genlis! — проговорили смеющиеся голоса из-за двери.

Красивая Вера, производившая на всех такое раздражающее, неприятное действие, улыбнулась и, видимо, не

затронутая тем, что ей было сказано, подошла к зеркалу и оправила шарф и прическу: глядя на свое красивое лицо, она стала, по-видимому, еще холоднее и спокойнее.

В гостиной продолжался разговор.

— Ah! chère, — говорила графиня, — и в моей жизни tout n'est pas rose. Разве я не вижу, что du train que nous allons [1] нашего состояния нам ненадолго. И все это клуб и его доброта. В деревне мы живем, разве мы отдыхаем? Театры, охоты и бог знает что. Да что обо мне говорить! Ну, как же ты это все устроила? Я часто на тебя удивляюсь, Annette, как это ты, в твои годы, скачешь в повозке одна, в Москву, в Петербург, ко всем министрам, ко всей знати, со всеми умеешь обойтись, удивляюсь! Ну, как же это устроилось? Вот я ничего этого не умею.

— Ах, душа моя! — отвечала княгиня Анна Михайловна. — Не дай бог тебе узнать, как тяжело остаться вдовой без подпоры и с сыном, которого любишь до обожания. Всему научишься, — продолжала она с некоторой гордостью. — Процесс мой меня научил. Ежели мне нужно видеть кого-нибудь из этих тузов, я пишу записку: «Princesse une telle [2] желает видеть такого-то» — и еду сама на извозчике, хоть два, хоть три раза, хоть четыре — до тех пор, пока не добьюсь того, что мне надо. Мне все равно, что бы обо мне ни думали.

— Ну, как же, кого ты просила о Бореньке? — спросила графиня. — Ведь вот твой уж офицер гвардии, а Николушка идет юнкером. Некому похлопотать. Ты кого просила?

— Князя Василия. Он был очень мил. Сейчас на все согласился, доложил государю, — говорила княгиня Анна Михайловна с восторгом, совершенно забыв все унижение, через которое она прошла для достижения своей цели.

— Что он, постарел, князь Василий? — спросила графиня. — Я его не видала с наших театров у Румянцевых. И думаю, забыл про меня. Il me faisait la cour [3], — вспомнила графиня с улыбкой.

— Все такой же, — отвечала Анна Михайловна, — любезен, рассыпается. Les grandeurs ne lui ont pas tourné la

---

[1] не всё розы... при нашем образе жизни.
[2] Княгиня такая-то.
[3] Он за мной волочился.

tête du tout[1]. «Я жалею, что слишком мало могу вам сделать, милая княгиня, — он мне говорит, — приказывайте». Нет, он славный человек и родной прекрасный. Но ты знаешь, Nathalie, мою любовь к сыну. Я не знаю, чего я не сделала бы для его счастия. А обстоятельства мои до того дурны, — продолжала Анна Михайловна с грустью и понижая голос, — до того дурны, что я теперь в самом ужасном положении. Мой несчастный процесс съедает все, что я имею, и не подвигается. У меня нет, можешь себе представить, à la lettre[2] нет гривенника денег, и я не знаю, на что обмундировать Бориса. — Она вынула платок и заплакала. — Мне нужно пятьсот рублей, а у меня одна двадцатипятирублевая бумажка. Я в таком положении... Одна моя надежда теперь на графа Кирилла Владимировича Безухова. Ежели он не захочет поддержать своего крестника, — ведь он крестил Борю, — и назначить ему что-нибудь на содержание, то все мои хлопоты пропадут: мне не на что будет обмундировать его.

Графиня прослезилась и молча соображала что-то.

— Часто думаю, может, это и грех, — сказала княгиня, — а часто думаю: вот граф Кирилл Владимирович Безухов живет один... это огромное состояние... и для чего живет? Ему жизнь в тягость, а Боре только начинать жить.

— Он, верно, оставит что-нибудь Борису, — сказала графиня.

— Бог знает, chère amie![3] Эти богачи и вельможи такие эгоисты. Но я все-таки поеду сейчас к нему с Борисом и прямо скажу, в чем дело. Пускай обо мне думают, что хотят, мне, право, все равно, когда судьба сына зависит от этого. — Княгиня поднялась. — Теперь два часа, а в четыре часа вы обедаете. Я успею съездить.

И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю.

— Прощай, душа моя, — сказала она графине, которая провожала ее до двери, — пожелай мне успеха, — прибавила она шепотом от сына.

— Вы к графу Кириллу Владимировичу, ma chère? — сказал граф из столовой, выходя тоже в переднюю. — Коли

---

[1] Почести не изменили его.
[2] иногда.
[3] мой друг!

ему лучше, зовите Пьера ко мне обедать. Ведь он у меня бывал, с детьми танцевал. Зовите непременно, ma chère. Ну, посмотрим, как-то отличится нынче Тарас. Говорит, что у графа Орлова такого обеда не бывало, какой у нас будет.

XII

— Mon cher Boris[1], — сказала княгиня Анна Михайловна сыну, когда карета графини Ростовой, в которой они сидели, проехала по устланной соломой улице и въехала на широкий двор графа Кирилла Владимировича Безухова. — Mon cher Boris, — сказала мать, выпрастывая руку из-под старого салопа и робким и ласковым движением кладя ее на руку сына, — будь ласков, будь внимателен. Граф Кирилл Владимирович все-таки тебе крестный отец, и от него зависит твоя будущая судьба. Помни это, mon cher[2], будь мил, как ты умеешь быть...

— Ежели бы я знал, что из этого выйдет что-нибудь, кроме унижения... — отвечал сын холодно. — Но я обещал вам и делаю это для вас.

Несмотря на то, что чья-то карета стояла у подъезда, швейцар, оглядев мать с сыном (которые, не приказывая докладывать о себе, прямо вошли в стеклянные сени между рядами статуй в нишах), значительно посмотрев на старенький салоп, спросил, кого им угодно, княжон или графа, и, узнав, что графа, сказал, что их сиятельству нынче хуже и их сиятельство никого не принимают.

— Мы можем уехать, — сказал сын по-французски.

— Mon ami![3] — сказала мать умоляющим голосом, опять дотрогиваясь до руки сына, как будто это прикосновение могло успокоивать или возбуждать его.

Борис замолчал и, не снимая шинели, вопросительно смотрел на мать.

— Голубчик, — нежным голоском сказала Анна Михайловна, обращаясь к швейцару, — я знаю, что граф Кирилл Владимирович очень болен... я затем и приехала... я родственница... Я не буду беспокоить, голубчик... А мне бы только надо увидать князя Василия Сергеевича: ведь он здесь стоит. Доложи, пожалуйста.

Швейцар угрюмо дернул снурок наверх и отвернулся.

---

[1] Боренька.
[2] милый дружок.
[3] Мой дружок!

— Княгиня Друбецкая к князю Василию Сергеевичу, — крикнул он сбежавшему сверху и из-под выступа лестницы выглядывавшему официанту в чулках, башмаках и фраке.

Мать расправила складки своего крашеного шелкового платья, посмотрелась в цельное венецианское зеркало в стене и бодро, в своих стоптанных башмаках, пошла вверх по ковру лестницы.

— Mon cher, vous m'avez promis [1], — обратилась она опять к сыну, прикосновением руки возбуждая его.

Сын, опустив глаза, спокойно шел за нею.

Они вошли в залу, из которой одна дверь вела в покои, отведенные князю Василью.

В то время как мать с сыном, выйдя на середину комнаты, намеревались спросить дорогу у вскочившего при их входе старого официанта, у одной из дверей повернулась бронзовая ручка, и князь Василий в бархатной шубке, с одною звездой, по-домашнему, вышел, провожая красивого черноволосого мужчину. Мужчина этот был знаменитый петербургский доктор Lorrain.

— C'est donc positif? [2] — говорил князь.

— Mon prince, «errare humanum est», mais... [3] — отвечал доктор, грассируя и произнося латинские слова французским выговором.

— C'est bien, c'est bien... [4]

Заметив Анну Михайловну с сыном, князь Василий поклоном отпустил доктора и молча, но с вопросительным видом подошел к ним. Сын заметил, как вдруг глубокая горесть выразилась в глазах его матери, и слегка улыбнулся.

— Да, в каких грустных обстоятельствах пришлось нам свидеться, князь... Ну, что наш дорогой больной? — сказала она, как будто не замечая холодного, оскорбительного, устремленного на нее взгляда.

Князь Василий вопросительно, до недоумения, посмотрел на нее, потом на Бориса. Борис учтиво поклонился. Князь Василий, не отвечая на поклон, отвернулся к Анне Михайловне и на ее вопрос отвечал движением головы и губ, которое означало самую плохую надежду для больного.

---

[1] Мой друг, ты мне обещал.
[2] И это верно?
[3] Князь, «человеку свойственно ошибаться»...
[4] Хорошо, хорошо...

— Неужели? — воскликнула Анна Михайловна. — Ах, это ужасно! Страшно подумать... Это мой сын, — прибавила она, указывая на Бориса. — Он сам хотел благодарить вас.

Борис еще раз учтиво поклонился.

— Верьте, князь, что сердце матери никогда не забудет того, что вы сделали для нас.

— Я рад, что смог сделать вам приятное, любезная моя Анна Михайловна, — сказал князь Василий, оправляя жабо и в жесте и голосе проявляя здесь, в Москве, пред покровительствуемою Анною Михайловной еще гораздо бо́льшую важность, чем в Петербурге, на вечере у Annette Шерер.

— Старайтесь служить хорошо и быть достойным, — прибавил он, строго обращаясь к Борису. — Я рад... Вы здесь в отпуску? — продиктовал он своим бесстрастным тоном.

— Жду приказа, ваше сиятельство, чтоб отправиться по новому назначению, — отвечал Борис, не выказывая ни досады за резкий тон князя, ни желания вступить в разговор, но так спокойно и почтительно, что князь пристально поглядел на него.

— Вы живете с матушкой?

— Я живу у графини Ростовой, — сказал Борис, опять прибавив, — ваше сиятельство.

— Это тот Илья Ростов, который женился на Nathalie Шиншиной, — сказала Анна Михайловна.

— Знаю, знаю, — сказал князь Василий своим монотонным голосом. — Je n'ai jamais pu concevoir, comment Nathalie s'est décidée à épouser cet ours mal-léché! Un personnage completement stupide et ridicule. Et joueur à ce qu'on dit [1].

— Mais très brave homme, mon prince [2], — заметила Анна Михайловна, трогательно улыбаясь, как будто и она знала, что граф Ростов заслуживал такого мнения, но просила пожалеть бедного старика.

— Что говорят доктора? — спросила княгиня, помолчав немного и опять выражая большую печаль на своем исплаканном лице.

---

[1] Я никогда не мог понять, как Натали решилась выйти замуж за этого грязного медведя. Совершенно глупая и смешная особа. К тому же игрок, говорят.

[2] Но добрый человек, князь.

— Мало надежды, — сказал князь.

— А мне так хотелось еще раз поблагодарить *дядю* за все его благодеяния мне и Боре. C'est son filleul [1], — прибавила она таким тоном, как будто это известие должно было крайне обрадовать князя Василия.

Князь Василий задумался и поморщился. Анна Михайловна поняла, что он боялся найти в ней соперницу по завещанию графа Безухова. Она поспешила успокоить его.

— Ежели бы не моя истинная любовь и преданность *дяде,* — сказала она, с особенною уверенностию и небрежностию выговаривая это слово,— я знаю его характер, благородный, прямой, но ведь одни княжны при нем... Они еще молоды... — Она наклонила голову и прибавила шепотом: — Исполнил ли он последний долг, князь? Как драгоценны эти последние минуты! Ведь хуже быть не может; его необходимо приготовить, ежели он так плох. Мы, женщины, князь, — она нежно улыбнулась, — всегда знаем, как говорить эти вещи. Необходимо видеть его. Как бы тяжело это ни было для меня, но я привыкла уже страдать.

Князь, видимо, понял, и понял, как и на вечере у Annette Шерер, что от Анны Михайловны трудно отделаться.

— Не было бы тяжело ему это свидание, chère Анна Михайловна, — сказал он. — Подождем до вечера, доктора обещали кризис.

— Но нельзя ждать, князь, в эти минуты. Pensez, il y va du salut de son âme... Ah! c'est terrible, les devoirs d'un chrétien...[2]

Из внутренних комнат отворилась дверь, и вышла одна из княжон — племянниц графа, с угрюмым и холодным лицом и поразительно несоразмерною по ногам длинною талией.

Князь Василий обернулся к ней.

— Ну, что он?

— Все то же. И как вы хотите, этот шум... — сказала княжна, оглядывая Анну Михайловну, как незнакомую.

— Ah, chère, je ne vous reconnaissais pas [3], — с счастливою улыбкой сказала Анна Михайловна, легкою ино-

---

[1] Это его крестник.

[2] Подумайте, дело идет о спасении его души. Ах! Это ужасно, долг христианина...

[3] Ах, милая, я вас и не узнала.

ходью подходя к племяннице графа. — Je viens d'arriver et je suis à vous pour vous aider à soigner *mon oncle*. J'imagine combien vous avez souffert [1], — прибавила она, с участием закатывая глаза.

Княжна ничего не ответила, даже не улыбнулась и тотчас же вышла. Анна Михайловна сняла перчатки и в завоеванной позиции расположилась на кресле, пригласив князя Василия сесть подле себя.

— Борис! — сказала она сыну и улыбнулась. — Я пройду к графу, к дяде, а ты поди к Пьеру, mon ami, покамест, да не забудь передать ему приглашение от Ростовых. Они зовут его обедать. Я думаю, он не поедет? — обратилась она к князю.

— Напротив, — сказал князь, видимо, сделавшийся не в духе. — Je serais très content si vous me débarrassez de ce jeune homme...[2] Сидит тут. Граф ни разу не спросил про него.

Он пожал плечами. Официант повел молодого человека вниз и вверх по другой лестнице к Петру Кирилловичу.

XIII

Пьер так и не успел выбрать себе карьеры в Петербурге и действительно был выслан в Москву за буйство. История, которую рассказывали у графа Ростова, была справедлива. Пьер участвовал в связыванье квартального с медведем. Он приехал несколько дней тому назад и остановился, как всегда, в доме своего отца. Хотя он и предполагал, что история его уже известна в Москве и что дамы, окружающие его отца, всегда недоброжелательные к нему, воспользуются этим случаем, чтобы раздражить графа, он все-таки в день приезда пошел на половину отца. Войдя в гостиную, обычное местопребывание княжон, он поздоровался с дамами, сидевшими за пяльцами и за книгой, которую вслух читала одна из них. Их было три. Старшая, чистоплотная, с длинною талией, строгая девица, та самая, которая выходила к Анне Михайловне, читала; младшие, обе румяные и хорошенькие,

---

[1] Я приехала помогать вам ходить за *дядюшкой*. Воображаю, как вы настрадались.

[2] Я был бы очень рад, если бы вы меня избавили от этого молодого человека...

отличавшиеся друг от друга только тем, что у одной была родинка над губой, очень красившая ее, шили в пяльцах. Пьер был встречен, как мертвец или зачумленный. Старшая княжна прервала чтение и молча посмотрела на него испуганными глазами; младшая, без родинки, приняла точно такое же выражение; самая меньшая, с родинкой, веселого и смешливого характера, нагнулась к пяльцам, чтобы скрыть улыбку, вызванную, вероятно, предстоящей сценой, забавность которой она предвидела. Она протянула вниз шерстинку и нагнулась, будто разбирая узоры и едва удерживаясь от смеха.

— Bonjour, ma cousine, — сказал Пьер. — Vous ne me reconnaissez pas? [1]

— Я слишком хорошо вас узнаю, слишком хорошо.

— Как здоровье графа? Могу я видеть его? — спросил Пьер неловко, как всегда, но не смущаясь.

— Граф страдает и физически и нравственно, и, кажется, вы позаботились о том, чтобы причинить ему побольше нравственных страданий.

— Могу я видеть графа? — повторил Пьер.

— Гм!.. Ежели вы хотите убить его, совсем убить, то можете видеть. Ольга, поди посмотри, готов ли бульон для дяденьки, скоро время, — прибавила она, показывая этим Пьеру, что они заняты, и заняты успокоиваньем его отца, тогда как он, очевидно, занят только его расстроиванием.

Ольга вышла. Пьер постоял, посмотрел на сестер и, поклонившись, сказал:

— Так я пойду к себе. Когда можно будет, вы мне скажите.

Он вышел, и звонкий, но негромкий смех сестры с родинкой послышался за ним.

На другой день приехал князь Василий и поместился в доме графа. Он призвал к себе Пьера и сказал ему:

— Mon cher, si vous vous conduisez ici, comme à Pétersbourg, vous finirez très mal; c'est tout ce que je vous dis [2]. Граф очень, очень болен: тебе совсем не надо его видеть.

С тех пор Пьера не тревожили, и он целый день проводил один наверху, в своей комнате.

---

[1] Здравствуйте, кузина. Вы меня не узнаете?

[2] Мой милый, если вы будете вести себя здесь, как в Петербурге, вы кончите очень дурно; это верно.

В то время как Борис вошел к нему, Пьер ходил по своей комнате, изредка останавливаясь в углах, делая угрожающие жесты к стене, как будто пронзая невидимого врага шпагой, и строго взглядывая сверх очков и затем вновь начиная свою прогулку, проговаривая неясные слова, пожимая плечами и разводя руками.

— L'Angleterre a vécu[1] — проговорил он, нахмуриваясь и указывая на кого-то пальцем. — Monsieur Pitt comme traitre à la nation et au droit des gens est condamné à...[2] — Он не успел договорить приговора Питту, воображая себя в эту минуту самим Наполеоном и вместе с своим героем уже совершив опасный переезд через Па-де-Кале и завоевав Лондон, — как увидел входившего к нему молодого, стройного и красивого офицера. Он остановился. Пьер оставил Бориса четырнадцатилетним мальчиком и решительно не помнил его; но, несмотря на то, с свойственною ему быстрою и радушною манерой взял его за руку и дружелюбно улыбнулся.

— Вы меня помните? — спокойно, с приятной улыбкой сказал Борис. — Я с матушкой приехал к графу, но он, кажется, не совсем здоров.

— Да, кажется, нездоров. Его всё тревожат, — отвечал Пьер, стараясь вспомнить, кто этот молодой человек.

Борис чувствовал, что Пьер не узнает его, но не считал нужным называть себя и, не испытывая ни малейшего смущения, смотрел ему прямо в глаза.

— Граф Ростов просил вас нынче приехать к нему обедать, — сказал он после довольно долгого и неловкого для Пьера молчания.

— А! Граф Ростов! — радостно заговорил Пьер. — Так вы его сын, Илья. Я, можете себе представить, в первую минуту не узнал вас. Помните, как мы на Воробьевы горы ездили с m-me Jacquot... давно.

— Вы ошибаетесь, — неторопливо, с смелою и несколько насмешливою улыбкой проговорил Борис. — Я Борис, сын княгини Анны Михайловны Друбецкой. Ростова отца зовут Ильей, а сына — Николаем. И я m-me Jacquot никакой не знал.

Пьер замахал руками и головой, как будто комары или пчелы напали на него.

---

[1] Англии конец... Конец!

[2] Питт, как изменник нации и народному праву, приговаривается к...

— Ах, ну что это! я все спутал. В Москве столько родных! Вы Борис... да. Ну вот мы с вами и договорились. Ну, что вы думаете о Булонской экспедиции? Ведь англичанам плохо придется, ежели только Наполеон переправится через канал? Я думаю, что экспедиция очень возможна. Вилльнев бы не оплошал!

Борис ничего не знал о Булонской экспедиции, он не читал газет и о Вилльневе в первый раз слышал.

— Мы здесь, в Москве, больше заняты обедами и сплетнями, чем политикой, — сказал он своим спокойным, насмешливым тоном. — Я ничего про это не знаю и не думаю. Москва занята сплетнями больше всего, — продолжал он. — Теперь говорят про вас и про графа.

Пьер улыбнулся своею доброю улыбкой, как будто боясь за своего собеседника, как бы он не сказал чего-нибудь такого, в чем стал бы раскаиваться. Но Борис говорил отчетливо, ясно и сухо, прямо глядя в глаза Пьеру.

— Москве больше делать нечего, как сплетничать, — продолжал он. — Все заняты тем, кому оставит граф свое состояние, хотя, может быть, он переживет всех нас, чего я от души желаю...

— Да, это все очень тяжело, — подхватил Пьер, — очень тяжело. — Пьер все боялся, что этот офицер нечаянно вдастся в неловкий для самого себя разговор.

— А вам должно казаться, — говорил Борис, слегка краснея, но не изменяя голоса и позы, — вам должно казаться, что все заняты только тем, чтобы получить что-нибудь от богача.

«Так и есть», — подумал Пьер.

— А я именно хочу сказать вам, чтоб избежать недоразумений, что вы очень ошибетесь, ежели причтете меня и мою мать к числу этих людей. Мы очень бедны, но я, по крайней мере, за себя говорю: именно потому, что отец ваш богат, я не считаю себя его родственником, и ни я, ни мать никогда ничего не будем просить и не примем от него.

Пьер долго не мог понять, но когда понял, вскочил с дивана, ухватил Бориса за руку снизу с свойственною ему быстротой и неловкостью и, раскрасневшись гораздо более, чем Борис, начал говорить с смешанным чувством стыда и досады:

— Вот это странно! Я разве... да и кто ж мог думать... Я очень знаю...

Но Борис опять перебил его:

— Я рад, что высказал все. Может быть, вам неприятно, вы меня извините, — сказал он, успокоивая Пьера, вместо того чтоб быть успокоиваемым им, — но я надеюсь, что не оскорбил вас. Я имею правило говорить все прямо... Как же мне передать? Вы приедете обедать к Ростовым?

И Борис, видимо, свалив с себя тяжелую обязанность, сам выйдя из неловкого положения и поставив в него другого, сделался опять совершенно приятен.

— Нет, послушайте, — сказал Пьер, успокоиваясь. — Вы удивительный человек. То, что вы сейчас сказали, очень хорошо, очень хорошо. Разумеется, вы меня не знаете. Мы так давно не видались... детьми еще... Вы можете предполагать во мне... Я вас понимаю, очень понимаю. Я бы этого не сделал, у меня недостало бы духу, но это прекрасно. Я очень рад, что познакомился с вами. Странно, — прибавил он, помолчав и улыбаясь, — что вы во мне предполагали! — Он засмеялся. — Ну, да что ж? Мы познакомимся с вами лучше. Пожалуйста. — Он пожал руку Борису. — Вы знаете ли, я ни разу не был у графа. Он меня не звал.. Мне его жалко, как человека... Но что же делать?

— И вы думаете, что Наполеон успеет переправить армию? — спросил Борис, улыбаясь.

Пьер понял, что Борис хотел переменить разговор и, соглашаясь с ним, начал излагать выгоды и невыгоды Булонского предприятия.

Лакей пришел вызвать Бориса к княгине. Княгиня уезжала. Пьер обещался приехать обедать затем, чтобы ближе сойтись с Борисом, крепко жал его руку, ласково глядя ему в глаза через очки... По уходе его Пьер долго еще ходил по комнате, уже не пронзая невидимого врага шпагой, а улыбаясь при воспоминании об этом милом, умном и твердом молодом человеке.

Как это бывает в первой молодости и особенно в одиноком положении, он почувствовал беспричинную нежность к этому молодому человеку и обещал себе непременно подружиться с ним.

Князь Василий провожал княгиню. Княгиня держала платок у глаз, и лицо ее было в слезах.

— Это ужасно! ужасно! — говорила она. — Но чего бы мне ни стоило, я исполню свой долг. Я приеду ночевать. Его нельзя так оставить. Каждая минута дорога. Я не понимаю, чего мешкают княжны. Может, бог поможет

мне найти средство его приготовить... Adieu, mon prince, que le bon dieu vous soutienne...[1]

— Adieu, ma bonne[2],— отвечал князь Василий, повертываясь от нее.

— Ах, он в ужасном положении, — сказала мать сыну, когда они опять садились в карету. — Он почти никого не узнает.

— Я не понимаю, маменька, какие его отношения к Пьеру? — спросил сын.

— Все скажет завещание, мой друг; от него и наша судьба зависит...

— Но почему вы думаете, что он оставит что-нибудь нам?

— Ах, мой друг! Он так богат, а мы так бедны!

— Ну, это еще недостаточная причина, маменька.

— Ах, боже мой! боже мой! как он плох! — восклицала мать.

XIV

Когда Анна Михайловна уехала с сыном к графу Кириллу Владимировичу Безухову, графиня Ростова долго сидела одна, прикладывая платок к глазам. Наконец она позвонила.

— Что вы, милая, — сказала она сердито девушке, которая заставила себя ждать несколько минут. — Не хотите служить, что ли? Так я вам найду место.

Графиня была расстроена горем и унизительною бедностью своей подруги и поэтому была не в духе, что выражалось у нее всегда наименованием горничной «милая» и «вы».

— Виновата-с, — сказала горничная.

— Попросите ко мне графа.

Граф, переваливаясь, подошел к жене с несколько виноватым видом, как и всегда.

— Ну, графинюшка! какое sauté au madère[3] из рябчиков будет, ma chère! Я попробовал; недаром я за Тараску тысячу рублей дал. Сто́ит!

Он сел подле жены, облокотив молодецки руки на колена и взъерошивая седые волосы.

---

[1] Прощайте, князь, да поддержит вас бог...
[2] Прощайте, моя любезная.
[3] соте с мадерой.

— Что прикажете, графинюшка?

— Вот что, мой друг, — что это у тебя запачкано здесь? — сказала она, указывая на жилет. — Это соте, верно, — прибавила она, улыбаясь. — Вот что, граф: мне денег нужно.

Лицо ее стало печально.

— Ах, графинюшка!.. — И граф засуетился, доставая бумажник.

— Мне много надо, граф, мне пятьсот рублей надо. — И она, достав батистовый платок, терла им жилет мужа.

— Сейчас, сейчас. Эй, кто там? — крикнул он таким голосом, каким кричат только люди, уверенные, что те, кого они кличут, стремглав бросятся на их зов. — Послать ко мне Митеньку!

Митенька, тот дворянский сын, воспитанный у графа, который теперь заведовал всеми его делами, тихими шагами вошел в комнату.

— Вот что, мой милый, — сказал граф вошедшему почтительному молодому человеку.— Принеси ты мне...— Он задумался. — Да, семьсот рублей, да. Да смотри, таких рваных и грязных, как тот раз, не приноси, а хороших, для графини.

— Да, Митенька, пожалуйста, чтобы чистенькие, — сказала графиня, грустно вздыхая.

— Ваше сиятельство, когда прикажете доставить? — сказал Митенька. — Извольте знать, что... Впрочем, не извольте беспокоиться, — прибавил он, заметив, как граф уже начал тяжело и часто дышать, что всегда было признаком начинавшегося гнева. — Я было и запамятовал... Сию минуту прикажете доставить?

— Да, да, то-то, принеси. Вот графине отдай.

— Экое золото у меня этот Митенька, — прибавил граф, улыбаясь, когда молодой человек вышел. — Нет того, чтобы нельзя. Я же этого терпеть не могу. Все можно.

— Ах, деньги, граф, деньги, сколько от них горя на свете! — сказала графиня. — А эти деньги мне очень нужны.

— Вы, графинюшка, мотовка известная, — проговорил граф и, поцеловав у жены руку, ушел опять в кабинет.

Когда Анна Михайловна вернулась опять от Безухова, у графини лежали уже деньги, всё новенькими бумажками, под платком на столике, и Анна Михайловна заметила, что графиня чем-то растревожена.

— Ну, что, мой друг? — спросила графиня.

— Ах, в каком он ужасном положении! Его узнать нельзя, он так плох, так плох; я минутку побыла и двух слов не сказала...

— Annette, ради бога, не откажи мне, — сказала вдруг графиня, краснея, что так странно было при ее немолодом, худом и важном лице, доставая из-под платка деньги.

Анна Михайловна мгновенно поняла, в чем дело, и уж нагнулась, чтобы в должную минуту ловко обнять графиню.

— Вот Борису от меня, на шитье мундира...

Анна Михайловна уж обнимала ее и плакала. Графиня плакала тоже. Плакали они о том, что они дружны; и о том, что они добры; и о том, что они, подруги молодости, заняты таким низким предметом — деньгами; и о том, что молодость их прошла... Но слезы обеих были приятны.

XV

Графиня Ростова с дочерьми и уже с большим числом гостей сидела в гостиной. Граф провел гостей-мужчин в кабинет, предлагая им свою охотницкую коллекцию турецких трубок. Изредка он выходил и спрашивал: не приехала ли? Ждали Марью Дмитриевну Ахросимову, прозванную в обществе le terrible dragon [1], даму знаменитую не богатством, не почестями, но прямотой ума и откровенною простотой обращения. Марью Дмитриевну знала царская фамилия, знала вся Москва и весь Петербург, и оба города, удивляясь ей, втихомолку посмеивались над ее грубостью, рассказывали про нее анекдоты; тем не менее все без исключения уважали и боялись ее.

В кабинете, полном дыма, шел разговор о войне, которая была объявлена манифестом, о наборе. Манифеста еще никто не читал, но все знали о его появлении. Граф сидел на оттоманке между двумя курившими и разговаривавшими соседями. Граф сам не курил и не говорил, а, наклоняя голову то на один бок, то на другой, с видимым удовольствием смотрел на куривших и слушал разговор двух соседей своих, которых он стравил между собой.

Один из говоривших был штатский, с морщинистым, желчным и бритым худым лицом, человек, уже приближавшийся к старости, хотя и одетый, как самый модный

[1] драгуном.

молодой человек; он сидел с ногами на оттоманке с видом домашнего человека и, сбоку запустив себе далеко в рот янтарь, порывисто втягивал дым и жмурился. Это был старый холостяк Шиншин, двоюродный брат графини, злой язык, как про него говорили в московских гостиных. Он, казалось, снисходил до своего собеседника. Другой, свежий, розовый гвардейский офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный, держал янтарь у середины рта и розовыми губами слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта. Это был тот поручик Берг, офицер Семеновского полка, с которым Борис ехал вместе в полк и которым Наташа дразнила Веру, старшую графиню, называя Берга ее женихом. Граф сидел между ними и внимательно слушал. Самое приятное для графа занятие, за исключением игры в бостон, которую он очень любил, было положение слушающего, особенно когда ему удавалось стравить двух говорливых себеседников.

— Ну, как же, батюшка, mon très honorable[1] Альфонс Карлыч, — говорил Шиншин, посмеиваясь и соединяя (в чем и состояла особенность его речи) самые простые народные русские выражения с изысканными французскими фразами. — Vous comptez vous faire des rentes sur l'état[2], с роты доходец получить хотите?

— Нет-с, Петр Николаевич, я только желаю доказать, что в кавалерии выгод гораздо меньше против пехоты. Вот теперь сообразите, Петр Николаевич, мое положение.

Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда касался только его одного; он всегда спокойно молчал, пока говорили о чем-нибудь, не имеющем прямого к нему отношения. И молчать таким образом он мог несколько часов, не испытывая и не производя в других ни малейшего замешательства. Но как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием.

— Сообразите мое положение, Петр Николаич: будь я в кавалерии, я бы получал не более двухсот рублей в треть, даже и в чине поручика; а теперь я получаю двести тридцать, — говорил он с радостною, приятною улыбкой, оглядывая Шиншина и графа, как будто для него было

---

[1] достоуважаемый.
[2] С правительства доходец хотите получить.

очевидно, что его успех всегда будет составлять главную цель желаний всех остальных людей.

— Кроме того, Петр Николаич, перейдя в гвардию, я на виду, — продолжал Берг, — и вакансии в гвардейской пехоте гораздо чаще. Потом, сами сообразите, как я мог устроиться из двухсот тридцати рублей. А я откладываю и еще отцу посылаю, — продолжал он, пуская колечко.

— La balance y est...[1] Немец на обухе молотит хлебец, comme dit le proverbe[2], — перекладывая янтарь на другую сторону рта, сказал Шиншин и подмигнул графу.

Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин ведет разговор, подошли послушать. Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, продолжал рассказывать о том, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Берг, видимо, наслаждался, рассказывая все это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но все, что он рассказывал, было так мило, степенно, наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей.

— Ну, батюшка, вы и в пехоте и в кавалерии, везде пойдете в ход; это я вам предрекаю, — сказал Шиншин, трепля его по плечу и спуская ноги с оттоманки.

Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости вышли в гостиную.

Было то время перед званым обедом, когда собравшиеся гости не начинают длинного разговора в ожидании призыва к закуске, а вместе с тем считают необходимым шевелиться и не молчать, чтобы показать, что они нисколько не нетерпеливы сесть за стол. Хозяева поглядывают на дверь и изредка переглядываются между собой. Гости по этим взглядам стараются догадаться, кого или чего еще ждут: важного опоздавшего родственника или кушанья, которое еще не поспело.

---

[1] Верно...
[2] по пословице.

Пьер приехал перед самым обедом и неловко сидел посредине гостиной на первом попавшемся кресле, загородив всем дорогу. Графиня хотела заставить его говорить, но он наивно смотрел в очки вокруг себя, как бы отыскивая кого-то, и односложно отвечал на все вопросы графини. Он был стеснителен и один не замечал этого. Большая часть гостей, знавшая его историю с медведем, любопытно смотрели на этого большого, толстого и смирного человека, недоумевая, как мог такой увалень и скромник сделать такую штуку с квартальным.

— Вы недавно приехали? — спрашивала у него графиня.

— Oui, madame [1], — отвечал он, оглядываясь.

— Вы не видали моего мужа?

— Non, madame [2]. — Он улыбнулся совсем некстати.

— Вы, кажется, недавно были в Париже? Я думаю, очень интересно.

— Очень интересно.

Графиня переглянулась с Анной Михайловной. Анна Михайловна поняла, что ее просят занять этого молодого человека, и, подсев к нему, начала говорить об отце; но так же, как и графине, он отвечал ей только односложными словами. Гости были все заняты между собой.

— Les Rozoumovsky... Ça a éte charmant... Vous êtes bien bonne... La comtesse Apraksine... [3] — слышалось со всех сторон. Графиня встала и пошла в залу.

— Марья Дмитриевна? — послышался ее голос из залы.

— Она самая, — послышался в ответ грубый женский голос, и вслед за тем вошла в комнату Марья Дмитриевна.

Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Марья Дмитриевна остановилась в дверях и, с высоты своего тучного тела, высоко держа свою с седыми буклями пятидесятилетнюю голову, оглядела гостей и, как бы засучиваясь, оправила неторопливо широкие рукава своего платья. Марья Дмитриевна всегда говорила по-русски.

— Имениннице дорогой с детками, — сказала она своим громким, густым, подавляющим все другие звуки голосом. — Ты что, старый греховодник, — обратилась она к графу, целовавшему ее руку, — чай, скучаешь в Москве?

---

[1] Да, да, да.

[2] Нет еще, нет.

[3] Разумовские... Это было очень мило... Графиня Апраксина...

собак гонять негде? Да что, батюшка, делать, вот как эти пташки подрастут... — она указывала на девиц, — хочешь не хочешь, надо женихов искать.

— Ну, что, казак мой? (Марья Дмитриевна казаком называла Наташу), — говорила она, лаская рукой Наташу, подходившую к ее руке без страха и весело. — Знаю, что зелье девка, а люблю.

Она достала из огромного ридикюля яхонтовые сережки грушками и, отдав их именинно-сиявшей и разрумянившейся Наташе, тотчас же отвернулась от нее и обратилась к Пьеру.

— Э, э! любезный! поди-ка сюда, — сказала она притворно-тихим и тонким голосом. — Поди-ка, любезный...

И она грозно засучила рукава еще выше.

Пьер подошел, наивно глядя на нее через очки.

— Подойди, подойди, любезный! Я и отцу-то твоему правду одна говорила, когда он в случае был, а тебе-то и бог велит.

Она помолчала. Все молчали, ожидая того, что будет, и чувствуя, что было только предисловие.

— Хорош, нечего сказать! хорош мальчик!.. Отец на одре лежит, а он забавляется, квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, батюшка, стыдно! Лучше бы на войну шел.

Она отвернулась и подала руку графу, который едва удерживался от смеха.

— Ну, что ж, к столу, я чай, пора? — сказала Марья Дмитриевна.

Впереди пошел граф с Марьей Дмитриевной; потом графиня, которую повел гусарский полковник, нужный человек, с которым Николай должен был догонять полк. Анна Михайловна — с Шиншиным. Берг подал руку Вере. Улыбающаяся Жюли Карагина пошла с Николаем к столу. За ними шли еще другие пары, протянувшиеся по всей зале, и сзади всех поодиночке дети, гувернеры и гувернантки. Официанты зашевелились, стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости разместились. Звуки домашней музыки графа заменились звуками ножей и вилок, говора гостей, тихих шагов официантов. На одном конце стола во главе сидела графиня. Справа Марья Дмитриевна, слева Анна Михайловна и другие гостьи. На другом конце сидел граф, слева гусарский полковник, справа Шиншин и другие гости мужского пола. С одной стороны длинного стола молодежь постарше: Вера рядом

с Бергом, Пьер рядом с Борисом; с другой стороны — дети, гувернеры и гувернантки. Граф из-за хрусталя бутылок и ваз с фруктами поглядывал на жену и ее высокий чепец с голубыми лентами и усердно подливал вина своим соседям, не забывая и себя. Графиня так же, из-за ананасов, не забывая обязанности хозяйки, кидала значительные взгляды на мужа, которого лысина и лицо, казалось ей, своею краснотой резче отличались от седых волос. На дамском конце шло равномерное лепетанье; на мужском все громче и громче слышались голоса, особенно гусарского полковника, который так много ел и пил, все более и более краснея, что граф уже ставил его в пример другим гостям. Берг с нежной улыбкой говорил с Верой о том, что любовь есть чувство не земное, а небесное. Борис называл новому своему приятелю Пьеру бывших за столом гостей и переглядывался с Наташей, сидевшей против него. Пьер мало говорил, оглядывал новые лица и много ел. Начиная от двух супов, из которых он выбрал à la tortue[1], и кулебяки и до рябчиков, он не пропускал ни одного блюда и ни одного вина, которое дворецкий в завернутой салфеткой бутылке таинственно высовывал из-за плеча соседа, приговаривая: или «дреймадера», или «венгерское», или «рейнвейн». Он подставлял первую попавшуюся из четырех хрустальных, с вензелем графа, рюмок, стоявших перед каждым прибором, и пил с удовольствием, все с более и более приятным видом поглядывая на гостей. Наташа, сидевшая против него, глядела на Бориса, как глядят девочки тринадцати лет на мальчика, с которым они в первый раз только что поцеловались и в которого они влюблены. Этот самый взгляд ее иногда обращался на Пьера, и ему под взглядом этой смешной, оживленной девочки хотелось смеяться самому, не зная чему.

Николай сидел далеко от Сони, подле Жюли Карагиной, и опять с той же невольной улыбкой что-то говорил с ней. Соня улыбалась парадно, но, видимо, мучилась ревностью: то бледнела, то краснела и всеми силами прислушивалась к тому, что говорили между собою Николай и Жюли. Гувернантка беспокойно оглядывалась, как бы приготавливаясь к отпору, ежели бы кто вздумал обидеть детей. Гувернер-немец старался запомнить все роды кушаний, десертов и вин с тем, чтобы описать все подробно

[1] черепаший.

в письме к домашним в Германию, и весьма обижался тем, что дворецкий с завернутою в салфетку бутылкой обносил его. Немец хмурился, старался показать вид, что он и не желал получить этого вина, но обижался потому, что никто не хотел понять, что вино нужно было ему не для того, чтоб утолить жажду, не из жадности, а из добросовестной любознательности.

XVI

На мужском конце стола разговор все более и более оживлялся. Полковник рассказал, что манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге и что экземпляр, который он сам видел, доставлен ныне курьером главнокомандующему.

— И зачем нас нелегкая несет воевать с Бонапартом? — сказал Шиншин. — Il a déjà rabattu le caquet à l'Autriche. Je crains que cette fois ce ne soit notre tour [1].

Полковник был плотный, высокий и сангвинический немец, очевидно служака и патриот. Он обиделся словами Шиншина.

— А затэм, мылостывый государ, — сказал он, выговаривая *э* вместо *е* и *ъ* вместо *ь*. — Затэм, что импэратор это знаэт. Он в манифэстэ сказал, что нэ можэт смотрэт равнодушно на опасности, угрожающие России, и что бэзопасност импэрии, достоинство ее и святост *союзов,* — сказал он, почему-то особенно налегая на слово «союзов», как будто в этом была вся сущность дела.

И с свойственною ему непогрешимою, официальною памятью он повторил вступительные слова манифеста: «и желание, единственную и непременную цель государя составляющее: водворить в Европе на прочных основаниях мир — решили его двинуть ныне часть войска за границу и сделать к достижению намерения сего новые усилия».

— Вот зачэм, милостывый государ, — заключил он назидательно, выпивая стакан вина и оглядываясь на графа за поощрением.

— Connaissez vous le proverbe: [2] «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретёна», — сказал Шиншин,

---

[1] Он уже сбил спесь с Австрии. Боюсь, не пришел бы теперь наш черед.

[2] Знаете пословицу.

морщась и улыбаясь: — Cela nous convient à merveille[1]. Уж на что Суворова — и того расколотили à plate couture[2], а где у нас Суворовы теперь? Je vous demande un peu[3], — беспрестанно перескакивая с русского на французский язык, говорил он.

— Мы должны драться до послэднэй капли кров, — сказал полковник, ударяя по столу, — и умэр-р-рэт за своэго импэратора, и тогда всэй будэт хорошо. А рассуждать как мо-о-ож-но (он особенно вытянул голос на слове «можно»), как мо-о-ожно менше, — докончил он, опять обращаясь к графу. — Так старые гусары судим, вот и все. А вы как судитэ, молодой човэк и молодой гусар? — прибавил он, обращаясь к Николаю, который, услыхав, что дело шло о войне, оставил свою собеседницу и во все глаза смотрел и всеми ушами слушал полковника.

— Совершенно с вами согласен, — отвечал Николай, весь вспыхнув, вертя тарелку и переставляя стаканы с таким решительным и отчаянным видом, как будто в настоящую минуту он подвергался великой опасности, — я убежден, что русские должны умирать или побеждать, — сказал он, сам чувствуя, так же как и другие, после того как слово уже было сказано, что оно было слишком восторженно и напыщенно для настоящего случая и потому неловко.

— C'est bien beau ce que vous venez de dire[4], — сказала сидевшая подле него Жюли, вздыхая. Соня задрожала вся и покраснела до ушей, за ушами и до шеи и плеч, в то время как Николай говорил. Пьер прислушался к речам полковника и одобрительно закивал головой.

— Вот это славно, — сказал он.

— Настоящэй гусар, молодой человэк, — крикнул полковник, ударив опять по столу.

— О чем вы там шумите? — вдруг послышался через стол басистый голос Марьи Дмитриевны. — Что ты по столу стучишь, — обратилась она к гусару, — на кого ты горячишься? верно, думаешь, что тут французы пред тобой?

— Я правду говору, — улыбаясь, сказал гусар.

— Всё о войне, — через стол прокричал граф. — Ведь у меня сын идет, Марья Дмитриевна, сын идет.

---

[1] Это к нам идет удивительно.
[2] вдребезги.
[3] Я вас спрашиваю.
[4] Прекрасно! прекрасно то, что вы сказали.

— А у меня четыре сына в армии, а я не тужу. На все воля божья: и на печи лежа умрешь, и в сражении бог помилует, — прозвучал без всякого усилия, с того конца стола, густой голос Марьи Дмитриевны.

— Это так.

И разговор опять сосредоточился — дамский на своем конце стола, мужской на своем.

— А вот не спросишь, — говорил маленький брат Наташе, — а вот не спросишь!

— Спрошу, — отвечала Наташа.

Лицо ее вдруг разгорелось, выражая отчаянную и веселую решимость. Она привстала, приглашая взглядом Пьера, сидевшего против нее, прислушаться, и обратилась к матери.

— Мама! — прозвучал по всему столу ее детски-грудной голос.

— Что тебе? — спросила графиня испуганно, но, по лицу дочери увидев, что это была шалость, строго замахала ей рукой, делая угрожающий и отрицательный жест головой.

Разговор притих.

— Мама! какое пирожное будет? — еще решительнее, не срываясь, прозвучал голосок Наташи.

Графиня хотела хмуриться, но не могла. Марья Дмитриевна погрозила толстым пальцем.

— Казак! — проговорила она с угрозой.

Большинство гостей смотрели на старших, не зная, как следует принять эту выходку.

— Вот я тебя! — сказала графиня.

— Мама! что́ пирожное будет? — закричала Наташа уже смело и капризно-весело, вперед уверенная, что выходка ее будет принята хорошо.

Соня и толстый Петя прятались от смеха.

— Вот и спросила, — прошептала Наташа маленькому брату и Пьеру, на которого она опять взглянула.

— Мороженое, только тебе не дадут, — сказала Марья Дмитриевна.

Наташа видела, что бояться нечего, и потому не побоялась и Марьи Дмитриевны.

— Марья Дмитриевна! какое мороженое? Я сливочное не люблю.

— Морковное.

— Нет, какое? Марья Дмитриевна, какое? — почти кричала она. — Я хочу знать!

Марья Дмитриевна и графиня засмеялись, и за ними все гости. Все смеялись не ответу Марьи Дмитриевны, но непостижимой смелости и ловкости этой девочки, умевшей и смевшей так обращаться с Марьей Дмитриевной.

Наташа отстала только тогда, когда ей сказали, что будет ананасное. Перед мороженым подали шампанское. Опять заиграла музыка, граф поцеловался с графинюшкою, и гости, вставая, поздравляли графиню, через стол чокались с графом, детьми и друг с другом. Опять забегали официанты, загремели стулья, и в том же порядке, но с более красными лицами, гости вернулись в гостиную и кабинет графа.

XVII

Раздвинули бостонные столы, составились партии, и гости графа разместились в двух гостиных, диванной и библиотеке.

Граф, распустив карты веером, с трудом удерживался от привычки послеобеденного сна и всему смеялся. Молодежь, подстрекаемая графиней, собралась около клавикорд и арфы. Жюли первая, по просьбе всех, сыграла на арфе пиеску с вариациями и вместе с другими девицами стала просить Наташу и Николая, известных своею музыкальностью, спеть что-нибудь. Наташа, к которой обратились как к большой, была, видимо, этим очень горда, но вместе с тем и робела.

— Что будем петь? — спросила она.

— «Ключ», — отвечал Николай.

— Ну, давайте скорее. Борис, идите сюда, — сказала Наташа. — А где же Соня?

Она оглянулась и, увидав, что ее друга нет в комнате, побежала за ней.

Вбежав в Сонину комнату и не найдя там своей подруги, Наташа пробежала в детскую — и там не было Сони. Наташа поняла, что Соня была в коридоре на сундуке. Сундук в коридоре был место печалей женского молодого поколения дома Ростовых. Действительно, Соня в своем воздушном розовом платьице, приминая его, лежала ничком на грязной полосатой няниной перине, на сундуке и, закрыв лицо пальчиками, навзрыд плакала, подрагивая своими оголенными плечиками. Лицо Наташи, оживленное, целый день именинное, вдруг изменилось: глаза ее остановились, потом содрогнулась ее широкая шея, углы губ опустились.

— Соня! что ты?.. Что, что с тобой? У-у-у!..

И Наташа, распустив свой большой рот и сделавшись совершенно дурною, заревела, как ребенок, не зная причины и только оттого, что Соня плакала. Соня хотела поднять голову, хотела отвечать, но не могла и еще больше спряталась. Наташа плакала, присев на синей перине и обнимая друга. Собравшись с силами, Соня приподнялась, начала утирать слезы и рассказывать.

— Николенька едет через неделю, его... бумага... вышла... он сам мне сказал... Да я бы все не плакала (она показала бумажку, которую держала в руке: то были стихи, написанные Николаем)... я бы все не плакала, но ты не можешь... никто не может понять... какая у него душа.

И она опять принялась плакать о том, что душа его была так хороша.

— Тебе хорошо... я не завидую... я тебя люблю, и Бориса тоже, — говорила она, собравшись немного с силами, — он милый... для вас нет препятствий. А Николай мне cousin... надобно... сам митрополит... и то нельзя. И потом, ежели маменьке (Соня графиню и считала и называла матерью)... она скажет, что я порчу карьеру Николая, у меня нет сердца, что я неблагодарная, а право... вот ей-богу (она перекрестилась)... я так люблю и ее, и всех вас, только Вера одна... За что? Что я ей сделала? Я так благодарна вам, что рада бы всем пожертвовать, да мне нечем...

Соня не могла больше говорить и опять спрятала голову в руках и перине. Наташа начинала успокоиваться, но по лицу ее видно было, что она понимала всю важность горя своего друга.

— Соня! — сказала она вдруг, как будто догадавшись о настоящей причине огорчения кузины. — Верно, Вера с тобой говорила после обеда? Да?

— Да, эти стихи сам Николай написал, а я списала еще другие; она и нашла их у меня на столе и сказала, что покажет их маменьке, и еще говорила, что я неблагодарная, что маменька никогда не позволит ему жениться на мне, а он женится на Жюли. Ты видишь, как он с ней целый день... Наташа! За что?..

И опять она заплакала горче прежнего. Наташа приподняла ее, обняла и, улыбаясь сквозь слезы, стала ее успокоивать.

— Соня, ты не верь ей, душенька, не верь. Помнишь, как мы все втроем говорили с Николенькой в диванной;

помнишь, после ужина? Ведь мы всё решили, как будет. Я уже не помню как, но помнишь, как было все хорошо и все можно. Вот дяденьки Шиншина брат женат же на двоюродной сестре, а мы ведь троюродные. И Борис говорил, что это очень можно. Ты знаешь, я ему все сказала. А он такой умный и такой хороший, — говорила Наташа... — Ты, Соня, не плачь, голубчик милый, душенька, Соня. — И она целовала ее, смеясь. — Вера злая, бог с ней! А все будет хорошо, и маменьке она не скажет; Николенька сам скажет, и он и не думал об Жюли.

И она целовала ее в голову. Соня приподнялась, и котеночек оживился, глазки заблистали, и он готов был, казалось, вот-вот взмахнуть хвостом, вспрыгнуть на мягкие лапки и опять заиграть с клубком, как ему и было прилично.

— Ты думаешь? Право? Ей-богу? — сказала она, быстро оправляя платье и прическу.

— Право! ей-богу! — отвечала Наташа, оправляя своему другу под косой выбившуюся прядь жестких волос.

И они обе засмеялись.

— Ну, пойдем петь «Ключ».

— Пойдем.

— А знаешь, этот толстый Пьер, что против меня сидел, такой смешной! — сказала вдруг Наташа, останавливаясь. — Мне очень весело!

И Наташа побежала по коридору.

Соня, отряхнув пух и спрятав стихи за пазуху, к шейке с выступавшими костями груди, легкими, веселыми шагами, с раскрасневшимся лицом, побежала вслед за Наташей по коридору в диванную. По просьбе гостей молодые люди спели квартет «Ключ», который всем очень понравился; потом Николай спел вновь выученную им песню:

В приятну ночь, при лунном свете,
Представить счастливо себе,
Что некто есть еще на свете,
Кто думает и о тебе!
Что и она, рукой прекрасной
По арфе золотой бродя,
Своей гармониею страстной
Зовет к себе, зовет тебя!
Еще день, два, и рай настанет...
Но ах! твой друг не доживет!

И он не допел еще последних слов, когда в зале молодежь приготовилась к танцам, а на хорах застучали ногами и закашляли музыканты.

Пьер сидел в гостиной, где Шиншин, как и с приезжим из-за границы, завел с ним скучный для Пьера политический разговор, к которому присоединились и другие. Когда заиграла музыка, Наташа вошла в гостиную и, подойдя прямо к Пьеру, смеясь глазами и краснея, сказала:

— Мама велела вас просить танцевать.

— Я боюсь спутать фигуры, — сказал Пьер, — но ежели вы хотите быть моим учителем...

И он подал свою толстую руку, низко опуская ее, тоненькой девочке.

Пока расстанавливались пары и строили музыканты, Пьер сел с своей маленькой дамой. Наташа была совершенно счастлива: она танцевала с *большим,* с приехавшим *из-за границы.* Она сидела на виду у всех и разговаривала с ним, как большая. У нее в руке был веер, который ей дала подержать одна барышня. И, приняв самую светскую позу (бог знает, где и когда она этому научилась), она, обмахиваясь веером и улыбаясь через веер, говорила с своим кавалером.

— Какова? какова? Смотрите, смотрите, — сказала старая графиня, проходя через залу и указывая на Наташу.

Наташа покраснела и засмеялась.

— Ну, что вы, мама? Ну, что вам за охота? Что ж тут удивительного?

В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и Марья Дмитриевна, и бо́льшая часть почетных гостей и старички, потягиваясь после долгого сиденья и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходили в двери залы. Впереди шла Марья Дмитриевна с графом — оба с веселыми лицами. Граф с шутливою вежливостью, как-то по-балетному, подал округленную руку Марье Дмитриевне. Он выпрямился, и лицо его озарилось особенною молодецки-хитрою улыбкой, и как только дотанцевали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладоши музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке:

— Семен! Данилу Купора знаешь?

Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости. (Данило Купор была собственно одна фигура *англеза.*)

— Смотрите на папа́, — закричала на всю залу Наташа (совершенно забыв, что она танцует с большим), пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале.

Действительно, все, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на веселого старичка, который рядом с своею сановитою дамой, Марьей Дмитриевной, бывшей выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивая ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и все более и более распускавшеюся улыбкой на своем круглом лице приготовлял зрителей к тому, что будет. Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой — женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина.

— Батюшка-то наш! Орел! — проговорила громко няня из одной двери.

Граф танцевал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцевать. Ее огромное тело стояло прямо, с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцевало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздергивающемся носе. Но зато, ежели граф, все более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких вывертов и легких прыжков своих мягких ног, Марья Дмитриевна малейшим усердием при движении плеч или округлении рук в поворотах и притоптываньях производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась все более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимание и даже не старались о том. Все было занято графом и Марьею Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз с танцующих, и требовала, чтобы смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорее. Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развертывался граф, то на цыпочках, то на каблуках носясь вокруг Марьи Дмитриевны, и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив

вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правою рукою среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцора остановились, тяжело переводя дыхание и утираясь батистовыми платками.

— Вот как в наше время танцевали, ma chère [1], — сказал граф.

— Ай да Данила Купор! — тяжело и продолжительно выпуская дух и засучивая рукава, сказала Марья Дмитриевна.

XVIII

В то время как у Ростовых танцевали в зале шестой *англез* под звуки от усталости фальшививших музыкантов и усталые официанты и повара готовили ужин, с графом Безуховым сделался шестой уже удар. Доктора объявили, что надежды к выздоровлению нет; больному дана была глухая исповедь и причастие; делали приготовления для соборования, и в доме была суетня и тревога ожидания, обыкновенные в такие минуты. Вне дома, за воротами толпились, скрываясь от подъезжающих экипажей, гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа. Главнокомандующий Москвы, который беспрестанно присылал адъютантов узнавать о положении графа, в этот вечер сам приезжал проститься с знаменитым екатерининским вельможей, графом Безуховым.

Великолепная приемная комната была полна. Все почтительно встали, когда главнокомандующий, пробыв около получаса наедине с больным, вышел оттуда, слегка отвечая на поклоны и стараясь как можно скорее пройти мимо устремленных на него взглядов докторов, духовных лиц и родственников. Князь Василий, похудевший и побледневший за эти дни, провожал главнокомандующего и что-то несколько раз тихо повторил ему.

Проводив главнокомандующего, князь Василий сел в зале один на стул, закинув высоко ногу на ногу, на коленку упирая локоть и рукою закрыв глаза. Посидев так несколько времени, он встал и непривычно-поспешными шагами, оглядываясь кругом испуганными глазами, пошел чрез длинный коридор на заднюю половину дома, к старшей княжне.

[1] матушка.

Находившиеся в слабо освещенной комнате неровным шепотом говорили между собой и каждый раз замолкали и полными вопроса и ожидания глазами оглядывались на дверь, которая вела в покои умирающего и издавала слабый звук, когда кто-нибудь выходил из нее или входил в нее.

— Предел человеческий, — говорил старичок, духовное лицо, даме, подсевшей к нему и наивно слушавшей его, — предел положен, его же не прейдеши.

— Я думаю, не поздно ли соборовать? — прибавляя духовный титул, спрашивала дама, как будто не имея на этот счет никакого своего мнения.

— Таинство, матушка, великое, — отвечало духовное лицо, проводя рукою по лысине, по которой пролегало несколько прядей зачесанных полуседых волос.

— Это кто же? сам главнокомандующий был? — спрашивали в другом конце комнаты. — Какой моложавый!..

— А седьмой десяток! Что̀, говорят, граф-то не узнает уж? Хотели соборовать?

— Я одного знал: семь раз соборовался.

Вторая княжна вышла из комнаты больного с заплаканными глазами и села подле доктора Лоррена, который в грациозной позе сидел под портретом Екатерины, облокотившись на стол.

— Très beau, — говорил доктор, отвечая на вопрос о погоде, — très beau, princesse, et puis, à Moscou on se croit à la campagne [1].

— N'est-ce-pas? [2] — сказала княжна, вздыхая. — Так можно ему пить?

Лоррен задумался.

— Он принял лекарство?

— Да.

Доктор посмотрел на брегет.

— Возьмите стакан отварной воды и положите une pincée (он своими тонкими пальцами показал, что значит une pincée) de cremortartari... [3]

— *Не пило слушай*, — говорил немец-доктор адъютанту, — *чтопи с третий удар шивь оставался.*

---

[1] Прекрасно — прекрасная погода, прекрасная, княжна, и потом Москва так похожа на деревню.

[2] Не правда ли?

[3] щепотку кремортартара...

— А какой свежий был мужчина! — говорил адъютант. — И кому пойдет это богатство? — прибавил он шепотом.

— *Окотник найдутся,* — улыбаясь, отвечал немец.

Все опять оглянулись на дверь: она скрипнула, и вторая княжна, сделав питье, показанное Лорреном, понесла его больному. Немец-доктор подошел к Лоррену.

— Еще, может, дотянется до завтрашнего утра? — спросил немец, дурно выговаривая по-французски.

Лоррен, поджав губы, строго и отрицательно помахал пальцем перед своим носом.

— Сегодня ночью, не позже, — сказал он тихо, с приличною улыбкой самодовольства в том, что ясно умеет понимать и выражать положение больного, и отошел.

Между тем князь Василий отворил дверь в комнату княжны.

В комнате было полутемно, только две лампадки горели перед образами, и хорошо пахло куреньем и цветами. Вся комната была уставлена мелкою мебелью шифоньерок, шкафчиков, столиков. Из-за ширм виднелись белые покрывала высокой пуховой кровати. Собачка залаяла.

— Ах, это вы, mon cousin?

Она встала и оправила волосы, которые у нее всегда, даже и теперь, были так необыкновенно гладки, как будто они были сделаны из одного куска с головой и покрыты лаком.

— Что, случилось что-нибудь? — спросила она. — Я уже так напугалась.

— Ничего, все то же; я только пришел поговорить с тобой, Катишь, о деле, — проговорил князь, устало садясь на кресло, с которого она встала. — Как ты нагрела, однако, — сказал он, — ну, садись сюда, causons [1].

— Я думала, не случилось ли что? — сказала княжна и с своим неизменным, каменно-строгим выражением лица села против князя, готовясь слушать.

— Хотела уснуть, mon cousin, и не могу.

— Ну, что, моя милая? — сказал князь Василий, взяв руку княжны и пригибая ее по своей привычке книзу.

Видно было, что это «ну, что» относилось ко многому такому, что, не называя, они понимали оба.

---

[1] поговорим.

Княжна, с своею несообразно-длинною по ногам, сухою и прямою талией, прямо и бесстрастно смотрела на князя выпуклыми серыми глазами. Она покачала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот жест как выражение усталости.

— А мне-то, — сказал он, — ты думаешь, легче! Je suis éreinté comme un cheval de poste;[1] а все-таки мне надо с тобой поговорить, Катишь, и очень серьезно.

Князь Василий замолчал, и щеки его начали нервически подергиваться то на одну, то на другую сторону, придавая его лицу неприятное выражение, какое никогда не показывалось на лице князя Василия, когда он бывал в гостиных. Глаза его тоже были не такие, как всегда: то они смотрели нагло-шутливо, то испуганно оглядывались.

Княжна, своими сухими, худыми руками придерживая на коленях собачку, внимательно смотрела в глаза князю Василию; но видно было, что она не прервет молчания вопросом, хотя бы ей пришлось молчать до утра.

— Вот видите ли, моя милая княжна и кузина, Катерина Семеновна, — продолжал князь Василий, видимо, не без внутренней борьбы приступая к продолжению своей речи, — в такие минуты, как теперь, обо всем надо подумать. Надо подумать о будущем, о вас... Я вас всех люблю, как своих детей, ты это знаешь...

Княжна так же тускло и неподвижно смотрела на него.

— Наконец надо подумать и о моем семействе, — сердито отталкивая от себя столик и не глядя на нее, продолжал князь Василий, — ты знаешь, Катишь, что вы, три сестры Мамонтовы, да еще моя жена, мы одни прямые наследники графа. Знаю, знаю, как тебе тяжело говорить и думать о таких вещах. И мне не легче; но, друг мой, мне шестой десяток, надо быть ко всему готовым. Ты знаешь ли, что я послал за Пьером и что граф, прямо указывая на его портрет, требовал его к себе?

Князь Василий вопросительно посмотрел на княжну, но не мог понять, соображала ли она то, что он ей сказал, или просто смотрела на него...

— Я об одном не перестаю молить бога, mon cousin, — отвечала она, — чтоб он помиловал его и дал бы его прекрасной душе спокойно покинуть эту...

---

[1] Я заморен, как почтовая лошадь.

— Да, это так, — нетерпеливо продолжал князь Василий, потирая лысину и опять с злобой придвигая к себе отодвинутый столик, — но, наконец... наконец, дело в том, ты сама знаешь, что прошлою зимой граф написал завещание, по которому он все имение, помимо прямых наследников и нас, отдавал Пьеру.

— Мало ли он писал завещаний, — спокойно сказала княжна, — но Пьеру он не мог завещать! Пьер незаконный.

— Ma chère, — сказал вдруг князь Василий, прижав к себе столик, оживившись и начав говорить скорей, — но что, ежели письмо написано государю и граф просит усыновить Пьера? Понимаешь, по заслугам графа его просьба будет уважена...

Княжна улыбнулась, как улыбаются люди, которые думают, что знают дело больше, чем те, с кем разговаривают.

— Я тебе скажу больше,— продолжал князь Василий, хватая ее за руку, — письмо было написано, хотя и не отослано, и государь знал о нем. Вопрос только в том, уничтожено ли оно или нет. Ежели нет, то как скоро *все кончится,* — князь Василий вздохнул, давая этим понять, *что́* он разумел под словами *все кончится,* — и вскроют бумаги графа, завещание с письмом будет передано государю, и просьба его, наверно, будет уважена. Пьер, как законный сын, получит все.

— А наша часть? — спросила княжна, иронически улыбаясь так, как будто все, но только не это, могло случиться.

— Mais, ma pauvre Catiche, c'est clair comme le jour [1]. Он один тогда законный наследник всего, а вы не получите ни вот этого. Ты должна знать, моя милая, были ли написаны завещание и письмо и уничтожены ли они. И ежели почему-нибудь они забыты, то ты должна знать, где они, и найти их, потому что...

— Этого только недоставало! — перебила его княжна, сардонически улыбаясь и не изменяя выражения глаз. — Я женщина; по-вашему, мы все глупы; но я настолько знаю, что незаконный сын не может наследовать... Un bâtard, — прибавила она, полагая этим переводом окончательно показать князю его неосновательность.

---

[1] Но, милая Катишь, это ясно, как день.

— Как ты не понимаешь, наконец, Катишь! Ты так умна, как ты не понимаешь: ежели граф написал письмо государю, в котором просит его признать сына законным, — стало быть, Пьер уж будет не Пьер, а граф Безухов, и тогда он по завещанию получит все. И ежели завещание с письмом не уничтожены, то тебе, кроме утешения, что ты была добродетельна et tout ce qui s'en suit [1], ничего не останется. Это верно.

— Я знаю, что завещание написано; но знаю тоже, что оно недействительно, и вы меня, кажется, считаете за совершенную дуру, mon cousin, — сказала княжна с тем выражением, с которым говорят женщины, полагающие, что они сказали нечто остроумное и оскорбительное.

— Милая ты моя княжна Катерина Семеновна! — нетерпеливо заговорил князь Василий. — Я пришел к тебе не затем, чтобы пикироваться с тобой, а затем, чтобы, как с родной, хорошею, доброю, истинною родной, поговорить о твоих же интересах. Я тебе говорю десятый раз, что ежели письмо к государю и завещание в пользу Пьера есть в бумагах графа, то ты, моя голубушка, и с сестрами, не наследница. Ежели ты мне не веришь, то поверь людям знающим: я сейчас говорил с Дмитрием Онуфриичем (это был адвокат дома), он то же сказал.

Видимо, что-то вдруг изменилось в мыслях княжны; тонкие губы побледнели (глаза остались те же), и голос, в то время как она заговорила, прорывался такими раскатами, каких она, видимо, сама не ожидала.

— Это было бы хорошо, — сказала она. — Я ничего не хотела и не хочу.

Она сбросила свою собачку с колен и оправила складки платья.

— Вот благодарность, вот признательность людям, которые всем пожертвовали для него, — сказала она. — Прекрасно! Очень хорошо! Мне ничего не нужно, князь.

— Да, но ты не одна, у тебя сестры, — ответил князь Василий.

Но княжна не слушала его.

— Да, я это давно знала, но забыла, что, кроме низости, обмана, зависти, интриг, кроме неблагодарности, самой черной неблагодарности, я ничего не могла ожидать в этом доме...

---

[1] и всего, что отсюда вытекает.

— Знаешь ли ты или не знаешь, где это завещание? — спрашивал князь Василий еще с большим, чем прежде, подергиванием щек.

— Да, я была глупа, я еще верила в людей и любила их и жертвовала собой. А успевают только те, которые подлы и гадки. Я знаю, чьи это интриги.

Княжна хотела встать, но князь удержал ее за руку. Княжна имела вид человека, вдруг разочаровавшегося во всем человеческом роде; она злобно смотрела на своего собеседника.

— Еще есть время, мой друг. Ты помни, Катишь, что все это сделалось нечаянно, в минуту гнева, болезни, и потом забыто. Наша обязанность, моя милая, исправить его ошибку, облегчить его последние минуты тем, чтобы не допустить его сделать этой несправедливости, не дать ему умереть в мыслях, что он сделал несчастными тех людей...

— Тех людей, которые всем пожертвовали для него, — подхватила княжна, порываясь опять встать, но князь не пустил ее, — чего он никогда не умел ценить. Нет, mon cousin, — прибавила она со вздохом, — я буду помнить, что на этом свете нельзя ждать награды, что на этом свете нет ни чести, ни справедливости. На этом свете надо быть хитрою и злою.

— Ну, voyons[1], успокойся; я знаю твое прекрасное сердце.

— Нет, у меня злое сердце.

— Я знаю твое сердце, — повторил князь, — ценю твою дружбу и желал бы, чтобы ты была обо мне того же мнения. Успокойся и parlons raison[2], пока есть время — может, сутки, может, час; расскажи мне все, что ты знаешь о завещании, и главное, где оно: ты должна знать. Мы теперь же возьмем его и покажем графу. Он, верно, забыл уже про него и захочет его уничтожить. Ты понимаешь, что мое одно желание — свято исполнить его волю; я затем только и приехал сюда. Я здесь только затем, чтобы помогать ему и вам.

— Теперь я все поняла. Я знаю, чьи это интриги. Я знаю, — говорила княжна.

— Не в том дело, моя душа.

---

[1] Ну, ну.
[2] поговорим толком.

— Это ваша protégée, ваша милая Анна Михайловна, которую я не желала бы иметь горничной, эту мерзкую, гадкую женщину.

— Ne perdons point de temps [1].

— Ах, не говорите! Прошлую зиму она втерлась сюда и такие гадости, такие скверности наговорила графу на всех нас, особенно на Sophie, — я повторить не могу, — что граф сделался болен и две недели не хотел нас видеть. В это время, я знаю, что он написал эту гадкую, мерзкую бумагу; но я думала, что эта бумага ничего не значит.

— Nous y voilà [2], отчего же ты прежде ничего не сказала мне?

— В мозаиковом портфеле, который он держит под подушкой. Теперь я знаю, — сказала княжна, не отвечая. — Да, ежели есть за мной грех, большой грех, то это ненависть к этой мерзавке, — почти прокричала княжна, совершенно изменившись. — И зачем она втирается сюда? Но я ей выскажу все, все. Придет время!

XIX

В то время как такие разговоры происходили в приемной и в княжниной комнатах, карета с Пьером (за которым было послано) и с Анной Михайловной (которая нашла нужным ехать с ним) въезжала во двор графа Безухова. Когда колеса кареты мягко зазвучали по соломе, настланной под окнами, Анна Михайловна, обратившись к своему спутнику с утешительными словами, убедилась в том, что он спит в углу кареты, и разбудила его. Очнувшись, Пьер за Анной Михайловной вышел из кареты и тут только подумал о том свидании с умирающим отцом, которое его ожидало. Он заметил, что они подъехали не к парадному, а к заднему подъезду. В то время как он сходил с подножки, два человека в мещанской одежде торопливо отбежали от подъезда в тень стены. Приостановившись, Пьер разглядел в тени дома с обеих сторон еще несколько таких же людей. Но ни Анна Михайловна, ни лакей, ни кучер, которые не могли не видеть этих людей, не обратили на них внимания. Стало быть, это так нужно, решил сам с собой Пьер и прошел за Анною Ми-

[1] Не будем терять время.
[2] В этом-то и дело.

хайловной. Анна Михайловна поспешными шагами шла вверх по слабо освещенной узкой каменной лестнице, подзывая отстававшего за ней Пьера, который, хотя и не понимал, для чего ему надо было вообще идти к графу, и еще меньше, зачем ему надо было идти по задней лестнице, но, судя по уверенности и поспешности Анны Михайловны, решил про себя, что это было необходимо нужно. На половине лестницы чуть не сбили их с ног какие-то люди с ведрами, которые, стуча сапогами, сбегали им навстречу. Люди эти прижались к стене, чтобы пропустить Пьера с Анною Михайловной, и не показали ни малейшего удивления при виде их.

— Здесь на половину княжон? — спросила Анна Михайловна одного из них.

— Здесь, — отвечал лакей смелым, громким голосом, как будто теперь все уже было можно, — дверь налево, матушка.

— Может быть, граф не звал меня, — сказал Пьер в то время, как он вышел на площадку, — я пошел бы к себе.

Анна Михайловна остановилась, чтобы поравняться с Пьером.

— Ah, mon ami! — сказала она с тем же жестом, как утром с сыном, дотрогиваясь до его руки, — croyez, que je souffre, autant que vous, mais soyez homme [1].

— Право, я пойду? — спросил Пьер, ласково чрез очки глядя на Анну Михайловну.

— Ah, mon ami, oubliez les torts qu'on a pu avoir envers vous, pensez que c'est votre père... peut-être à l'agonie. — Она вздохнула. — Je vous ai tout de suite aimé comme mon fils. Fiez vous à moi, Pierre. Je n'oublierai pas vos intérêts [2].

Пьер ничего не понимал; опять ему еще сильнее показалось, что все это так должно быть, и он покорно последовал за Анною Михайловной, уже отворявшею дверь.

Дверь выходила в переднюю заднего хода. В углу сидел старик слуга княжон и вязал чулок. Пьер никогда не был на этой половине, даже не предполагал существования

---

[1] Ах, мой дружок, поверьте, я страдаю не меньше вас, но будьте мужчиной.

[2] Забудьте, друг мой, в чем были против вас неправы, подумайте, что это ваш отец... может быть, при смерти. Я тотчас полюбила вас, как сына. Доверьтесь мне, Пьер. Я не забуду ваших интересов.

таких покоев. Анна Михайловна спросила у обгонявшей их, с графином на подносе, девушки (назвав ее милою и голубушкой) о здоровье княжон и повлекла Пьера дальше по каменному коридору. Из коридора первая дверь налево вела в жилые комнаты княжон. Горничная, с графином, второпях (как и все делалось второпях в эту минуту в этом доме) не затворила двери, и Пьер с Анною Михайловной, проходя мимо, невольно заглянули в ту комнату, где, разговаривая, сидели близко друг от друга старшая княжна с князем Васильем. Увидав проходящих, князь Василий сделал нетерпеливое движение и откинулся назад; княжна вскочила и отчаянным жестом изо всей силы хлопнула дверью, затворяя ее.

Жест этот был так непохож на всегдашнее спокойствие княжны, страх, выразившийся на лице князя Василья, был так несвойствен его важности, что Пьер, остановившись, вопросительно, через очки посмотрел на свою руководительницу. Анна Михайловна не выразила удивления, она только слегка улыбнулась и вздохнула, как будто показывая, что всего этого она ожидала.

— Soyez homme, mon ami, c'est moi qui veillerai à vos intérêts [1], — сказала она в ответ на его взгляд и еще скорее пошла по коридору.

Пьер не понимал, в чем дело, и еще меньше, что значило veiller à vos intérêts [2], но он понимал, что все это так должно быть. Коридором они вышли в полуосвещенную залу, примыкавшую к приемной графа. Это была одна из тех холодных и роскошных комнат, которые знал Пьер с парадного крыльца. Но и в этой комнате, посередине, стояла пустая ванна и была пролита вода по ковру. Навстречу им вышли на цыпочках, не обращая на них внимания, слуга и причетник с кадилом. Они вошли в знакомую Пьеру приемную с двумя итальянскими окнами, выходом в зимний сад, с большим бюстом и во весь рост портретом Екатерины. Все те же люди, почти в тех же положениях, сидели, перешептываясь, в приемной. Все, смолкнув, оглянулись на вошедшую Анну Михайловну, с ее исплаканным, бледным лицом, и на толстого, большого Пьера, который, опустив голову, покорно следовал за нею.

---

[1] Будьте мужчиною, друг мой, а я уж буду блюсти за вашими интересами.

[2] блюсти его интересы.

На лице Анны Михайловны выразилось сознание того, что решительная минута наступила; она, с приемами деловой петербургской дамы, вошла в комнату, не отпуская от себя Пьера, еще смелее, чем утром. Она чувствовала, что так как она ведет за собою того, кого желал видеть умирающий, то прием ее был обеспечен. Быстрым взглядом оглядев всех, бывших в комнате, и заметив графова духовника, она, не то что согнувшись, но сделавшись вдруг меньше ростом, мелкою иноходью подплыла к духовнику и почтительно приняла благословение одного, потом другого духовного лица.

— Слава богу, что успели, — сказала она духовному лицу, — мы все, родные, так боялись. Вот этот молодой человек — сын графа, — прибавила она тише. — Ужасная минута!

Проговорив эти слова, она подошла к доктору.

— Cher docteur, — сказала она ему, — ce jeune homme est le fils du comte... y a-t-il de l'espoir? [1]

Доктор молча, быстрым движением возвел кверху глаза и плечи. Анна Михайловна точно таким же движением возвела плечи и глаза, почти закрыв их, вздохнула и отошла от доктора к Пьеру. Она особенно почтительно и нежно-грустно обратилась к Пьеру.

— Ayez confiance en sa miséricorde! [2] — сказала она ему и, указав ему диванчик, чтобы сесть подождать ее, сама неслышно направилась к двери, на которую все смотрели, и вслед за чуть слышным звуком этой двери скрылась за нею.

Пьер, решившись во всем повиноваться своей руководительнице, направился к диванчику, который она ему указала. Как только Анна Михайловна скрылась, он заметил, что взгляды всех бывших в комнате больше чем с любопытством и с участием устремились на него. Он заметил, что все перешептывались, указывая на него глазами, как будто со страхом и даже с подобострастием. Ему оказывали уважение, какого прежде никогда не оказывали: неизвестная ему дама, которая говорила с духовными лицами, встала со своего места и предложила ему сесть, адъютант поднял уроненную Пьером перчатку и подал ему; доктора почтительно замолкли, когда он

---

[1] Любезный доктор, этот молодой человек — сын графа... Есть ли надежда?

[2] Доверьтесь его милосердию!

проходил мимо их, и посторонились, чтобы дать ему место. Пьер хотел сначала сесть на другое место, чтобы не стеснять даму, хотел сам поднять перчатку и обойти докторов, которые вовсе и не стояли на дороге; но он вдруг почувствовал, что это было бы неприлично, он почувствовал, что он в нынешнюю ночь есть лицо, которое обязано совершить какой-то страшный и ожидаемый всеми обряд, и что поэтому он должен был принимать от всех услуги. Он принял молча перчатку от адъютанта, сел на место дамы, положив свои большие руки на симметрично выставленные колени, в наивной позе египетской статуи, и решил про себя, что все это так именно должно быть и что ему в нынешний вечер, для того чтобы не потеряться и не наделать глупостей, не следует действовать по своим соображениям, а надобно предоставить себя вполне на волю тех, которые руководили им.

Не прошло и двух минут, как князь Василий, в своем кафтане с тремя звездами, величественно, высоко неся голову, вошел в комнату. Он казался похудевшим с утра; глаза его были больше обыкновенного, когда он оглянул комнату и увидал Пьера. Он подошел к нему, взял руку (чего он прежде никогда не делал) и потянул ее книзу, как будто он хотел испытать, крепко ли она держится.

— Courage, courage, mon ami. Il a demandé à vous voir. C'est bien... [1] — и он хотел идти.

Но Пьер почел нужным спросить:

— Как здоровье... — Он замялся, не зная, прилично ли назвать умирающего графом; назвать же отцом ему было совестно.

— Il a eu encore un coup, il y a une demi-heure. Еще был удар. Courage, mon ami... [2]

Пьер был в таком состоянии неясности мысли, что при слове «удар» ему представился удар какого-нибудь тела. Он, недоумевая, посмотрел на князя Василия и уже потом сообразил, что ударом называется болезнь. Князь Василий на ходу сказал несколько слов Лоррену и прошел в дверь на цыпочках. Он не умел ходить на цыпочках и неловко подпрыгивал всем телом. Вслед за ним прошла старшая княжна, потом прошли духовные

---

[1] Не унывать, не унывать, мой друг. Он велел вас позвать. Это хорошо...

[2] Был еще удар полчаса назад... Не унывать, мой друг...

лица и причетники, люди (прислуга) тоже прошли в дверь. За этою дверью послышалось передвижение, и, наконец, все с тем же бледным, но твердым в исполнении долга лицом, выбежала Анна Михайловна и, дотронувшись до руки Пьера, сказала:

— La bonté divine est inépuisable. C'est la cérémonie de l'extrême onction qui va commencer. Venez [1].

Пьер прошел в дверь, ступая по мягкому ковру, и заметил, что и адъютант, и незнакомая дама, и еще кто-то из прислуги — все прошли за ним, как будто теперь уж не надо было спрашивать разрешения входить в эту комнату.

XX

Пьер хорошо знал эту большую, разделенную колоннами и аркой комнату, всю обитую персидскими коврами. Часть комнаты за колоннами, где с одной стороны стояла высокая красного дерева кровать под шелковыми занавесами, а с другой — огромный киот с образами, была красно и ярко освещена, как бывают освещены церкви во время вечерней службы. Под освещенными ризами киота стояло длинное вольтеровское кресло, и на кресле, обложенном вверху снежно-белыми, не смятыми, видимо, только что перемененными подушками, укрытая до пояса ярко-зеленым одеялом, лежала знакомая Пьеру величественная фигура его отца, графа Безухова, с тою же седою гривой волос, напоминавших льва, над широким лбом и с теми же характерно-благородными крупными морщинами на красивом красно-желтом лице. Он лежал прямо под образами; обе толстые, большие руки его были выпростаны из-под одеяла и лежали на нем. В правую руку, лежавшую ладонью книзу, между большим и указательным пальцами вставлена была восковая свеча, которую, нагибаясь из-за кресла, придерживал в ней старый слуга. Над креслом стояли духовные лица в своих величественных блестящих одеждах, с выпростанными на них длинными волосами, с зажженными свечами в руках, и медленно-торжественно служили. Немного позади их стояли две младшие княжны, с платком в руках и у глаз, и впереди их старшая, Катишь, с злобным и

---

[1] Милосердие божие неисчерпаемо. Соборование сейчас начнется. Пойдемте.

решительным видом, ни на мгновение не спуская глаз с икон, как будто говорила всем, что не отвечает за себя, если оглянется. Анна Михайловна, с кроткою печалью и всепрощением на лице, и неизвестная дама стояли у двери. Князь Василий стоял с другой стороны двери, близко к креслу, за резным бархатным стулом, который он поворотил к себе спинкой, и, облокотив на нее левую руку со свечой, крестился правою, каждый раз поднимая глаза кверху, когда приставлял персты ко лбу. Лицо его выражало спокойную набожность и преданность воле божией. «Ежели вы не понимаете этих чувств, то тем хуже для вас», — казалось, говорило его лицо.

Сзади его стоял адъютант, доктора и мужская прислуга; как бы в церкви, мужчины и женщины разделились. Все молчало, крестилось, только слышны были церковное чтение, сдержанное, густое басовое пение и в минуту молчания перестановка ног и вздохи. Анна Михайловна, с тем значительным видом, который показывал, что она знает, что делает, перешла через всю комнату к Пьеру и подала ему свечу. Он зажег ее и, развлеченный наблюдениями над окружающими, стал креститься тою же рукой, в которой была свеча.

Младшая, румяная и смешливая, княжна Софи, с родинкою, смотрела на него. Она улыбнулась, спрятала свое лицо в платок и долго не открывала его; но, посмотрев на Пьера, опять засмеялась. Она, видимо, чувствовала себя не в силах глядеть на него без смеха, но не могла удержаться, чтобы не смотреть на него, и во избежание искушений тихо перешла за колонну. В середине службы голоса духовенства вдруг замолкли; духовные лица шепотом сказали что-то друг другу; старый слуга, державший руку графа, поднялся и обратился к дамам. Анна Михайловна выступила вперед и, нагнувшись над больным, из-за спины пальцем поманила к себе Лоррена. Француз-доктор, — стоявший без зажженной свечи, прислонившись к колонне, в той почтительной позе иностранца, которая показывает, что, несмотря на различие веры, он понимает всю важность совершающегося обряда и даже одобряет его, — неслышными шагами человека во всей силе возраста подошел к больному, взял своими белыми тонкими пальцами его свободную руку с зеленого одеяла и, отвернувшись, стал щупать пульс и задумался. Больному дали чего-то выпить, зашевелились около него, потом опять расступились по местам, и богослу-

жение возобновилось. Во время этого перерыва Пьер заметил, что князь Василий вышел из-за своей спинки стула и с тем же видом, который показывал, что он знает, что делает, и что тем хуже для других, ежели они не понимают его, не подошел к больному, а, пройдя мимо его, присоединился к старшей княжне и с нею вместе направился в глубь спальни, к высокой кровати под шелковыми занавесами. От кровати и князь и княжна оба скрылись в заднюю дверь, но перед концом службы один за другим возвратились на свои места. Пьер обратил на это обстоятельство не более внимания, как и на все другие, раз навсегда решив в своем уме, что все, что совершалось перед ним нынешний вечер, было так необходимо нужно.

Звуки церковного пения прекратились, и послышался голос духовного лица, которое почтительно поздравляло больного с принятием таинства. Больной лежал все так же, безжизненно и неподвижно. Вокруг него все зашевелилось, послышались шаги и шепоты, из которых шепот Анны Михайловны выдавался резче всех.

Пьер слышал, как она сказала:

— Непременно надо перенести на кровать, здесь никак нельзя будет...

Больного так обступили доктора, княжны и слуги, что Пьер уже не видал той красно-желтой головы с седою гривой, которая, несмотря на то, что он видел и другие лица, ни на мгновение не выходила у него из вида во все время службы. Пьер догадался по осторожному движению людей, обступивших кресло, что умирающего поднимали и переносили.

— За мою руку держись, уронишь так, — послышался ему испуганный шепот одного из слуг, — снизу... еще один, — говорили голоса, и тяжелые дыхания и переступанья ногами людей стали торопливее, как будто тяжесть, которую они несли, была сверх сил их.

Несущие, в числе которых была и Анна Михайловна, поравнялись с молодым человеком, и ему на мгновение из-за спин и затылков людей показалась высокая, жирная, открытая грудь, тучные плечи больного, приподнятые кверху людьми, державшими его под мышки, и седая курчавая львиная голова. Голова эта, с необычайно широким лбом и скулами, красивым чувственным ртом и величественным холодным взглядом, была не обезображена близостью смерти. Она была такая же, какою знал ее Пьер назад тому три месяца, когда граф отпускал его

в Петербург. Но голова эта беспомощно покачивалась от неровных шагов несущих, и холодный, безучастный взгляд не знал, на чем остановиться.

Прошло несколько минут суетни около высокой кровати; люди, несшие больного, разошлись. Анна Михайловна дотронулась до руки Пьера и сказала ему: «Venez»[1]. Пьер вместе с нею подошел к кровати, на которой, в праздничной позе, видимо, имевшей отношение к только что совершенному таинству, был положен больной. Он лежал, высоко опираясь головой на подушки. Руки его были симметрично выложены на зеленом шелковом одеяле ладонями вниз. Когда Пьер подошел, граф глядел прямо на него, но глядел тем взглядом, которого смысл и значение нельзя понять человеку. Или этот взгляд ровно ничего не говорил, как только то, что, покуда есть глаза, надо же глядеть куда-нибудь, или он говорил слишком многое. Пьер остановился, не зная, что ему делать, и вопросительно оглянулся на свою руководительницу Анну Михайловну. Анна Михайловна сделала ему торопливый жест глазами, указывая на руку больного и губами посылая ей воздушный поцелуй. Пьер, старательно вытягивая шею, чтобы не зацепить за одеяло, исполнил ее совет и приложился к ширококостной и мясистой руке. Ни рука, ни один мускул лица графа не дрогнули. Пьер опять вопросительно посмотрел на Анну Михайловну, спрашивая теперь, что ему делать. Анна Михайловна глазами указала ему на кресло, стоявшее подле кровати. Пьер покорно стал садиться на кресло, глазами продолжая спрашивать, то ли он сделал, что нужно. Анна Михайловна одобрительно кивнула головой. Пьер принял опять симметрично-наивное положение египетской статуи, видимо, соболезнуя о том, что неуклюжее и толстое тело его занимало такое большое пространство, и употребляя все душевные силы, чтобы казаться как можно меньше. Он смотрел на графа. Граф смотрел на то место, где находилось лицо Пьера, в то время как он стоял. Анна Михайловна являла в своем выражении сознание трогательной важности этой последней минуты свидания отца с сыном. Это продолжалось две минуты, которые показались Пьеру часом. Вдруг в крупных мускулах и морщинах лица графа появилось содрогание. Содрогание усиливалось, красивый рот покривился (тут только Пьер понял, до какой степени

[1] Пойдемте.

отец его был близок к смерти), из перекривленного рта послышался неясный хриплый звук. Анна Михайловна старательно смотрела в глаза больному и, стараясь угадать, чего было нужно ему, указывала то на Пьера, то на питье, то шепотом вопросительно называла князя Василия, то указывала на одеяло. Глаза и лицо больного выказывали нетерпение. Он сделал усилие, чтобы взглянуть на слугу, который безотходно стоял у изголовья постели.

— На другой бочок перевернуться хотят, — прошептал слуга и поднялся, чтобы переворотить лицом к стене тяжелое тело графа.

Пьер встал, чтобы помочь слуге.

В то время как графа переворачивали, одна рука его беспомощно завалилась назад, и он сделал напрасное усилие, чтобы перетащить ее. Заметил ли граф тот взгляд ужаса, с которым Пьер смотрел на эту безжизненную руку, или какая другая мысль промелькнула в его умирающей голове в эту минуту, но он посмотрел на непослушную руку, на выражение ужаса в лице Пьера, опять на руку, и на лице его явилась так не шедшая к его чертам слабая, страдальческая улыбка, выражавшая как бы насмешку над своим собственным бессилием. Неожиданно, при виде этой улыбки, Пьер почувствовал содрогание в груди, щипанье в носу, и слезы затуманили его зрение. Больного перевернули на бок к стене. Он вздохнул.

— Il est assoupi[1], — сказала Анна Михайловна, заметив приходившую на смену княжну. — Allons[2].

Пьер вышел.

XXI

В приемной никого уже не было, кроме князя Василия и старшей княжны, которые, сидя под портретом Екатерины, о чем-то оживленно говорили. Как только они увидали Пьера с его руководительницей, они замолчали. Княжна что-то спрятала, как показалось Пьеру, и прошептала:

— Не могу видеть эту женщину.

— Catiche a fait donner du thé dans le petit salon, — сказал князь Василий Анне Михайловне. — Allez, ma

---

[1] Он забылся.
[2] Пойдем.

pauvre Анна Михайловна, prenez quelque chose, autrement vous ne suffirez pas [1].

Пьеру он ничего не сказал, только пожал с чувством его руку пониже плеча. Пьер с Анной Михайловной прошли в petit salon [2].

— Il n'y a rien qui restaure, comme une tasse de cet excellent thé russe après une nuit blanche [3], — говорил Лоррен с выражением сдержанной оживленности, отхлебывая из тонкой, без ручки, китайской чашки, стоя в маленькой круглой гостиной перед столом, на котором стоял чайный прибор и холодный ужин. Около стола собрались, чтобы подкрепить свои силы, все бывшие в эту ночь в доме графа Безухова. Пьер хорошо помнил эту маленькую круглую гостиную с зеркалами и маленькими столиками. Во время балов в доме графа Пьер, не умевший танцевать, любил сидеть в этой маленькой зеркальной и наблюдать, как дамы в бальных туалетах, бриллиантах и жемчугах на голых плечах, проходя через эту комнату, оглядывали себя в ярко освещенные зеркала, несколько раз повторявшие их отражения. Теперь та же комната была едва освещена двумя свечами, и среди ночи на одном маленьком столике беспорядочно стояли чайный прибор и блюда, и разнообразные, непраздничные люди, шепотом переговариваясь, сидели в ней, каждым движением, каждым словом показывая, что никто не забывает того, что делается теперь и имеет еще совершиться в спальне. Пьер не стал есть, хотя ему и очень хотелось. Он оглянулся вопросительно на свою руководительницу и увидел, что она на цыпочках выходила опять в приемную, где остался князь Василий с старшею княжной. Пьер полагал, что и это было так нужно, и, помедлив немного, пошел за ней. Анна Михайловна стояла подле княжны, и обе они в одно время говорили взволнованным шепотом.

— Позвольте мне, княгиня, знать, что нужно и что не нужно, — говорила княжна, видимо, находясь в том же взволнованном состоянии, в каком она была в то время, как захлопывала дверь своей комнаты.

---

[1] Катишь велела подать чай в маленькую гостиную. Вы бы пошли, бедная Анна Михайловна, подкрепили себя, а то вас не хватит.

[2] маленькую гостиную.

[3] Ничто так не восстановляет после бессонной ночи, как чашка этого превосходного русского чаю.

— Но, милая княжна, — кротко и убедительно говорила Анна Михайловна, заступая дорогу от спальни и не пуская княжну, — не будет ли это слишком тяжело для бедного дядюшки в такие минуты, когда ему нужен отдых? В такие минуты разговор о мирском, когда его душа уже приготовлена...

Князь Василий сидел на кресле, в своей фамильярной позе, высоко заложив ногу на ногу. Щеки его сильно перепрыгивали и, опустившись, казались толще внизу; но он имел вид человека, мало занятого разговором двух дам.

— Voyons, ma bonne Анна Михайловна, laissez faire Catiche[1]. Вы знаете, как граф ее любит.

— Я и не знаю, что в этой бумаге, — говорила княжна, обращаясь к князю Василию и указывая на мозаиковый портфель, который она держала в руках. — Я знаю только, что настоящее завещание у него в бюро, а это забытая бумага...

Она хотела обойти Анну Михайловну, но Анна Михайловна, подпрыгнув, опять загородила ей дорогу.

— Я знаю, милая, добрая княжна, — сказала Анна Михайловна, хватаясь рукой за портфель и так крепко, что видно было, она не скоро его пустит. — Милая княжна, я вас прошу, я вас умоляю, пожалейте его. Je vous en conjure...[2]

Княжна молчала. Слышны были только звуки усилий борьбы за портфель. Видно было, что ежели она заговорит, то заговорит не лестно для Анны Михайловны. Анна Михайловна держала крепко, но, несмотря на то, голос ее удерживал всю свою сладкую тягучесть и мягкость.

— Пьер, подойдите сюда, мой друг. Я думаю, что он не лишний в родственном совете: не правда ли, князь?

— Что же вы молчите, mon cousin? — вдруг вскрикнула княжна так громко, что в гостиной услыхали и испугались ее голоса. — Что вы молчите, когда здесь бог знает кто позволяет себе вмешиваться и делать сцены на пороге комнаты умирающего? Интриганка! — прошептала она злобно и дернула портфель изо всей силы, но Анна Михайловна сделала несколько шагов, чтобы не отстать от портфеля, и перехватила руку.

---

[1] Да нет же, моя милая Анна Михайловна, оставьте Катишь делать, что она знает.

[2] Я вас умоляю...

— Oh! — сказал князь Василий укоризненно и удивленно. Он встал. — C'est ridicule. Voyons[1], пустите. Я вам говорю.

Княжна пустила.

— И вы!

Анна Михайловна не послушалась его.

— Пустите, я вам говорю. Я беру все на себя. Я пойду и спрошу его. Я... довольно вам этого.

— Mais, mon prince[2], — говорила Анна Михайловна, — после такого великого таинства дайте ему минуту покоя. Вот, Пьер, скажите ваше мнение, — обратилась она к молодому человеку, который, вплоть подойдя к ним, удивленно смотрел на озлобленное, потерявшее все приличие лицо княжны и на перепрыгивающие щеки князя Василия.

— Помните, что вы будете отвечать за все последствия, — строго сказал князь Василий, — вы не знаете, что вы делаете.

— Мерзкая женщина! — вскрикнула княжна, неожиданно бросаясь на Анну Михайловну и вырывая портфель.

Князь Василий опустил голову и развел руками.

В эту минуту дверь, та страшная дверь, на которую так долго смотрел Пьер и которая так тихо отворялась, быстро, с шумом откинулась, стукнув об стену, и средняя княжна выбежала оттуда и всплеснула руками.

— Что вы делаете! — отчаянно проговорила она. — Il s'en va et vous me laissez seule[3].

Старшая княжна выронила портфель. Анна Михайловна быстро нагнулась и, подхватив спорную вещь, побежала в спальню. Старшая княжна и князь Василий, опомнившись, пошли за ней. Через несколько минут первая вышла оттуда старшая княжна, с бледным и сухим лицом и прикушенною нижнею губой. При виде Пьера лицо ее выразило неудержимую злобу.

— Да, радуйтесь теперь, — сказала она, — вы этого ждали.

И, зарыдав, она закрыла лицо платком и выбежала из комнаты.

За княжной вышел князь Василий. Он, шатаясь, дошел до дивана, на котором сидел Пьер, и упал на него,

---

[1] Это смешно. Ну же.
[2] Но, князь.
[3] Он умирает, а вы меня оставляете одну.

закрыв глаза рукой. Пьер заметил, что он был бледен и что нижняя челюсть его прыгала и тряслась, как в лихорадочной дрожи.

— Ах, мой друг! — сказал он, взяв Пьера за локоть; и в голосе его была искренность и слабость, которых Пьер никогда прежде не замечал в нем. — Сколько мы грешим, сколько мы обманываем, и все для чего? Мне шестой десяток, мой друг... Ведь мне... Все кончится смертью, все. Смерть ужасна. — Он заплакал.

Анна Михайловна вышла последняя. Она подошла к Пьеру тихими, медленными шагами.

— Пьер!.. — сказала она.

Пьер вопросительно смотрел на нее. Она поцеловала в лоб молодого человека, увлажая его слезами. Она помолчала.

— Il n'est plus... [1]

Пьер смотрел на нее через очки.

— Allons, je vous reconduirai. Tâchez de pleurer. Rien ne soulage comme les larmes [2].

Она провела его в темную гостиную, и Пьер рад был, что никто там не видел его лица. Анна Михайловна ушла от него, и, когда она вернулась, он, подложив под голову руку, спал крепким сном.

На другое утро Анна Михайловна говорила Пьеру:

— Oui, mon cher, c'est une grande perte pour nous tous. Je ne parle pas de vous. Mais dieu vous soutiendra, vous êtes jeune et vous voilà à la tête d'une immense fortune, je l'espère. Le testament n'a pas été encore ouvert. Je vous connais assez pour savoir que cela ne vous tournera pas la tête, mais cela vous impose des devoirs, et il faut être homme [3].

Пьер молчал.

— Peut-être plus tard je vous dirai, mon cher, que si je n'avais pas été là, dieu sait ce qui serait arrivé. Vous savez, mon oncle avant-hier encore me promettait de ne pas oublier

---

[1] Его нет более...

[2] Пойдемте, я вас провожу. Старайтесь плакать: ничто так не облегчает, как слезы.

[3] Да, мой друг, это великая потеря для всех нас, не говоря о вас. Но бог вас поддержит, вы молоды, и вот вы теперь, надеюсь, обладатель огромного богатства. Завещание еще не вскрыто. Я довольно вас знаю и уверена, что это не вскружит вам голову; но это налагает на вас обязанности; и надо быть мужчиной.

Boris. Mais il n'a pas eu le temps. J'espère, mon cher ami, que vous remplirez le désir de votre père[1].

Пьер ничего не понимал и молча, застенчиво краснея, смотрел на княгиню Анну Михайловну. Переговорив с Пьером, Анна Михайловна уехала к Ростовым и легла спать. Проснувшись утром, она рассказывала Ростовым и всем знакомым подробности смерти графа Безухова. Она говорила, что граф умер так, как и она желала бы умереть, что конец его был не только трогателен, но и назидателен; последнее же свидание отца с сыном было до того трогательно, что она не могла вспомнить его без слез, и что она не знает — кто лучше вел себя в эти страшные минуты: отец ли, который так все и всех вспомнил в последние минуты и такие трогательные слова сказал сыну, или Пьер, на которого жалко было смотреть, как он был убит и как, несмотря на это, старался скрыть свою печаль, чтобы не огорчить умирающего отца. «C'est pénible, mais cela fait du bien: ça élève l'âme de voir des hommes, comme le vieux comte et son digne fils»[2], — говорила она. О поступках княжны и князя Василья она, не одобряя их, тоже рассказывала, но под большим секретом и шепотом.

XXII

В Лысых Горах, имении князя Николая Андреевича Болконского, ожидали с каждым днем приезда молодого князя Андрея с княгиней; но ожидание не нарушило стройного порядка, по которому шла жизнь в доме старого князя. Генерал-аншеф князь Николай Андреевич, по прозванию в обществе le roi de Prusse[3], с того времени, как при Павле был сослан в деревню, жил безвыездно в своих Лысых Горах с дочерью, княжною Марьей, и при ней компаньонкой, m-lle Bourienne[4]. И в новое царствование, хотя ему и был разрешен въезд в столицы, он также продолжал безвыездно жить в деревне, говоря, что ежели кому его нужно, то тот и от Москвы полтораста верст

---

[1] После я, может быть, расскажу вам, что если б я не была там, то бог знает, что бы случилось. Вы знаете, что дядюшка третьего дня обещал мне не забыть Бориса, но не успел. Надеюсь, мой друг, вы исполните желание отца.

[2] Это тяжело, но это поучительно; душа возвышается, когда видишь таких людей, как старый граф и его достойный сын.

[3] прусский король.

[4] мамзель Бурьен.

доедет до Лысых Гор, а что ему никого и ничего не нужно. Он говорил, что есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и что есть только две добродетели: деятельность и ум. Он сам занимался воспитанием своей дочери и, чтобы развить в ней обе главные добродетели, давал ей уроки алгебры и геометрии и распределял всю ее жизнь в беспрерывных занятиях. Сам он постоянно был занят то писанием своих мемуаров, то выкладками из высшей математики, то точением табакерок на станке, то работой в саду и наблюдением над постройками, которые не прекращались в его имении. Так как главное условие для деятельности есть порядок, то и порядок в его образе жизни был доведен до последней степени точности. Его выходы к столу совершались при одних и тех же неизменных условиях, и не только в один и тот же час, но и минуту. С людьми, окружавшими его, от дочери до слуг, князь был резок и неизменно требователен, и потому, не быв жестоким, он возбуждал к себе страх и почтительность, каких не легко мог бы добиться самый жестокий человек. Несмотря на то, что он был в отставке и не имел теперь никакого значения в государственных делах, каждый начальник той губернии, где было имение князя, считал своим долгом являться к нему и точно так же, как архитектор, садовник или княжна Марья, дожидался назначенного часа выхода князя в высокой официантской. И каждый в этой официантской испытывал то же чувство почтительности и даже страха, в то время как отворялась громадно-высокая дверь кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика с маленькими сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, как он насупливался, застилавшими блеск умных и молодых блестящих глаз.

В день приезда молодых, утром, по обыкновению, княжна Марья в урочный час входила для утреннего приветствия в официантскую и со страхом крестилась и читала внутренно молитву. Каждый день она входила и каждый день молилась о том, чтоб это ежедневное свидание сошло благополучно.

Сидевший в официантской пудреный старик слуга тихим движением встал и шепотом доложил: «Пожалуйте».

Из-за двери слышались равномерные звуки станка. Княжна робко потянула за легко и плавно отворяющуюся дверь и остановилась у входа. Князь работал за станком и, оглянувшись, продолжал свое дело.

Огромный кабинет был наполнен вещами, очевидно, беспрестанно употребляемыми. Большой стол, на котором лежали книги и планы, высокие стеклянные шкафы библиотеки с ключами в дверцах, высокий стол для писания в стоячем положении, на котором лежала открытая тетрадь, токарный станок, с разложенными инструментами и с рассыпанными кругом стружками, — все выказывало постоянную, разнообразную и порядочную деятельность. По движениям небольшой ноги, обутой в татарский, шитый серебром, сапожок, по твердому налеганию жилистой, сухощавой руки видна была в князе еще упорная и много выдерживающая сила свежей старости. Сделав несколько кругов, он снял ногу с педали станка, обтер стамеску, кинул ее в кожаный карман, приделанный к станку, и, подойдя к столу, подозвал дочь. Он никогда не благословлял своих детей и только, подставив ей щетинистую, еще не бритую нынче щеку, сказал, строго и вместе с тем внимательно-нежно оглядев ее:

— Здорова?.. ну, так садись!

Он взял тетрадь геометрии, писанную его рукой, и подвинул ногой свое кресло.

— На завтра! — сказал он, быстро отыскивая страницу и от параграфа до другого отмечая жестким ногтем.

Княжна пригнулась к столу над тетрадью.

— Постой, письмо тебе, — вдруг сказал старик, доставая из приделанного над столом кармана конверт, надписанный женскою рукой, и кидая его на стол.

Лицо княжны покрылось красными пятнами при виде письма. Она торопливо взяла его и пригнулась к нему.

— От Элоизы? — спросил князь, холодною улыбкой выказывая еще крепкие и желтоватые зубы.

— Да, от Жюли, — сказала княжна, робко взглядывая и робко улыбаясь.

— Еще два письма пропущу, а третье прочту, — строго сказал князь, — боюсь, много вздору пишете. Третье прочту.

— Прочтите хоть это, mon père [1], — отвечала княжна, краснея еще более и подавая ему письмо.

— Третье, я сказал, третье, — коротко крикнул князь, отталкивая письмо, и, облокотившись на стол, пододвинул тетрадь с чертежами геометрии.

---

[1] батюшка.

— Ну, сударыня, — начал старик, пригнувшись близко к дочери над тетрадью и положив одну руку на спинку кресла, на котором сидела княжна, так что княжна чувствовала себя со всех сторон окруженною тем табачным и старчески-едким запахом отца, который она так давно знала. — Ну, сударыня, треугольники эти подобны; изволишь видеть, угол *abc*...

Княжна испуганно взглядывала на близко от нее блестящие глаза отца; красные пятна переливались по ее лицу, и видно было, что она ничего не понимает и так боится, что страх помешает ей понять все дальнейшие толкования отца, как бы ясны они ни были. Виноват ли был учитель, или виновата была ученица, но каждый день повторялось одно и то же: у княжны мутилось в глазах, она ничего не видела, не слышала, только чувствовала близко подле себя сухое лицо строгого отца, чувствовала его дыхание и запах и только думала о том, как бы ей уйти поскорее из кабинета и у себя на просторе понять задачу. Старик выходил из себя: с грохотом отодвигал и придвигал кресло, на котором сам сидел, делал усилия над собой, чтобы не разгорячиться, и почти всякий раз горячился, бранился, а иногда швырял тетрадью.

Княжна ошиблась ответом.

— Ну, как же не дура! — крикнул князь, оттолкнув тетрадь и быстро отвернувшись, но тотчас же встал, прошелся, дотронулся руками до волос княжны и снова сел.

Он придвинулся и продолжал толкование.

— Нельзя, княжна, нельзя, — сказал он, когда княжна, взяв и закрыв тетрадь с заданными уроками, уже готовилась уходить, — математика великое дело, моя сударыня. А чтобы ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу. Стерпится — слюбится. — Он потрепал ее рукой по щеке. — Дурь из головы выскочит.

Она хотела выйти, он остановил ее жестом и достал с высокого стола новую, неразрезанную книгу.

— Вот еще какой-то *Ключ таинства* тебе твоя Элоиза посылает. Религиозная. А я ни в чью веру не вмешиваюсь... Просмотрел. Возьми. Ну, ступай, ступай!

Он потрепал ее по плечу и сам запер за нею дверь.

Княжна Марья возвратилась в свою комнату с грустным, испуганным выражением, которое редко покидало ее и делало ее некрасивое, болезненное лицо еще более некрасивым, села за свой письменный стол, уставленный миниатюрными портретами и заваленный тетрадями и

книгами. Княжна была столь же беспорядочна, как отец ее порядочен. Она положила тетрадь геометрии и нетерпеливо распечатала письмо. Письмо было от ближайшего с детства друга княжны; друг этот была та самая Жюли Карагина, которая была на именинах у Ростовых.

Жюли писала:

Chère et excellente amie, quelle chose terrible et effrayante que l'absence! J'ai beau me dire que la moitié de mon existence et de mon bonheur est en vous, que malgré la distance que nous sépare, nos cœurs sont unis par des liens indissolubles; le mien se révolte contre la destinée, et je ne puis, malgré les plaisirs et les distractions qui m'entourent, vaincre une certaine tristesse cachée que je ressens au fond du cœur depuis notre séparation. Pourquoi ne sommes-nous pas réunies, comme cet été dans votre grand cabinet sur le canapé bleu, le canapé à confidences? Pourquoi ne puis-je, comme il y a trois mois, puiser de nouvelles forces morales dans votre regard si doux, si calme et si pénétrant, regard que j'aimais tant et que je crois voir devant moi, quand je vous écris?» [1]

Прочтя до этого места, княжна Марья вздохнула и оглянулась в трюмо, которое стояло направо от нее. Зеркало отразило некрасивое, слабое тело и худое лицо. Глаза, всегда грустные, теперь особенно безнадежно смотрели на себя в зеркало. «Она мне льстит», — подумала княжна, отвернулась и продолжала читать. Жюли, однако, не льстила своему другу: действительно, глаза княжны, большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них), были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, глаза эти делались привлекательнее красоты. Но княжна никогда не видела хорошего выражения своих глаз, того выражения, которое они принимали в те минуты, когда

---

[1] Милый и бесценный друг, какая страшная и ужасная вещь разлука! Сколько ни твержу себе, что половина моего существования и моего счастия в вас, что, несмотря на расстояние, которое нас разлучает, сердца наши соединены неразрывными узами, мое сердце возмущается против судьбы, и, несмотря на удовольствия и рассеяния, которые меня окружают, я не могу подавить некоторую скрытую грусть, которую испытываю в глубине сердца со времени нашей разлуки. Отчего мы не вместе, как в прошлое лето, в вашем большом кабинете, на голубом диване, на диване «признаний»? Отчего я не могу, как три месяца тому назад, почерпать новые нравственные силы в вашем взгляде, кротком, спокойном и проницательном, который я так любила и который я вижу пред собой в ту минуту, как пишу вам?

она не думала о себе. Как и у всех людей, лицо ее принимало натянуто-неестественное, дурное выражение, как скоро она смотрелась в зеркало. Она продолжала читать:

«Tout Moscou ne parle que guerre. L'un de mes deux frères est déjà à l'étranger, l'autre est avec la garde qui se met en marche vers la frontière. Notre cher empereur a quitté Pétersbourg et, à ce qu'on prétend, compte lui-même exposer sa précieuse existence aux chances de la guerre. Dieu veuille que le monstre corsicain, qui détruit le repos de l'Europe, soit terrassé par l'ange que le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, nous a donné pour souverain. Sans parler de mes frères, cette guerre m'a privée d'une relation des plus chères à mon cœur. Je parle du jeune Nicolas Rostoff qui avec son enthousiasme n'a pu supporter l'inaction et a quitté l'université pour aller s'enrôler dans l'armée. Eh bien, chère Marie, je vous avouerai, que, malgré son extrême jeunesse, son départ pour l'armée a été un grand chagrin pour moi. Le jeune homme, dont je vous parlais cet été, a tant de noblesse, de véritable jeunesse qu'on rencontre si rarement dans le siècle où nous vivons parmi nos vieillards de vingt ans. Il a surtout tant de franchise et de cœur. Il est tellement pur et poétique, que mes relations avec lui, quelque passagères qu'elles fussent, ont été l'une des plus douces jouissances de mon pauvre cœur, qui a déjà tant souffert. Je vous raconterai un jour nos adieux et tout ce qui s'est dit en partant. Tout cela est encore trop frais. Ah! chère amie, vous êtes heureuse de ne pas connaître ces jouissances et ces peines si poignantes. Vous êtes heureuse, puisque les dernières — sont ordinairement les plus fortes! Je sais fort bien que le comte Nicolas est trop jeune pour pouvoir jamais devenir pour moi quelque chose de plus qu'un ami, mais cette douce amitié, ces relations si poétiques et si pures ont été un besoin pour mon cœur. Mais n'en parlons plus. La grande nouvelle du jour qui occupe tout Moscou est la mort du vieux comte Безухов est son héritage. Figurez-vous que les trois princesses n'ont reçu que très peu de chose, le prince Basile rien, est que c'est M. Pierre qui a tout hérité, et qui par-dessus le marché a été reconnu pour fils légitime, par conséquent comte Безухов et possesseur de la plus belle fortune de la Russie. On prétend que le prince Basile a joué un très vilain rôle dans toute cette histoire et qu'il est reparti tout penaud pour Pétersbourg.

Je vous avoue que je comprends très peu toutes ces affaires de legs et de testament; ce que je sais, c'est que

depuis que le jeune homme que nous connaissions tous sous le nom de M. Pierre tout court est devenu comte Безухов et possesseur de l'une des plus grandes fortunes de la Russie, je m'amuse fort à observer les changements de ton et des manières des mamans accablées de filles à marier et des demoiselles elles-mêmes à l'égard de cet individu qui, par parenthèse, m'a paru toujours être un pauvre sire. Comme on s'amuse depuis deux ans à me donner des promis que je ne connais pas le plus souvent, la chronique matrimoniale de Moscou me fait comtesse Безуховой. Mais vous sentez bien que je ne me soucie nullement de le devenir. A propos de mariage, savez-vous que tout dernièrement *la tante en général* Анна Михайловна m'a confié sous le sceau du plus grand secret un projet de mariage pour vous. Ce n'est ni plus ni moins que le fils du prince Basile, Anatole, qu'on voudrait ranger en le mariant à une personne riche et distinguée, et c'est sur vous qu'est tombé le choix des parents. Je ne sais comment vous envisagerez la chose, mais j'ai cru de mon devoir de vous en avertir. On le dit très beau et très mauvais sujet; c'est tout ce que j'ai pu savoir sur son compte.

Mais assez de bavardage comme cela. Je finis mon second feuillet, et maman me fait chercher pour aller dîner chez les Apraksines. Lisez le livre mystique que je vous envoie et qui fait fureur chez nous. Quoiqu'il y ait des choses dans ce livre difficiles à atteindre avec la faible conception humaine, c'est un livre admirable dont la lecture calme et élève l'âme. Adieu. Mes respects à monsieur votre père et mes compliments à m-elle Bourienne. Je vous embrasse comme je vous aime.

Julie

P. S. Donnez-moi des nouvelles de votre frère et de sa charmante petite femme»[1].

---

[1] Вся Москва только и говорит что о войне. Один из моих двух братьев уже за границей, другой с гвардией, которая выступает в поход к границе. Наш милый государь оставляет Петербург и, как предполагают, намерен сам подвергнуть свое драгоценное существование случайностям войны. Дай бог, чтобы корсиканское чудовище, которое возмущает спокойствие Европы, было низвергнуто ангелом, которого всемогущий в своей благости поставил над нами повелителем. Не говоря уже о моих братьях, эта война лишила меня одного из отношений, самых близких моему сердцу. Я говорю о молодом Николае Ростове, который, при своем энтузиазме, не мог переносить бездействия и оставил университет, чтобы посту-

Княжна подумала, задумчиво улыбнулась (причем лицо ее, освещенное лучистыми глазами, совершенно преобразилось) и, вдруг приподнявшись, тяжело ступая, перешла к столу. Она достала бумагу, и рука ее быстро начала ходить по ней. Так писала она в ответ:

«Chère et excellente amie. Votre lettre du 13 m'a causé une grande joie. Vous m'aimez donc toujours, ma poétique Julie. L'absence dont vous dites tant de mal, n'a donc pas eu son influence habituelle sur vous. Vous vous plaignez de l'absence — que devrai-je dire moi si *j'osais* me plaindre, privée de tous ceux qui me sont chers? Ah! si nous n'avions pas la réligion pour nous consoler, la vie serait bien triste. Pourquoi me supposez vous un regard sévère quand

---

пить в армию. Признаюсь вам, милая Мари, что, несмотря на его чрезвычайную молодость, отъезд его в армию был для меня большим горем. В молодом человеке, о котором я говорила вам прошлым летом, столько благородства, истинной молодости, которую встречаешь так редко в наш век между нашими двадцатилетними стариками! У него особенно так много откровенности и сердца. Он так чист и полон поэзии, что мои отношения к нему, при всей мимолетности своей, были одною из самых сладостных отрад моего бедного сердца, которое уже так много страдало. Я вам расскажу когда-нибудь наше прощание и всё, что говорилось при прощании. Все это еще слишком свежо... Ах! милый друг, вы счастливы, что не знаете этих жгучих наслаждений, этих жгучих горестей. Вы счастливы, потому что последние обыкновенно сильнее первых. Я очень хорошо знаю, что граф Николай слишком молод для того, чтобы сделаться для меня чем-нибудь, кроме как другом. Но эта сладкая дружба, эти столь поэтические и столь чистые отношения были потребностью моего сердца. Но довольно об этом. Главная новость, занимающая всю Москву, — смерть старого графа Безухова и его наследство. Представьте себе, три княжны получили какую-то малость, князь Василий ничего, а Пьер — наследник всего и, сверх того, признан законным сыном и потому графом Безуховым и владельцем самого огромного состояния в России. Говорят, что князь Василий играл очень гадкую роль во всей этой истории и что он уехал в Петербург очень сконфуженный. Признаюсь вам, я очень плохо понимаю все эти дела по духовным завещаниям; знаю только, что с тех пор как молодой человек, которого мы все знали под именем просто Пьера, сделался графом Безуховым и владельцем одного из лучших состояний России — я забавляюсь наблюдениями над переменой тона маменек, у которых есть дочери-невесты, и самих барышень в отношении к этому господину, который (в скобках будь сказано) всегда казался мне очень ничтожным. Так как уже два года все забавляются тем, чтобы приискивать мне женихов, которых я большею частью не знаю, то брачная хроника Москвы делает меня графинею Безуховой. Но вы понимаете, что я нисколько этого не желаю. Кстати, о браках. Знаете ли вы, что недавно *всеобщая тетушка* Анна Михайловна доверила мне, под величайшим секретом, замысел устроить ваше супружество. Это ни более, ни менее, как сын князя Василия, Ана-

vous me parlez de votre affection pour le jeune homme? Sous ce rapport je ne suis rigide que pour moi. Je comprends ces sentiments chez les autres et si je ne puis approuver ne les ayant jamais ressentis, je ne les condamne pas. Il me paraît seulement que l'amour chrétien, l'amour du prochain, l'amour pour ses ennemis est plus méritoire, plus doux et plus beau, que ne le sont les sentiments que peuvent inspirer les beaux yeux d'un jeune homme à une jeune fille poétique et aimante comme vous.

La nouvelle de la mort du comte Безухов nous est parvenue avant votre lettre, et mon père en a été très affecté. Il dit que c'était l'avant-dernier représentant du grand siècle, et qu'à présent c'est son tour; mais qu'il fera son possible pour que son tour vienne le plus tard possible. Que dieu nous garde de ce terrible malheur! Je ne puis partager votre opinion sur Pierre que j'ai connu enfant. Il me paraissait toujours avoir un cœur excellent, et c'est la qualité que j'estime le plus dans les gens. Quant à son héritage et au rôle qu'y a joué le prince Basile, c'est bien triste pour tous les deux. Ah! chère amie, la parole de notre divin sauveur qu'il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume de dieu, cette parole est terriblement vraie; je plains le prince Basile et je regrette encore davantage Pierre. Si jeune et accablé de cette richesse, que de tentations n'aura-t-il pas à subir! Si on me demandait ce que je désirerais le plus au monde, ce serait d'être plus pauvre que le plus pauvre des mendiants. Mille grâces, chère amie, pour l'ouvrage que vous, m'envoyez, et qui fait si grande fureur chez vous. Cependant, puisque vous me dites qu'ai milieu de plusieurs bonnes choses il y en

---

толь, которого хотят пристроить, женив его на богатой и знатной девице, и на вас пал выбор родителей. Я не знаю, как вы посмотрите на это дело, но я сочла своим долгом предуведомить вас. Он, говорят, очень хорош и большой повеса. Вот все, что я могла узнать о нем.

Но будет болтать. Кончаю мой второй листок, а маменька прислала за мной, чтоб ехать обедать к Апраксиным.

Прочитайте мистическую книгу, которую я вам посылаю; она имеет у нас огромный успех. Хотя в ней есть вещи, которые трудно понять слабому уму человеческому, но это превосходная книга; чтение ее успокоивает и возвышает душу. Прощайте. Мое почтение вашему батюшке и мои приветствия мамзель Бурьен. Обнимаю вас от всего сердца.

Жюли.

P. S. Известите меня о вашем брате и о его прелестной жене.

a d'autres que la faible conception humaine ne peut atteindre, il me paraît assez inutile de s'occuper d'une lecture inintelligible; qui par là même, ne pourrait être d'aucun fruit. Je n'ai jamais pu comprendre la passion qu'ont certaines porsonnes de s'embrouiller l'entendement, en s'attashant à des livres mystiques, qui n'élèvent que des doutes dans leurs esprits, exaltent leur imagination et leur donnent un caractère d'exagération tout-à-fait contraire à la simplicité chrétienne. Lisons les apôtres et l'Evangile. Ne cherchons pas à pénétrer ce que ceux-là renferment de mystérieux, car, comment oserions-nous, misérables pécheurs que nous sommes, prétendre à nous initier dans les secrets terribles et sacrés de la providence, tant que nous portons cette dépouille charnelle, qui élève entre nous et l'eternel un voile impénétrable? Bornons-nous donc à étudier les principes sublimes que notre divin sauveur nous a laissé pour notre conduite icibas; cherchons à nous y conformer et à les suivre, persuadons-nous que moins nous donnons d'essor à notre faible esprit humain et plus il est agréable à dieu, qui rejette toute science ne venant pas de lui; que moins nous cherchons à approfondir ce qu'il lui a plu de dérober nous en accordera à notre connaissance, et plutôt il nous en accordera la decouverte par son divin esprit.

Mon père ne m'a pas parlé du pretendant, mais il m'a dit seulement qu'il a reçu une lettre et attendait une visite du prince Basile. Pour ce qui est du projet de mariage qui me regarde, je vous dirai, chère et excellente amie, que le mariage, selon moi, est une institution divine à laquelle il faut se conformer. Quelque pénible que cela soit pour moi, si le tout-puissant m'impose jamais les devoirs d'épouse et de mère, je tâcherai de les remplir aussi fidèlement que je le pourrai, sans m'inquiéter de l'examen de mes sentiments à l'égard de celui qu'il me donnera pour époux.

J'ai reçu une lettre de mon frère qui m'annonce son arrivée à Лысые Горы avec sa femme. Ce sera une joie de courte durée, puisqu'il nous quitte pour prendre part à cette malheureuse guerre, à laquelle nous sommes entraînés dieu sait comment et pourquoi. Non seulement chez vous, au centre des affaires et du monde, on ne parle que de guerre, mais ici, au milieu de ces travaux champêtres et de ce calme de la nature que les citadins se représentent ordinairement à la campagne, les bruits de la guerre se font entendre et sentir péniblement. Mon père ne parle que marche et contremarche, choses auxquelles je ne comprends rien; et

avant-hier en faisant ma promenade habituelle dans la rue du village, je fus témoin d'une scène déchirante... C'etait un convoi des recrues enrolés chez nous et expédiés pour l'armée. Il fallait voir l'état dans lequel se trouvaient les mères, les femmes, les enfants des hommes qui partaient et entendre les sanglots des uns et des autres! On dirait que l'humanité a oublié les lois de son divin sauveur qui prêchait l'amour et le pardon des offenses, et qu'elle fait consister son plus grand mérite dans l'art de s'entretuer.

Adieu, chère et bonne amie, que notre divin sauveur et sa très sainte mère vous aient en leur sainte et puissante garde.

Marie»[1].

---

[1] Милый и бесценный друг. Ваше письмо от тринадцатого доставило мне большую радость. Вы все еще меня любите, моя поэтическая Жюли. Разлука, о которой вы говорите так много дурного, видно, не имела на вас своего обычного влияния. Вы жалуетесь на разлуку, что же я должна была бы сказать, если бы смела, — я, лишенная всех тех, кто мне дорог? Ах, ежели бы не было у нас утешения религии, жизнь была бы очень печальна. Почему приписываете вы мне строгий взгляд, когда говорите о вашей склонности к молодому человеку? В этом отношении я строга только к себе. Я понимаю эти чувства у других, и если не могу одобрять их, никогда не испытавши, то я не осуждаю их. Мне кажется только, что христианская любовь к ближнему, любовь к врагам достойнее, отраднее и лучше, чем те чувства, которые могут внушить прекрасные глаза молодого человека молодой девушке, поэтической и любящей, как вы.

Известие о смерти графа Безухова дошло до нас прежде вашего письма, и мой отец был очень тронут им. Он говорит, что это был предпоследний представитель великого века и что теперь черед за ним, но что он сделает все зависящее от него, чтобы черед этот пришел как можно позже. Избави нас боже от этого несчастия!

Я не могу разделять вашего мнения о Пьере, которого знала еще ребенком. Мне казалось, что у него было всегда прекрасное сердце, а это то качество, которое я более всего ценю в людях. Что касается до его наследства и до роли, которую играл в этом князь Василий, то это очень печально для обоих. Ах, милый друг, слова нашего божественного спасителя, что легче верблюду пройти в игольное ухо, чем богатому войти в царствие божие, — эти слова страшно справедливы! Я жалею князя Василия и еще более Пьера. Столь молодому быть отягощенным таким огромным состоянием, — через сколько искушений надо будет пройти ему! Если б у меня спросили, чего я желаю более всего на свете, — я сказала бы: желаю быть беднее самого бедного из нищих. Благодарю вас тысячу раз, милый друг, за книгу, которую вы мне посылаете и которая делает столько шуму у вас. Впрочем, так как вы мне говорите, что в ней между многими хорошими вещами есть такие, которых не может постигнуть слабый ум человеческий, то мне кажется излишним заниматься непонятным чтением, которое по этому самому не

— Ah, vous expédiez le courrier, princesse, moi j'ai déjà expédié le mien. J'ai écris à ma pauvre mère [1], — заговорила быстро-приятным сочным голоском улыбающа-

могло бы принести никакой пользы. Я никогда не могла понять страсть, которую имеют некоторые особы: путать себе мысли, пристращаясь к мистическим книгам, которые возбуждают только сомнения в их умах, раздражают их воображение и дают им характер преувеличения, совершенно противный простоте христианской. Будем читать лучше апостолов и Евангелие. Не будем пытаться проникать то, что в этих книгах есть таинственного, ибо как можем мы, жалкие грешники, познать страшные и священные тайны провидения до тех пор, пока носим на себе ту плотскую оболочку, которая воздвигает между нами и вечным непроницаемую завесу? Ограничимся лучше изучением великих правил, которые наш божественный спаситель оставил нам для нашего руководства здесь, на земле; будем стараться следовать им и постараемся убедиться в том, что чем меньше мы будем давать разгула нашему уму, тем мы будем приятнее богу, который отвергает всякое знание, исходящее не от него, и что чем меньше мы углубляемся в то, что ему угодно было скрыть от нас, тем скорее даст он нам это открытие своим божественным разумом.

Отец мне ничего не говорил о женихе, но сказал только, что получил письмо и ждет посещения князя Василия; что касается до плана супружества относительно меня, я вам скажу, милый и бесценный друг, что брак, по-моему, есть божественное установление, которому нужно подчиняться. Как бы ни было тяжело для меня, но если всемогущему угодно будет наложить на меня обязанности супруги и матери, я буду стараться исполнять их так верно, как могу, не заботясь об изучении своих чувств в отношении того, кого он мне даст в супруги.

Я получила письмо от брата, который мне объявляет о своем приезде с женой в Лысые Горы. Радость эта будет непродолжительна, так как он оставляет нас для того, чтобы принять участие в этой войне, в которую мы втянуты бог знает как и зачем. Не только у вас, в центре дел и света, но и здесь, среди этих полевых работ и этой тишины, какую горожане обыкновенно представляют себе в деревне, отголоски войны слышны и дают себя тяжело чувствовать. Отец мой только и говорит, что о походах и переходах, в чем я ничего не понимаю, и третьего дня, делая мою обычную прогулку по улице деревни, я видела раздирающую душу сцену. Это была партия рекрут, набранных у нас и посылаемых в армию. Надо было видеть состояние, в котором находились матери, жены и дети тех, которые уходили, и слышать рыдания тех и других! Подумаешь, что человечество забыло законы своего божественного спасителя, учившего нас любви и прощению обид, и что оно полагает главное достоинство свое в искусстве убивать друг друга.

Прощайте, милый и добрый друг. Да сохранит вас наш божественный спаситель и его пресвятая матерь под своим святым и могущественным покровом.

Мари.

[1] А, вы отправляете письмо, я уж отправила свое. Я писала моей бедной матери.

яся m-lle Bourienne, картавя на *р* и внося с собой в сосредоточенную, грустную и пасмурную атмосферу княжны Марьи совсем другой, легкомысленно-веселый и самодовольный мир.

— Princesse, il faut que je vous prévienne, — прибавила она, понижая голос, — le prince a eu une altercation, — altercation, — сказала она, особенно грассируя и с удовольствием слушая себя, — une altercation avec Michel Ivanoff. Il est de très mauvaise humeur, très morose. Soyez prévenue, vous savez...[1]

— Ah! chère amie, — отвечала княжна Марья, — je vous ai priée de ne jamais me prévenir de l'humeur dans laquelle se trouve mon père. Je ne me permets pas de le juger, et je ne voudrais pas que les autres le fassent[2].

Княжна взглянула на часы и, заметив, что она уже пять минут пропустила то время, которое должна была употреблять для игры на клавикордах, с испуганным видом пошла в диванную. Между двенадцатью и двумя часами, сообразно с заведенным порядком дня, князь отдыхал, а княжна играла на клавикордах.

XXIII

Седой камердинер сидел, дремля и прислушиваясь к храпению князя в огромном кабинете. Из дальней стороны дома, из-за затворенных дверей слышались по двадцати раз повторяемые трудные пассажи Дюссековой сонаты.

В это время подъехала к крыльцу карета и бричка, и из кареты вышел князь Андрей, высадил свою маленькую жену и пропустил ее вперед. Седой Тихон, в парике, высунувшись из двери официантской, шепотом доложил, что князь почивают, и торопливо затворил дверь. Тихон знал, что ни приезд сына и никакие необыкновенные события не должны были нарушать порядка дня. Князь Андрей, видимо, знал это так же хорошо, как и Тихон; он посмотрел на часы, как будто для того, чтобы

---

[1] Княжна, я должна вас предуведомить — князь разбранил Михайла Иваныча. Он очень не в духе, такой угрюмый. Предупреждаю вас, знаете...

[2] Ах, милый друг мой! Я просила вас никогда не говорить мне о том, в каком расположении духа батюшка. Я не позволю себе судить его и не желала бы, чтоб и другие это делали.

поверить, не изменились ли привычки отца за то время, в которое он не видал его, и, убедившись, что они не изменились, обратился к жене.

— Через двадцать минут он встанет. Пройдем к княжне Марье, — сказал он.

Маленькая княгиня потолстела за это время, но глаза и короткая губка с усиками и улыбкой поднимались так же весело и мило, когда она заговорила.

— Mais c'est un palais, — сказала она мужу, оглядываясь кругом, с тем выражением, с каким говорят похвалы хозяину бала. — Allons, vite, vite!.. [1] — Она, оглядываясь, улыбалась и Тихону, и мужу, и официанту, провожавшему их.

— C'est Marie qui s'exerce? Allons doucement, il faut la surprendre [2].

Князь Андрей шел за ней с учтивым и грустным выражением.

— Ты постарел, Тихон, — сказал он, проходя, старику, целовавшему его руку.

Перед комнатою, в которой слышны были клавикорды, из боковой двери выскочила хорошенькая белокурая француженка. M-lle Bourienne казалась обезумевшею от восторга.

— Ah! quel bonheur pour la princesse, — заговорила она. — Enfin! Il faut que je la prévienne [3].

— Non, non, de grâce... Vous êtes mademoiselle Bourienne, je vous connais déjà par l'amitié que vous porte ma belle-sœur, — говорила княгиня, целуясь с нею. — Elle ne nous attend pas! [4]

Они подошли к двери диванной, из которой слышался опять и опять повторяемый пассаж. Князь Андрей остановился и поморщился, как будто ожидая чего-то неприятного.

Княгиня вошла. Пассаж оборвался на середине; послышался крик, тяжелые ступни княжны Марьи и звуки поцелуев. Когда князь Андрей вошел, княжна и княгиня,

---

[1] Да это дворец! — Ну, скорее, скорей!..

[2] Это Мари упражняется? Пойдем потихоньку, чтобы она не видала нас.

[3] Ах, какая радость для княжны! Наконец-то! Надо ее предупредить.

[4] Нет, нет, пожалуйста... Вы мамзель Бурьен; я уже знакома с вами по той дружбе, какую имеет к вам моя золовка. Она не ожидает нас!

только раз на короткое время видевшиеся во время свадьбы князя Андрея, обхватившись руками, крепко прижимались губами к тем местам, на которые попали в первую минуту. M-lle Bourienne стояла около них, прижав руки к сердцу и набожно улыбаясь, очевидно, столько же готовая заплакать, сколько и засмеяться. Князь Андрей пожал плечами и поморщился, как морщатся любители музыки, услышав фальшивую ноту. Обе женщины отпустили друг друга; потом опять, как будто боясь опоздать, схватили друг друга за руки, стали целовать и отрывать руки и потом опять стали целовать друг друга в лицо, и совершенно неожиданно для князя Андрея обе заплакали и опять стали целоваться. M-lle Bourienne тоже заплакала. Князю Андрею было, очевидно, неловко; но для двух женщин казалось так естественно, что они плакали; казалось, они и не предполагали, чтобы могло иначе совершиться это свидание.

— Ah! chère!.. Ah Marie!.. — вдруг заговорили обе женщины и засмеялись. — J'ai rêvé cette nuit... — Vous ne nous attendiez donc pas? . Ah! Marie, vous avez maigri... — Et vous avez repris... [1]

— J'ai tout de suite reconnu madame la princesse [2], — вставила m-lle Бурьен.

— Et moi qui ne me doutais pas!.. — восклицала княжна Марья. — Ah! André, je ne vous voyais pas [3].

Князь Андрей поцеловался с сестрою рука в руку и сказал ей, что она такая же pleurnicheuse [4], как всегда была. Княжна Марья повернулась к брату, и сквозь слезы любовный, теплый и кроткий взгляд ее прекрасных в ту минуту, больших лучистых глаз остановился на лице князя Андрея.

Княгиня говорила без умолку. Короткая верхняя губка с усиками то и дело на мгновение слетала вниз, притрагивалась, где нужно было, к румяной нижней губке, и вновь открывалась блестевшая зубами и глазами улыбка. Княгиня рассказывала случай, который был с ними на Спасской горе, грозивший ей опасностию в ее положении, и сейчас же после этого сообщила, что она все платья свои оставила в Петербурге и здесь будет ходить бог знает

---

[1] Ах, милая!.. Ах, Мари!.. — А я видела во сне. — Так вы нас не ожидали?.. Ах, Мари, вы так похудели. — А вы так пополнели...

[2] Я тотчас узнала княгиню.

[3] А я и не подозревала!.. Ах, Андрей, я и не видела тебя.

[4] плакса.

в чем, и что Андрей совсем переменился, и что Китти Одынцова вышла замуж за старика, и что есть жених для княжны Марьи pour tout de bon [1], но что об этом поговорим после. Княжна Марья все еще молча смотрела на брата, и в прекрасных глазах ее были и любовь и грусть. Видно было, что в ней установился теперь свой ход мысли, независимый от речей невестки. Она в середине ее рассказа о последнем празднике в Петербурге обратилась к брату.

— И ты решительно едешь на войну, André? — сказала она, вздохнув.

Lise вздохнула тоже.

— Даже завтра, — отвечал брат.

— Il m'abandonne ici, et dieu sait pourquoi, quand il aurait pu avoir de l'avancement... [2]

Княжна Марья не дослушала и, продолжая нить своих мыслей, обратилась к невестке, ласковыми глазами указывая на ее живот.

— Наверное? — сказала она.

Лицо княгини изменилось. Она вздохнула.

— Да, наверное, — сказала она. — Ах! Это очень страшно...

Губки Лизы опустились. Она приблизила свое лицо к лицу золовки и опять неожиданно заплакала.

— Ей надо отдохнуть, — сказал князь Андрей, морщась. — Не правда ли, Лиза? Сведи ее к себе, а я пойду к батюшке. Что он, все то же?

— То же, то же самое; не знаю, как на твои глаза, — отвечала радостно княжна.

— И те же часы, и по аллеям прогулки? Станок? — спрашивал князь Андрей с чуть заметною улыбкой, показывавшею, что, несмотря на всю свою любовь и уважение к отцу, он понимал его слабости.

— Те же часы и станок, еще математика и мои уроки геометрии, — радостно отвечала княжна Марья, как будто ее уроки из геометрии были одним из самых радостных впечатлений ее жизни.

Когда прошли те двадцать минут, которые нужны были для срока вставанья старого князя, Тихон пришел звать молодого князя к отцу. Старик сделал исключение

---

[1] настоящий.

[2] Он покидает меня здесь, и бог знает зачем, тогда как он мог бы получить повышение...

в своем образе жизни в честь приезда сына: он велел впустить его в свою половину во время одеванья перед обедом. Князь ходил по-старинному, в кафтане и пудре. И в то время как князь Андрей (не с тем брюзгливым выражением лица и манерами, которые он напускал на себя в гостиных, а с тем оживленным лицом, которое у него было, когда он разговаривал с Пьером) входил к отцу, старик сидел в уборной на широком, сафьяном обитом кресле, в пудроманте, предоставляя свою голову рукам Тихона.

— А! Воин! Бонапарта завоевать хочешь? — сказал старик и тряхнул напудренною головой, сколько позволяла это заплетаемая коса, находившаяся в руках Тихона. — Примись хоть ты за него хорошенько, а то он этак скоро и нас своими подданными запишет. Здорóво! — И он выставил свою щеку.

Старик находился в хорошем расположении духа после дообеденного сна. (Он говорил, что после обеда серебряный сон, а до обеда золотой.) Он радостно из-под своих густых нависших бровей косился на сына. Князь Андрей подошел и поцеловал отца в указанное им место. Он не отвечал на любимую тему разговора отца — подтруниванье над теперешними военными людьми, а особенно над Бонапартом.

— Да, приехал к вам, батюшка, и с беременною женой, — сказал князь Андрей, следя оживленными и почтительными глазами за движением каждой черты отцовского лица. — Как здоровье ваше?

— Нездоровы, брат, бывают только дураки да развратники, а ты меня знаешь: с утра до вечера занят, воздержан, ну и здоров.

— Слава богу,— сказал сын, улыбаясь.

— Бог тут ни при чем. Ну, рассказывай, — продолжал он, возвращаясь к своему любимому коньку, — как вас немцы с Бонапартом сражаться по вашей новой науке, стратегией называемой, научили.

Князь Андрей улыбнулся.

— Дайте опомниться, батюшка, — сказал он с улыбкою, показывавшею, что слабости отца не мешают ему уважать и любить его. — Ведь я еще и не разместился.

— Врешь, врешь, — закричал старик, встряхивая косичкою, чтобы попробовать, крепко ли она была заплетена, и хватая сына за руку. — Дом для твоей жены готов. Княжна Марья сведет ее и покажет и с три короба

наболтает. Это их бабье дело. Я ей рад. Сиди, рассказывай. Михельсона армию я понимаю, Толстого тоже... высадка единовременная... Южная армия что будет делать? Пруссия, нейтралитет... это я знаю. Австрия что? — говорил он, встав с кресла и ходя по комнате с бегавшим и подававшим части одежды Тихоном. — Швеция что? Как Померанию перейдут?

Князь Андрей, видя настоятельность требования отца, сначала неохотно, но потом все более и более оживляясь и невольно посреди рассказа, по привычке, перейдя с русского на французский язык, начал излагать операционный план предполагаемой кампании. Он рассказал, как девяностотысячная армия должна была угрожать Пруссии, чтобы вывести ее из нейтралитета и втянуть в войну, как часть этих войск должна была в Штральзунде соединиться с шведскими войсками, как двести двадцать тысяч австрийцев, в соединении со ста тысячами русских, должны были действовать в Италии и на Рейне, и как пятьдесят тысяч русских и пятьдесят тысяч англичан высадятся в Неаполе, и как в итоге пятисоттысячная армия должна была с разных сторон сделать нападение на французов. Старый князь не выказал ни малейшего интереса при рассказе, как будто не слушал, и, продолжая на ходу одеваться, три раза неожиданно перервал его. Один раз он остановил его и закричал:

— Белый! белый!

Это значило, что Тихон подавал ему не тот жилет, который он хотел. Другой раз он остановился, спросил:

— И скоро она родит? — и, с упреком покачав головой, сказал: — Нехорошо! Продолжай, продолжай.

В третий раз, когда князь Андрей оканчивал описание, старик запел фальшивым и старческим голосом: «Marlbroug s'en va-t-en guerre. Dieu sait quand reviendra» [1].

Сын только улыбнулся.

— Я не говорю, чтоб это был план, который я одобряю, — сказал сын, — я вам только рассказал, что есть. Наполеон уже составил свой план не хуже этого.

— Ну, новенького ты мне ничего не сказал. — И старик задумчиво проговорил про себя скороговоркой: «Dieu sait quand reviendra». — Иди в столовую.

---

[1] «Мальбрук в поход поехал, бог весть когда вернется».

XXIV

В назначенный час, напудренный и выбритый, князь вышел в столовую, где ожидала его невестка, княжна Марья, m-lle Бурьен и архитектор князя, по странной прихоти его допускаемый к столу, хотя по своему положению незначительный человек этот никак не мог рассчитывать на такую честь. Князь, твердо державшийся в жизни различия состояний и редко допускавший к столу даже важных губернских чиновников, вдруг на архитекторе Михайле Ивановиче, сморкавшемся в углу в клетчатый платок, доказывал, что все люди равны, и не раз внушал своей дочери, что Михайла Иванович ничем не хуже нас с тобой. За столом князь чаще всего обращался к бессловесному Михайле Ивановичу.

В столовой, громадно-высокой, как и все комнаты в доме, ожидали выхода князя домашние и официанты, стоявшие за каждым стулом; дворецкий, с салфеткой на руке, оглядывал сервировку, мигая лакеям и постоянно перебегая беспокойным взглядом от стеных часов к двери, из которой должен был появиться князь. Князь Андрей глядел на огромную, новую для него, золотую раму с изображением генеалогического дерева князей Болконских, висевшую напротив такой же громадной рамы с дурно сделанным (видимо, рукою домашнего живописца) изображением владетельного князя в короне, который должен был происходить от Рюрика и быть родоначальником рода Болконских. Князь Андрей смотрел на это генеалогическое дерево, покачивая головой, и посмеивался с тем видом, с каким смотрят на похожий до смешного портрет.

— Как я узнаю его всего тут! — сказал он княжне Марье, подошедшей к нему.

Княжна Марья с удивлением посмотрела на брата. Она не понимала, чему он улыбался. Все, сделанное ее отцом, возбуждало в ней благоговение, которое не подлежало обсуждению.

— У каждого своя ахиллесова пятка, — продолжал князь Андрей. — С *его* огромным умом donner dans ce ridicule! [1]

Княжна Марья не могла понять смелости суждений своего брата и готовилась возражать ему, как послышались из кабинета ожидаемые шаги: князь входил быстро,

---

[1] поддаваться этой мелочности!

весело, как он и всегда ходил, как будто умышленно своими торопливыми манерами представляя противоположность строгому порядку дома. В то же мгновение большие часы пробили два, и тонким голоском отозвались в гостиной другие. Князь остановился; из-под висячих густых бровей оживленные, блестящие, строгие глаза оглядели всех и остановились на молодой княгине. Молодая княгиня испытывала в то время то чувство, какое испытывают придворные на царском выходе, то чувство страха и почтения, которое возбуждал этот старик во всех приближенных. Он погладил княгиню по голове и потом неловким движением потрепал ее по затылку.

— Я рад, я рад, — проговорил он и, пристально еще взглянув ей в глаза, быстро отошел и сел на свое место. — Садитесь, садитесь! Махаил Иванович, садитесь.

Он указал невестке место подле себя. Официант отодвинул для нее стул.

— Го, го! — сказал старик, оглядывая ее округленную талию. — Поторопилась, нехорошо!

Он засмеялся сухо, холодно, неприятно, как он всегда смеялся — одним ртом, а не глазами.

— Ходить надо, ходить, как можно больше, как можно больше, — сказал он.

Маленькая княгиня не слыхала или не хотела слышать его слов. Она молчала и казалась смущенною. Князь спросил ее об отце, и княгиня заговорила и улыбнулась. Он спросил ее об общих знакомых: княгиня еще более оживилась и стала рассказывать, передавая князю поклоны и городские сплетни.

— La comtesse Apraksine, la pauvre, a perdu son mari, et elle a pleuré les larmes de ses yeux[1], — говорила она, все более и более оживляясь.

По мере того как она оживлялась, князь все строже и строже смотрел на нее и вдруг, как будто достаточно изучив ее и составив себе ясное о ней понятие, отвернулся от нее и обратился к Михайлу Ивановичу.

— Ну что, Михайла Иванович, Буонапарте-то нашему плохо приходится. Как мне князь Андрей (он всегда так называл сына в третьем лице) порассказал, какие на него силы собираются! А мы с вами все его пустым человеком считали.

---

[1] Бедная графиня Апраксина потеряла мужа. Глаза выплакала, бедняжка.

Михаил Иванович, решительно не знавший, когда это мы с вами говорили такие слова о Бонапарте, но понимавший, что он был нужен для вступления в любимый разговор, удивленно взглянул на молодого князя, сам не зная, что из этого выйдет.

— Он у меня тактик великий! — сказал князь сыну, указывая на архитектора.

И разговор зашел опять о войне, о Бонапарте и нынешних генералах и государственных людях. Старый князь, казалось, был убежден не только в том, что все теперешние деятели были мальчишки, не смыслившие и азбуки военного и государственного дела, и что Бонапарте был ничтожный французишка, имевший успех только потому, что уже не было Потемкиных и Суворовых противопоставить ему; но он был убежден даже, что никаких политических затруднений не было в Европе, не было и войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело. Князь Андрей весело выдерживал насмешки отца над новыми людьми и с видимою радостью вызывал отца на разговор и слушал его.

— Все кажется хорошим, что было прежде, — сказал он, — а разве тот же Суворов не попался в ловушку, которую ему поставил Моро, и не умел из нее выпутаться?

— Это кто тебе сказал? Кто сказал? — крикнул князь. — Суворов! — И он отбросил тарелку, которую живо подхватил Тихон. — Суворов!.. Подумавши, князь Андрей. Два: Фридрих и Суворов... Моро! Моро был бы в плену, коли бы у Суворова руки свободны были; а у него на руках сидели хофс-кригс-вурст-шнапс-рат. Ему черт не рад. Вот пойдете, эти хофс-кригс-вурст-раты узнаете! Суворов с ними не сладил, так уж где ж Михайле Кутузову сладить?! Нет, дружок, — продолжал он, — вам с своими генералами против Бонапарте не обойтись; надо французов взять, чтобы своя своих не познаша и своя своих побиваша. Немца Палена в Новый-Йорк, в Америку, за французом Моро послали, — сказал он, намекая на приглашение, которое в этом году было сделано Моро вступить в русскую службу. — Чудеса!! Что, Потемкины, Суворовы, Орловы разве немцы были? Нет, брат, либо там вы все с ума сошли, либо я из ума выжил. Дай вам бог, а мы посмотрим. Бонапарте у них стал полководец великий! Гм!..

— Я ничего не говорю, чтобы все распоряжения были хороши, — сказал князь Андрей, — только я не могу понять, как вы можете так судить о Бонапарте. Смейтесь как хотите, а Бонапарте все-таки великий полководец!

— Михайла Иванович! — закричал старый князь архитектору, который, занявшись жарким, надеялся, что про него забыли. — Я вам говорил, что Бонапарте великий тактик? Вон и он говорит.

— Как же, ваше сиятельство, — отвечал архитектор.

Князь опять засмеялся своим холодным смехом.

— Бонапарте в рубашке родился. Солдаты у него прекрасные. Да и на первых он на немцев напал. А немцев только ленивый не бил. С тех пор как мир стоит, немцев все били. А они никого. Только друг друга. Он на них свою славу сделал.

И князь начал разбирать все ошибки, которые, по его понятиям, делал Бонапарте во всех своих войнах и даже в государственных делах. Сын не возражал, но видно было, что, какие бы доводы ему ни представляли, он так же мало способен был изменить свое мнение, как и старый князь. Князь Андрей слушал, удерживаясь от возражений и невольно удивляясь, как мог этот старый человек, сидя столько лет один безвыездно в деревне, в таких подробностях и с такою тонкостью знать и обсуживать все военные и политические обстоятельства Европы последних годов.

— Ты думаешь, я, старик, не понимаю настоящего положения дел? — заключил он. — А мне оно вот где! Я ночи не сплю. Ну, где же этот великий полководец твой-то, где он показал себя?

— Это длинно было бы, — отвечал сын.

— Ступай же ты к Буонапарте своему. M-lle Bourienne, voilà encore un admirateur de votre goujat d'empereur! [1] — закричал он отличным французским языком.

— Vous savez, que je ne suis pas bonapartiste, mon prince [2].

— «Dieu sait quand reviendra...» [3] — пропел князь фальшиво, еще фальшивее засмеялся и вышел из-за стола.

Маленькая княгиня во все время спора и остального обеда молчала и испуганно поглядывала то на княжну

[1] Мамзель Бурьен, вот еще поклонник вашего холопского императора!

[2] Вы знаете, князь, что я не бонапартистка.

[3] «Бог весть когда вернется...»

Марью, то на свекра. Когда они вышли из-за стола, она взяла за руку золовку и отозвала ее в другую комнату.

— Comme c'est un homme d'esprit votre père, — сказала она, — c'est à cause de cela peut-être qu'il me fait peur [1].

— Ах, он так добр! — сказала княжна.

XXV

Князь Андрей уезжал на другой день вечером. Старый князь, не отступая от своего порядка, после обеда ушел к себе. Маленькая княгиня была у золовки. Князь Андрей, одевшись в дорожный сюртук без эполет, в отведенных ему покоях укладывался с своим камердинером. Сам осмотрев коляску и укладку чемоданов, он велел закладывать. В комнате оставались только те вещи, которые князь Андрей всегда брал с собой: шкатулка, большой серебряный погребец, два турецких пистолета и шашка — подарок отца, привезенный из-под Очакова. Все эти дорожные принадлежности были в большом порядке у князя Андрея: все было ново, чисто, в суконных чехлах, старательно завязано тесемочками.

В минуты отъезда и перемены жизни на людей, способных обдумывать свои поступки, обыкновенно находит серьезное настроение мыслей. В эти минуты обыкновенно поверяется прошедшее и делаются планы будущего. Лицо князя Андрея было очень задумчиво и нежно. Он, заложив руки назад, быстро ходил по комнате из угла в угол, глядя вперед себя, и задумчиво покачивал головой. Страшно ли ему было идти на войну, грустно ли бросить жену, — может быть, и то и другое, только, видимо, не желая, чтоб его видели в таком положении, услыхав шаги в сенях, он торопливо высвободил руки, остановился у стола, как будто увязывал чехол шкатулки, и принял свое всегдашнее спокойное и непроницаемое выражение. Это были тяжелые шаги княжны Марьи.

— Мне сказали, что ты велел закладывать, — сказала она, запыхавшись (она, видно, бежала), — а мне так хотелось еще поговорить с тобой наедине. Бог знает, на сколько времени опять расстаемся. Ты не сердишься, что

---

[1] Какой умный человек ваш батюшка. Может быть, от этого-то я и боюсь его.

я пришла? Ты очень переменился, Андрюша, — прибавила она как бы в объяснение такого вопроса.

Она улыбнулась, произнося слово «Андрюша». Видно, ей самой было странно подумать, что этот строгий, красивый мужчина был тот самый Андрюша, худой, шаловливый мальчик, товарищ детства.

— А где Lise? — спросил он, только улыбкой отвечая на ее вопрос.

— Она так устала, что заснула у меня в комнате на диване. Ах, André! Quel trésor de femme vous avez[1], — сказала она, усаживаясь на диван против брата. — Она совершенный ребенок, такой милый, веселый ребенок. Я так ее полюбила.

Князь Андрей молчал, но княжна заметила ироническое и презрительное выражение, появившееся на его лице.

— Но надо быть снисходительным к маленьким слабостям; у кого их нет, André! Ты не забудь, что она воспитана и выросла в свете. И потом ее положение теперь не розовое. Надобно входить в положение каждого. Tout comprendre, c'est tout pardonner[2]. Ты подумай, каково ей, бедняжке, после жизни, к которой она привыкла, расстаться с мужем и остаться одной в деревне и в ее положении? Это очень тяжело.

Князь Андрей улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых, нам кажется, что мы насквозь видим.

— Ты живешь в деревне и не находишь эту жизнь ужасною, — сказал он.

— Я другое дело. Что обо мне говорить! Я не желаю другой жизни, да и не могу желать, потому что не знаю никакой другой жизни. А ты подумай, André, для молодой и светской женщины похорониться в лучшие годы жизни в деревне, одной, потому что папенька всегда занят, а я... ты меня знаешь... как я бедна en ressources[3], для женщины, привыкшей к лучшему обществу. Mademoiselle Bourienne одна...

— Она мне очень не нравится, ваша Bourienne, — сказал князь Андрей.

— О нет! Она очень милая и добрая, а главное — жалкая девушка. У нее никого, никого нет. По правде

---

[1] Ах, Андрей! Какое сокровище твоя жена.
[2] Кто все поймет, тот все и простит.
[3] не весела.

сказать, мне она не только не нужна, но стеснительна. Я, ты знаешь, и всегда была дикарка, а теперь еще больше! Я люблю быть одна... Mon père[1] ее очень любит. Она и Михаил Иваныч — два лица, к которым он всегда ласков и добр, потому что они оба облагодетельствованы им; как говорит Стерн: «Мы не столько любим людей за то добро, которое они нам сделали, сколько за то добро, которое мы им сделали». Mon père взял ее сиротой sur le pavé[2], и она очень добрая. И mon père любит ее манеру чтения. Она по вечерам читает ему вслух. Она прекрасно читает.

— Ну, а по правде, Marie, тебе, я думаю, тяжело иногда бывает от характера отца? — вдруг спросил князь Андрей.

Княжна Марья сначала удивилась, потом испугалась этого вопроса.

— Мне?.. Мне?! Мне тяжело?! — сказала она.

— Он и всегда был крут, а теперь тяжел становится, я думаю, — сказал князь Андрей, видимо, нарочно, чтоб озадачить или испытать сестру, так легко отзываясь об отце.

— Ты всем хорош, André, но у тебя есть какая-то гордость мысли, — сказала княжна, больше следуя за своим ходом мыслей, чем за ходом разговора, — и это большой грех. Разве возможно судить об отце? Да ежели бы и возможно было, какое другое чувство, кроме vénération[3], может возбудить такой человек, как mon père? И я так довольна и счастлива с ним! Я только желала бы, чтобы вы все были счастливы, как я.

Брат недоверчиво покачал головой.

— Одно, что тяжело для меня, — я тебе по правде скажу, André, — это образ мыслей отца в религиозном отношении. Я не понимаю, как человек с таким огромным умом не может видеть того, что ясно, как день, и может так заблуждаться? Вот это составляет одно мое несчастие. Но и тут в последнее время я вижу тень улучшения. В последнее время его насмешки не так язвительны, и есть один монах, которого он принимал и долго говорил с ним.

— Ну, мой друг, я боюсь, что вы с монахом даром растрачиваете свой порох, — насмешливо, но ласково сказал князь Андрей.

---

[1] Батюшка.
[2] на улице.
[3] обожания.

— Ah, mon ami[1]. Я только молюсь богу и надеюсь, что он услышит меня. André, — сказала она робко после минуты молчания, — у меня к тебе есть большая просьба.

— Что, мой друг?

— Нет, обещай мне, что ты не откажешь. Это тебе не будет стоить никакого труда, и ничего недостойного тебя в этом не будет. Только ты меня утешишь. Обещай, Андрюша, — сказала она, сунув руку в ридикюль и в нем держа что-то, но еще не показывая, как будто то, что она держала, и составляло предмет просьбы и будто прежде получения обещания в исполнении просьбы она не могла вынуть из ридикюля это *что-то*.

Она робко, умоляющим взглядом смотрела на брата.

— Ежели бы это и стоило мне большого труда... — как будто догадываясь, в чем было дело, отвечал князь Андрей.

— Ты что хочешь думай! Я знаю, ты такой же, как и mon père. Что хочешь думай, но для меня это сделай. Сделай, пожалуйста! Его еще отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах... — Она все еще не доставала того, что держала, из ридикюля. — Так ты обещаешь мне?

— Конечно, в чем дело?

— André, я тебя благословлю образом, и ты обещай мне, что никогда его не будешь снимать... Обещаешь?

— Ежели он не в два пуда и шеи не оттянет... Чтобы тебе сделать удовольствие... — сказал князь Андрей, но в ту же секунду, заметив огорченное выражение, которое приняло лицо сестры при этой шутке, он раскаялся. — Очень рад, право, очень рад, мой друг, — прибавил он.

— Против твоей воли он спасет и помилует тебя и обратит тебя к себе, потому что в нем одном и истина и успокоение, — сказала она дрожащим от волнения голосом, с торжественным жестом держа в обеих руках перед братом овальный старинный образок спасителя с черным ликом, в серебряной ризе, на серебряной цепочке мелкой работы.

Она перекрестилась, поцеловала образок и подала его Андрею.

— Пожалуйста, André, для меня...

Из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света. Глаза эти освещали все болезненное, худое лицо и делали его прекрасным. Брат хотел взять образок, но она

---

[1] Ах, мой друг.

остановила его. Андрей понял, перекрестился и поцеловал образок. Лицо его в одно и то же время было нежно (он был тронут) и насмешливо.

— Merci, mon ami [1].

Она поцеловала его в лоб и опять села на диван. Они молчали.

— Так я тебе говорила, André, будь добр и великодушен, каким ты всегда был. Не суди строго Lise, — начала она. — Она так мила, так добра, и положение ее очень тяжело теперь.

— Кажется, я ничего не говорил тебе, Маша, чтоб я упрекал в чем-нибудь свою жену или был недоволен ею. К чему ты все это говоришь мне?

Княжна Марья покраснела пятнами и замолчала, как будто она чувствовала себя виноватою.

— Я ничего не говорил тебе, а тебе уж *говорили*. И мне это грустно.

Красные пятна еще сильнее выступили на лбу, шее и щеках княжны Марьи. Она хотела сказать что-то и не могла выговорить. Брат угадал: маленькая княгиня после обеда плакала, говорила, что предчувствует несчастные роды, боится их, и жаловалась на свою судьбу, на свекра и на мужа. После слез она заснула. Князю Андрею жалко стало сестру.

— Знай одно, Маша, я ни в чем не могу упрекнуть, не упрекал и никогда не упрекну *мою жену*, и сам ни в чем себя не могу упрекнуть в отношении к ней; и это всегда так будет, в каких бы я ни был обстоятельствах. Но ежели ты хочешь знать правду... хочешь знать, счастлив ли я? Нет. Счастлива ли она? Нет. Отчего это? Не знаю...

Говоря это, он встал, подошел к сестре и, нагнувшись, поцеловал ее в лоб. Прекрасные глаза его светились умным и добрым, непривычным блеском, но он смотрел не на сестру, а в темноту отворенной двери, через ее голову.

— Пойдем к ней, надо проститься! Или иди одна, разбуди ее, а я сейчас приду. Петрушка! — крикнул он камердинеру. — Поди сюда, убирай. Это в сиденье, это на правую сторону.

Княжна Марья встала и направилась к двери. Она остановилась.

---

[1] Благодарю тебя, мой друг.

— André, si vous avez la foi, vous vous seriez adressé à dieu, pour qu'il vous donne l'amour que vous ne sentez pas, et votre prière aurait été exaucée [1].

— Да — разве это! — сказал князь Андрей. — Иди, Маша, я сейчас приду.

По дороге к комнате сестры, в галерее, соединявшей один дом с другим, князь Андрей встретил мило улыбавшуюся m-lle Bourienne, уже в третий раз в этот день с восторженною и наивною улыбкой попадавшуюся ему в уединенных переходах.

— Ah! je vous croyais chez vous [2], — сказала она, почему-то краснея и опуская глаза.

Князь Андрей строго посмотрел на нее. На лице князя Андрея вдруг выразилось озлобление. Он ничего не сказал ей, но посмотрел на ее лоб и волосы, не глядя в глаза, так презрительно, что француженка покраснела и ушла, ничего не сказав. Когда он подошел к комнате сестры, княгиня уже проснулась, и ее веселый голосок, торопивший одно слово за другим, послышался из отворенной двери. Она говорила, как будто после долгого воздержания ей хотелось вознаградить потерянное время.

— Non, mais figurez-vous, la vieille comtesse Zouboff avec de fausses boucles et la bouche pleine de fausses dents, comme si elle voulait défier les années... [3] Ха, ха, ха, Marie!

Точно ту же фразу о графине Зубовой и тот же смех уже раз пять слышал при посторонних князь Андрей от своей жены. Он тихо вошел в комнату. Княгиня, толстенькая, румяная, с работой в руках, сидела на кресле и без умолку говорила, перебирая петербургские воспоминания и даже фразы. Князь Андрей подошел, погладил ее по голове и спросил, отдохнула ли она от дороги. Она ответила и продолжала тот же разговор.

Коляска шестериком стояла у подъезда. На дворе была темная осенняя ночь. Кучер не видел дышла коляски. На крыльце суетились люди с фонарями. Огромный дом горел огнями сквозь свои большие окна. В передней толпились дворовые, желавшие проститься с мо-

---

[1] Андрей, если бы ты имел веру, то обратился бы к богу с молитвою, чтоб он даровал тебе любовь, которую ты не чувствуешь, и молитва твоя была бы услышана.

[2] Ах, я думала, вы у себя.

[3] Нет, представьте себе, старая графиня Зубова, с фальшивыми локонами, с фальшивыми зубами, как будто издеваясь над годами...

лодым князем; в зале стояли все домашние: Михаил Иванович, m-lle Bourienne, княжна Марья и княгиня. Князь Андрей был позван в кабинет к отцу, который с глазу на глаз хотел проститься с ним. Все ждали их выхода.

Когда князь Андрей вошел в кабинет, старый князь, в стариковских очках и в своем белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал. Он оглянулся.

— Едешь? — И он опять стал писать.

— Пришел проститься.

— Целуй сюда, — он показал щеку, — спасибо, спасибо!

— За что вы меня благодарите?

— За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо! — И он продолжал писать, так что брызги летели с трещавшего пера. — Ежели нужно сказать что, говори. Эти два дела могу делать вместе, — прибавил он.

— О жене... Мне и так совестно, что я вам ее на руки оставляю...

— Что врешь? Говори, что нужно.

— Когда жене будет время родить, пошлите в Москву за акушером... Чтоб он тут был.

Старый князь остановился и, как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына.

— Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет, — говорил князь Андрей, видимо смущенный. — Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится.

— Гм... гм... — проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать. — Сделаю.

Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся.

— Плохо дело, а?

— Что плохо, батюшка?

— Жена! — коротко и значительно сказал старый князь.

— Я не понимаю, — сказал князь Андрей.

— Да нечего делать, дружок, — сказал князь, — они все такие, не разженишься. Ты не бойся; никому не скажу; а ты сам знаешь.

Он схватил его за руку своею костлявою маленькою кистью, потряс ее, взглянул прямо в лицо сына своими

быстрыми глазами, которые, как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим холодным смехом.

Сын вздохнул, признаваясь этим вздохом в том, что отец понял его. Старик, продолжая складывать и печатать письма с своею привычною быстротой, схватывал и бросал сургуч, печать и бумагу.

— Что делать? Красива! Я все сделаю. Ты будь покоен, — говорил он отрывисто во время печатания.

Андрей молчал: ему и приятно и неприятно было, что отец понял его. Старик встал и подал письмо сыну.

— Слушай, — сказал он, — о жене не заботься: что возможно сделать, то будет сделано. Теперь слушай: письмо Михайлу Илларионовичу отдай. Я пишу, чтоб он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал: скверная должность! Скажи ты ему, что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреевича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сюда.

Он говорил такою скороговоркой, что не доканчивал половины слов, но сын привык понимать его. Он подвел сына к бюро, откинул крышку, выдвинул ящик и вынул исписанную его крупным, длинным и сжатым почерком тетрадь.

— Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки, их государю передать после моей смерти. Теперь здесь вот ломбардный билет и письмо: это премия тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки, после меня читай для себя, найдешь пользу.

Андрей не сказал отцу, что, верно, он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно.

— Все исполню, батюшка, — сказал он.

— Ну, теперь прощай! — Он дал поцеловать сыну свою руку и обнял его. — Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет... — Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: — А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет... стыдно! — взвизгнул он.

— Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка, — улыбаясь, сказал сын.

Старик замолчал.

— Еще я хотел просить вас, — продолжал князь Андрей, — ежели меня убьют и ежели у меня будет сын, не

отпускайте его от себя, как я вам вчера говорил, чтоб он вырос у вас... пожалуйста.

— Жене не отдавать? — сказал старик и засмеялся.

Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына. Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя.

— Простились... ступай! — вдруг сказал он. — Ступай! — закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета.

— Что такое, что? — спрашивали княгиня и княжна, увидев князя Андрея и на минуту высунувшуюся фигуру кричавшего сердитым голосом старика в белом халате, без парика и в стариковских очках.

Князь Андрей вздохнул и ничего не ответил.

— Ну, — сказал он, обратившись к жене, и это «ну» звучало холодною насмешкой, как будто он говорил: «Теперь проделывайте вы ваши штуки».

— André, déjà? [1] — сказала маленькая княгиня, бледнея и со страхом глядя на мужа.

Он обнял ее. Она вскрикнула и без чувств упала на его плечо.

Он осторожно отвел плечо, на котором она лежала, заглянул в ее лицо и бережно посадил ее на кресло.

— Adieu, Marie [2], — сказал он тихо сестре, поцеловался с нею рука в руку и скорыми шагами вышел из комнаты.

Княгиня лежала в кресле, m-lle Бурьен терла ей виски. Княжна Марья, поддерживая невестку, с заплаканными прекрасными глазами, все еще смотрела в дверь, в которую вышел князь Андрей, и крестила его. Из кабинета слышны были, как выстрелы, часто повторяемые сердитые звуки стариковского сморкания. Только что князь Андрей вышел, дверь кабинета быстро отворилась, и выглянула строгая фигура старика в белом халате.

— Уехал? Ну и хорошо! — сказал он, сердито посмотрев на бесчувственную маленькую княгиню, укоризненно покачал головою и захлопнул дверь.

---

[1] Андрей, что, уже?
[2] Прощай, Маша.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В октябре 1805 года русские войска занимали села и города эрцгерцогства Австрийского, и еще новые полки приходили из России и, отягощая постоем жителей, располагались у крепости Браунау. В Браунау была главная квартира главнокомандующего Кутузова.

11-го октября 1805 года один из только что пришедших к Браунау пехотных полков, ожидая смотра главнокомандующего, стоял в полумиле от города. Несмотря на нерусскую местность и обстановку: фруктовые сады, каменные ограды, черепичные крыши, горы, видневшиеся вдали, — на нерусский народ, с любопытством смотревший на солдат, — полк имел точно такой же вид, какой имел всякий русский полк, готовившийся к смотру где-нибудь в середине России.

С вечера, на последнем переходе, был получен приказ, что главнокомандующий будет смотреть полк на походе. Хотя слова приказа и показались неясны полковому командиру и возник вопрос, как разуметь слова приказа: в походной форме или нет? — в совете батальонных командиров было решено представить полк в парадной форме на том основании, что всегда лучше перекланяться, чем недокланяться. И солдаты, после тридцативерстного перехода, не смыкали глаз, всю ночь чинились, чистились; адъютанты и ротные рассчитывали, отчисляли; и к утру полк, вместо растянутой беспорядочной толпы, какою он был накануне на последнем переходе, представлял стройную массу двух тысяч людей, из которых каждый знал свое место, свое дело, из которых на каждом каждая пуговка и ремешок были на своем месте и блестели чистотой. Не только наружное было исправно, но ежели бы угодно было главнокомандующему заглянуть под мундиры, то на каждом он увидел бы одинаково чистую рубаху и в каждом ранце нашел бы узаконенное число

вещей, «шильце и мыльце», как говорят солдаты. Было только одно обстоятельство, насчет которого никто не мог быть спокоен. Это была обувь. Больше чем у половины людей сапоги были разбиты. Но недостаток этот происходил не от вины полкового командира, так как, несмотря на неоднократные требования, ему не был отпущен товар от австрийского ведомства, а полк прошел тысячу верст.

Полковой командир был пожилой, сангвинический, с седеющими бровями и бакенбардами генерал, плотный и широкий больше от груди к спине, чем от одного плеча к другому. На нем был новый, с иголочки, со слежавшимися складками, мундир и густые золотые эполеты, которые как будто не книзу, а кверху поднимали его тучные плечи. Полковой командир имел вид человека, счастливо совершающего одно из самых торжественных дел жизни. Он похаживал перед фронтом и, похаживая, подрагивал на каждом шагу, слегка изгибаясь спиною. Видно было, что полковой командир любуется своим полком, счастлив им и что все его силы душевные заняты только полком; но, несмотря на то, его подрагивающая походка как будто говорила, что, кроме военных интересов, в душе его немалое место занимают и интересы общественного быта и женский пол.

— Ну, батюшка Михайло Митрич, — обратился он к одному батальонному командиру (батальонный командир, улыбаясь, подался вперед; видно было, что они были счастливы), — досталось на орехи нынче ночью. Однако, кажется, ничего, полк не из дурных... А?

Батальонный командир понял веселую иронию и засмеялся.

— И на Царицыном Лугу с поля бы не прогнали.

— Что? — сказал командир.

В это время по дороге из города, по которой были расставлены махальные, показались два верховые. Это были адъютант и казак, ехавший сзади.

Адъютант был прислан из главного штаба подтвердить полковому командиру то, что было сказано неясно во вчерашнем приказе, а именно то, что главнокомандующий желал видеть полк совершенно в том положении, в котором он шел — в шинелях, в чехлах и без всяких приготовлений.

К Кутузову накануне прибыл член гофкригсрата из Вены, с предложениями и требованиями идти как мож-

по скорее на соединение с армией эрцгерцога Фердинанда и Мака, и Кутузов, не считавший выгодным это соединение, в числе прочих доказательств в пользу своего мнения намеревался показать австрийскому генералу то печальное положение, в котором приходили войска из России. С этой целью он и хотел выехать навстречу полку, так что, чем хуже было бы положение полка, тем приятнее было бы это главнокомандующему. Хотя адъютант и не знал этих подробностей, однако он передал полковому командиру непременное требование главнокомандующего, чтобы люди были в шинелях и чехлах, и что в противном случае главнокомандующий будет недоволен.

Выслушав эти слова, полковой командир опустил голову, молча вздернул плечами и сангвиническим жестом развел руки.

— Наделали дела! — проговорил он. — Вот я вам говорил же, Михайло Митрич, что на походе, так в шинелях, — обратился он с упреком к батальонному командиру. — Ах, мой бог! — прибавил он и решительно выступил вперед. — Господа ротные командиры! — крикнул он голосом, привычным к команде. — Фельдфебелей!.. Скоро ли пожалуют? — обратился он к приехавшему адъютанту с выражением почтительной учтивости, видимо, относившейся к лицу, про которое он говорил.

— Через час, я думаю.

— Успеем переодеть?

— Не знаю, генерал...

Полковой командир, сам подойдя к рядам, распорядился переодеванием опять в шинели. Ротные командиры разбежались по ротам, фельдфебели засуетились (шинели были не совсем исправны), и в то же мгновение заколыхались, растянулись и говором загудели прежде правильные, молчаливые четвероугольники. Со всех сторон отбегали и подбегали солдаты, подкидывали сзади плечом, через голову перетаскивали ранцы, снимали шинели и, высоко поднимая руки, втягивали их в рукава.

Через полчаса все опять пришло в прежний порядок, только четвероугольники сделались серыми из черных. Полковой командир опять подрагивающею походкой вышел вперед полка и издалека оглядел его.

— Это что еще? это что? — прокричал он, останавливаясь. — Командира третьей роты!..

— Командир третьей роты к генералу! командира к генералу, третьей роты к командиру!.. — послышались голоса по рядам, и адъютант побежал отыскивать замешкавшегося офицера.

Когда звуки усердных голосов, перевирая, крича уже «генерала в третью роту», дошли по назначению, требуемый офицер показался из-за роты и, хотя человек уже пожилой и не имевший привычки бегать, неловко цепляясь носками, рысью направился к генералу. Лицо капитана выражало беспокойство школьника, которому велят сказать не выученный им урок. На красном (очевидно, от невоздержания) лице выступали пятна, и рот не находил положения. Полковой командир с ног до головы осматривал капитана, в то время как он, запыхавшись, подходил, по мере приближения сдерживая шаг.

— Вы скоро людей в сарафаны нарядите? Это что? — крикнул полковой командир, выдвигая нижнюю челюсть и указывая в рядах 3-й роты на солдата в шинели цвета фабричного сукна, отличавшегося от других шинелей. — Сами где находились? Ожидается главнокомандующий, а вы отходите от своего места? А?.. Я вас научу, как на смотр людей в казакины одевать!.. А?

Ротный командир, не спуская глаз с начальника, все больше и больше прижимал свои два пальца к козырьку, как будто в одном этом прижимании он видел теперь свое спасение.

— Ну, что ж вы молчите? Кто у вас там в венгерца наряжен? — строго шутил полковой командир.

— Ваше превосходительство...

— Ну, что «ваше превосходительство»? Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! А что ваше превосходительство — никому не известно.

— Ваше превосходительство, это Долохов, разжалованный... — сказал тихо капитан.

— Что, он в фельдмаршалы разжалован, что ли, или в соладты? А солдат, так должен быть одет, как все, по форме.

— Ваше превосходительство, вы сами разрешили ему походом.

— Разрешил? Разрешил? Вот вы всегда так, молодые люди, — сказал полковой командир, остывая несколько. — Разрешил? Вам что-нибудь скажешь, а вы и... — Полковой командир помолчал. — Вам что-нибудь скажешь, а вы и...

Что? — сказал он, снова раздражаясь. — Извольте одеть людей прилично...

И полковой командир, оглянувшись на адъютанта, своею вздрагивающею походкой направился к полку. Видно было, что его раздражение ему самому понравилось и что он, пройдясь по полку, хотел найти еще предлог своему гневу. Оборвав одного офицера за невычищенный знак, другого за неправильность ряда, он подошел к 3-й роте.

— Ка-а-ак стоишь? Где нога? Нога где? — закричал полковой командир с выражением страдания в голосе, еще человек за пять не доходя до Долохова, одетого в синеватую шинель.

Долохов медленно выпрямил согнутую ногу и прямо, своим светлым и наглым взглядом, посмотрел в лицо генерала.

— Зачем синяя шинель? Долой!.. Фельдфебель! Переодеть его... дря... — Он не успел договорить.

— Генерал, я обязан исполнить приказания, но не обязан переносить... — поспешно сказал Долохов.

— Во фронте не разговаривать!.. Не разговаривать, не разговаривать!..

— Не обязан переносить оскорбления, — громко, звучно договорил Долохов.

Глаза генерала и солдата встретились. Генерал замолчал, сердито оттягивая книзу тугой шарф.

— Извольте переодеться, прошу вас, — сказал он, отходя.

II

— Едет! — закричал в это время махальный.

Полковой командир, покраснев, подбежал к лошади, дрожащими руками взялся за стремя, перекинул тело, оправился, вынул шпагу и с счастливым, решительным лицом, набок раскрыв рот, приготовился крикнуть. Полк встрепенулся, как оправляющаяся птица, и замер.

— Смир-р-р-на! — закричал полковой командир потрясающим душу голосом, радостным для себя, строгим в отношении к полку и приветливым в отношении к подъезжающему начальнику.

По широкой, обсаженной деревьями, большой бесшоссейной дороге, слегка погромыхивая рессорами, шибкою

рысью ехала высокая голубая венская коляска цугом. За коляской скакали свита и конвой кроатов. Подле Кутузова сидел австрийский генерал в странном, среди черных русских, белом мундире. Коляска остановилась у полка. Кутузов и австрийский генерал о чем-то тихо говорили, и Кутузов слегка улыбнулся, в то время как, тяжело ступая, он опускал ногу с подножки, точно как будто и не было этих двух тысяч людей, которые не дыша смотрели на него и на полкового командира.

Раздался крик команды, опять полк звеня дрогнул, сделав на караул. В мертвой тишине послышался слабый голос главнокомандующего. Полк рявкнул: «Здравья желаем, ваше го-го-го-ство!» И опять все замерло. Сначала Кутузов стоял на одном месте, пока полк двигался; потом Кутузов рядом с белым генералом, пешком, сопутствуемый свитою, стал ходить по рядам.

По тому, как полковой командир салютовал главнокомандующему, впиваясь в него глазами, вытягиваясь и подбираясь, как, наклоненный вперед, ходил за генералами по рядам, едва удерживая подрагивающее движение, как подскакивал при каждом слове и движении главнокомандующего, — видно было, что он исполнял свои обязанности подчиненного еще с большим наслаждением, чем обязанности начальника. Полк благодаря строгости и старательности полкового командира был в прекрасном состоянии сравнительно с другими, приходившими в то же время к Браунау. Отсталых и больных было только двести семнадцать человек. И все было исправно, кроме обуви.

Кутузов прошел по рядам, изредка останавливаясь и говоря по нескольку ласковых слов офицерам, которых он знал по турецкой войне, а иногда и солдатам. Поглядывая на обувь, он несколько раз грустно покачивал головой и указывал на нее австрийскому генералу с таким выражением, что как бы не упрекал в этом никого, но не мог не видеть, как это плохо. Полковой командир каждый раз при этом забегал вперед, боясь упустить слово главнокомандующего касательно полка. Сзади Кутузова, в таком расстоянии, что всякое слабо произнесенное слово могло быть услышано, шло человек двадцать свиты. Господа свиты разговаривали между собой и иногда смеялись. Ближе всех за главнокомандующим шел красивый адъютант. Это был князь Болконский. Рядом с ним шел его товарищ Несвицкий, высокий штаб-офицер, чрез-

вычайно толстый, с добрым, улыбающимся, красивым лицом и влажными глазами. Несвицкий едва удерживался от смеха, возбуждаемого черноватым гусарским офицером, шедшим подле него. Гусарский офицер, не улыбаясь, не изменяя выражения остановившихся глаз, с серьезным лицом смотрел на спину полкового командира и передразнивал каждое его движение. Каждый раз, как полковой командир вздрагивал и нагибался вперед, точно так же, точь-в-точь так же, вздрагивал и нагибался вперед гусарский офицер. Несвицкий смеялся и толкал других, чтобы они смотрели на забавника.

Кутузов шел медленно и вяло мимо тысяч глаз, которые выкатывались из своих орбит, следя за начальником. Поравнявшись с 3-ю ротой, он вдруг остановился. Свита, не предвидя этой остановки, невольно надвинулась на него.

— А, Тимохин! — сказал главнокомандующий, узнавая капитана с красным носом, пострадавшего за синюю шинель.

Казалось, нельзя было вытягиваться больше того, как вытягивался Тимохин в то время, как полковой командир делал ему замечание. Но в эту минуту обращения к нему главнокомандующего капитан вытянулся так, что, казалось, посмотри на него главнокомандующий еще несколько времени, капитан не выдержал бы; и потому Кутузов, видимо, поняв его положение и желая, напротив, всякого добра капитану, поспешно отвернулся. По пухлому, изуродованному раной лицу Кутузова пробежала чуть заметная улыбка.

— Еще измаильский товарищ, — сказал он. — Храбрый офицер! Ты доволен им? — спросил Кутузов у полкового командира.

И полковой командир, отражаясь, как в зеркале, невидимо для себя, в гусарском офицере, вздрогнул, подошел вперед и отвечал:

— Очень доволен, ваше высокопревосходительство.

— Мы все не без слабостей, — сказал Кутузов, улыбаясь и отходя от него. — У него была приверженность к Бахусу.

Полковой командир испугался, не виноват ли он в этом, и ничего не ответил. Офицер в эту минуту заметил лицо капитана с красным носом и подтянутым животом и так похоже передразнил его лицо и позу, что Несвицкий не мог удержать смех. Кутузов обернулся. Видно

было, что офицер мог управлять своим лицом, как хотел: в ту минуту, как Кутузов обернулся, офицер успел сделать гримасу, а вслед за тем принять самое серьезное, почтительное и невинное выражение.

Третья рота была последняя, и Кутузов задумался, видимо, припоминая что-то. Князь Андрей выступил из свиты и по-французски тихо сказал:

— Вы приказали напомнить о разжалованном Долохове в этом полку.

— Где тут Долохов? — спросил Кутузов.

Долохов, уже переодетый в солдатскую серую шинель, не дожидался, чтоб его вызвали. Стройная фигура белокурого с ясными голубыми глазами солдата выступила из фронта. Он подошел к главнокомандующему и сделал на караул.

— Претензия? — нахмурившись слегка, спросил Кутузов.

— Это Долохов, — сказал князь Андрей.

— А! — сказал Кутузов. — Надеюсь, что этот урок тебя исправит, служи хорошенько. Государь милостив. И я не забуду тебя, ежели ты заслужишь.

Голубые ясные глаза смотрели на главнокомандующего так же дерзко, как и на полкового командира, как будто своим выражением разрывая завесу условности, отделявшую так далеко главнокомандующего от солдата.

— Об одном прошу, ваше высокопревосходительство, — сказал он своим звучным, твердым, неспешащим голосом. — Прошу дать мне случай загладить мою вину и доказать мою преданность государю императору и России.

Кутузов отвернулся. На лице его промелькнула та же улыбка глаз, как и в то время, когда он отвернулся от капитана Тимохина. Он отвернулся и поморщился, как будто хотел выразить этим, что все, что ему сказал Долохов, и все, что он мог сказать ему, он давно, давно знает, что все это уже прискучило ему и что все это совсем не то, что нужно. Он отвернулся и направился к коляске.

Полк разобрался ротами и тронулся по назначенным квартирам невдалеке от Браунау, где надеялся обуться, обшиться и отдохнуть после трудных переходов.

— Вы на меня не претендуйте, Прохор Игнатьич! — сказал полковой командир, объезжая двигавшуюся к месту 3-ю роту и подъезжая к шедшему впереди ее капитану Тимохину. Лицо полкового командира после счастливо отбытого смотра выражало неудержимую

радость. — Служба царская... нельзя... другой раз во фронте оборвешь... Сам извинюсь первый, вы меня знаете.. Очень благодарил! — И он протянул руку ротному.

— Помилуйте, генерал, да смею ли я! — отвечал капитан, краснея носом, улыбаясь и раскрывая улыбкой недостаток двух передних зубов, выбитых прикладом под Измаилом.

— Да господину Долохову передайте, что я его не забуду, чтоб он был спокоен. Да скажите, пожалуйста, я все хотел спросить, что́ он, как себя ведет? И все...

— По службе очень исправен, ваше превосходительство... но карахтер... — сказал Тимохин.

— А что, что характер? — спросил полковой командир.

— Находит, ваше превосходительство, днями, — говорил капитан, — то и умен, и учен, и добр. А то зверь. В Польше убил было жида, изволите знать...

— Ну да, ну да, — сказал полковой командир, — все надо пожалеть молодого человека в несчастии. Ведь большие связи... Так вы того...

— Слушаю, ваше превосходительство, — сказал Тимохин, улыбкой давая чувствовать, что он понимает желания начальника.

— Ну да, ну да.

Полковой командир отыскал в рядах Долохова и придержал лошадь.

— До первого дела — эполеты, — сказал он ему.

Долохов оглянулся, ничего не сказал и не изменил выражения своего насмешливо улыбающегося рта.

— Ну, вот и хорошо, — продолжал полковой командир. — Людям по чарке водки от меня, — прибавил он громко, чтоб солдаты слышали. — Благодарю всех! Слава богу! — И он, обогнав роту, подъехал к другой.

— Что ж, он, право, хороший человек, с ним служить можно, — сказал Тимохин субалтерн-офицеру, шедшему подле него.

— Одно слово, червонный!.. (полкового командира прозвали червонным королем), — смеясь, сказал субалтерн-офицер.

Счастливое расположение духа начальства после смотра перешло и к солдатам. Рота шла весело. Со всех сторон переговаривались солдатские голоса.

— Как же сказывали, Кутузов кривой, об одном глазу?

— А то нет! Вовсе кривой.

— Не... брат, глазастей тебя, и сапоги и подвертки все оглядел...

— Как он, братец ты мой, глянет на ноги мне... ну! думаю...

— А другой-то, австрияк, с ним был, словно мелом вымазан. Как мука, белый! Я чай, как амуницию чистят!

— А что, Федешоу!.. сказывал он, что ли, когда страженье начнется? ты ближе стоял? Говорили всё, в Брунове сам Бунапарт стоит.

— Бунапарт стоит! ишь врет, дура! Чего не знает! Теперь пруссак бунтует. Австрияк его, значит, усмиряет. Как он замирится, тогда и с Бунапартом война откроется. А то, говорит, в Брунове Бунапарт стоит! То-то и видно, что дурак, ты слушай больше.

— Вишь, черти квартирьеры! Пятая рота, гляди, уже в деревню заворачивает, они кашу сварят, а мы еще до места не дойдем.

— Дай сухарика-то, черт.

— А табаку-то вчера дал? То-то, брат. Ну, на, бог с тобой.

— Хоть бы привал сделали, а то еще верст пять пропрем не емши.

— То-то любо было, как немцы нам коляски подавали. Едешь знай: важно!

— А здесь, братец, народ вовсе оголтелый пошел. Там все как будто поляк был, все русской короны; а нынче, брат, сплошной немец пошел.

— Песенники вперед! — послышался крик капитана.

И перед роту с разных рядов выбежало человек двадцать. Барабанщик-запевало обернулся лицом к песенникам и, махнув рукой, затянул протяжную солдатскую песню, начинавшуюся: «Не заря ли, солнышко занималося...» и кончавшуюся словами: «То-то, братцы, будет слава нам с Каменскиим-отцом...» Песня эта была сложена в Турции и пелась теперь в Австрии, только с тем изменением, что на место «Каменскиим-отцом» вставляли слова: «Кутузовым-отцом».

Оторвав по-солдатски эти последние слова и махнув руками, как будто он бросал что-то на землю, барабанщик, сухой и красивый солдат лет сорока, строго оглянул солдат-песенников и зажмурился. Потом, убедившись, что все глаза устремлены на него, он как будто бережно при-

поднял обеими руками какую-то невидимую драгоценную вещь над головой, подержал ее так несколько секунд и вдруг отчаянно бросил ее:

Ах вы, сени мои, сени!

«Сени новые мои...» — подхватили двадцать голосов, и ложечник, несмотря на тяжесть амуниции, резво выскочил вперед и пошел задом перед ротой, пошевеливая плечами и угрожая кому-то ложками. Солдаты, в такт песни размахивая руками, шли просторным шагом, невольно попадая в ногу. Сзади роты послышались звуки колес, похрускиванье рессор и топот лошадей. Кутузов со свитой возвращался в город. Главнокомандующий дал знак, чтобы люди продолжали идти вольно, и на его лице и на всех лицах его свиты выразилось удовольствие при звуках песни, при виде пляшущего солдата и весело и бойко идущих солдат роты. Во втором ряду с правого фланга, с которого коляска обгоняла роты, невольно бросался в глаза голубоглазый солдат, Долохов, который особенно бойко и грациозно шел в такт песни и глядел на лица проезжающих с таким выражением, как будто он жалел всех, кто не шел в это время с ротой. Гусарский корнет из свиты Кутузова, передразнивавший полкового командира, отстал от коляски и подъехал к Долохову.

Гусарский корнет Жерков одно время в Петербурге принадлежал к тому буйному обществу, которым руководил Долохов. За границей Жерков встретил Долохова солдатом, но не счел нужным узнать его. Теперь, после разговора Кутузова с разжалованным, он с радостью старого друга обратился к нему.

— Друг сердечный, ты как? — сказал он при звуках песни, равняя шаг своей лошади с шагом роты.

— Я как? — отвечал холодно Долохов. — Как видишь.

Бойкая песня придавала особенное значение тону развязной веселости, с которою говорил Жерков, и умышленной холодности ответов Долохова.

— Ну, как ладишь с начальством? — спросил Жерков.

— Ничего, хорошие люди. Ты как в штаб затесался?

— Прикомандирован, дежурю.

Они помолчали.

«Выпускала сокола́ да из правова рукава», — говорила песня, невольно возбуждая бодрое, веселое чувство. Разговор их, вероятно, был бы другой, ежели бы они говорили не при звуках песни.

— Что, правда, австрийцев побили? — спросил Долохов.

— А черт их знает, говорят.

— Я рад, — отвечал Долохов коротко и ясно, как того требовала песня.

— Что ж, приходи к нам когда вечерком, фараон заложишь, — сказал Жерков.

— Или у вас денег много завелось?

— Приходи.

— Нельзя. Зарок дал. Не пью и не играю, пока не произведут.

— Да что ж, до первого дела...

— Там видно будет.

Опять они помолчали.

— Ты заходи, коли что нужно, всё в штабе помогут... — сказал Жерков.

Долохов усмехнулся.

— Ты лучше не беспокойся. Мне что нужно, я просить не стану, сам возьму.

— Да что ж, я так...

— Ну, и я так.

— Прощай.

— Будь здоров...

...И высоко, и далеко,
На родиму сторону...

Жерков тронул шпорами лошадь, которая раза три, горячась, перебила ногами, не зная, с какой начать, справилась и поскакала, обгоняя роту и догоняя коляску, тоже в такт песни.

III

Возвратившись со смотра, Кутузов, сопутствуемый австрийским генералом, прошел в свой кабинет и, кликнув адъютанта, приказал подать себе некоторые бумаги, относившиеся до состояния приходивших войск, и письма, полученные от эрцгерцога Фердинанда, начальствовавшего передовою армией. Князь Андрей Болконский с требуемыми бумагами вошел в кабинет главнокомандующего. Перед разложенным на столе планом сидели Кутузов и австрийский член гофкригсрата.

— А... — сказал Кутузов, оглядываясь на Болконского, как будто этим словом приглашая адъютанта подождать, и продолжал по-французски начатый разговор.

— Я только говорю одно, генерал, — говорил Кутузов с приятным изяществом выражений и интонации, заставлявшим вслушиваться в каждое неторопливо сказанное слово. Видно было, что Кутузов и сам с удовольствием слушал себя. — Я только одно говорю, генерал, что ежели бы дело зависело от моего личного желания, то воля его величества императора Франца давно была бы исполнена. Я давно уже присоединился бы к эрцгерцогу. И верьте моей чести, что для меня лично передать высшее начальство армией более меня сведущему и искусному генералу, какими так обильна Австрия, и сложить с себя всю эту тяжкую ответственность, для меня лично было бы отрадой. Но обстоятельства бывают сильнее нас, генерал.

И Кутузов улыбнулся с таким выражением, как будто он говорил: «Вы имеете полное право не верить мне, и даже мне совершенно все равно, верите ли вы мне или нет, но вы не имеете повода сказать мне это. И в этом-то все дело».

Австрийский генерал имел недовольный вид, но не мог не в том же тоне отвечать Кутузову.

— Напротив, — сказал он ворчливым и сердитым тоном, так противоречившим лестному значению произносимых слов, — напротив, участие вашего превосходительства в общем деле высоко ценится его величеством; но мы полагаем, что настоящее замедление лишает славные русские войска и их главнокомандующих тех лавров, которые они привыкли пожинать в битвах, — закончил он, видимо, приготовленную фразу.

Кутузов поклонился, не изменяя улыбки.

— А я так убежден и, основываясь на последнем письме, которым почтил меня его высочество эрцгерцог Фердинанд, предполагаю, что австрийские войска, под начальством столь искусного помощника, каков генерал Мак, теперь уже одержали решительную победу и не нуждаются более в нашей помощи, — сказал Кутузов.

Генерал нахмурился. Хотя и не было положительных известий о поражении австрийцев, но было слишком много обстоятельств, подтверждавших общие невыгодные слухи; и потому предположение Кутузова о победе австрийцев было весьма похоже на насмешку. Но Кутузов кротко улыбался, все с тем же выражением, которое говорило,

что он имеет право предполагать это. Действительно, последнее письмо, полученное им из армии Мака, извещало его о победе и о самом выгодном стратегическом положении армии.

— Дай-ка сюда это письмо, — сказал Кутузов, обращаясь к князю Андрею. — Вот изволите видеть, — и Кутузов, с насмешливою улыбкой на концах губ, прочел по-немецки австрийскому генералу следующее место из письма эрцгерцога Фердинанда: — «Wir haben vollkommen zusammengehaltene Kräfte, nahe an 70 000 Mann, um den Feind, wenn er den Lech passierte, angreifen und schlagen zu können. Wir können, da wir Meister von Ulm sind, den Vorteil, auch von beiden Ufern der Donau Meister zu bleiben, nicht verlieren; mithin auch jeden Augenblick, wenn der Feind den Lech nicht passierte, die Donau übersetzen, uns auf seine Kommunikations-Linie werfen, die Donau unterhalb repassieren um dem Feinde, wenn er sich gegen unsere treue Allierte mit ganzer Macht wenden wollte, seine Absicht alsbald vereiteln. Wir werden auf solche Weise dem Zeitpunkt wo die Kaiserlich-Russische Armee ausgerüstet sein wird, mutig entgegenharren, und sodann leicht gemeinschaftlich die Möglichkeit finden, dem Feinde das Schicksal zuzubereiten, so er verdient» [1].

Кутузов тяжело вздохнул, окончив этот период, и внимательно и ласково посмотрел на члена гофкригсрата.

— Но вы знаете, ваше превосходительство, мудрое правило, предписывающее предполагать худшее, — сказал австрийский генерал, видимо, желая покончить с шутками и приступить к делу.

Он недовольно оглянулся на адъютанта.

— Извините, генерал, — перебил его Кутузов и тоже поворотился к князю Андрею. — Вот что, мой любезный,

---

[1] Мы имеем вполне сосредоточенные силы, около семидесяти тысяч человек, так что мы можем атаковать и разбить неприятеля в случае переправы его через Лех. Так как мы уже владеем Ульмом, то мы можем удерживать за собою выгоду командования обоими берегами Дуная, стало быть, ежеминутно, в случае если неприятель не перейдет через Лех, переправиться через Дунай, броситься на его коммуникационную линию, ниже перейти обратно Дунай и неприятелю, если он вздумает обратить всю свою силу на наших верных союзников, не дать исполнить его намерение. Таким образом, мы будем бодро ожидать времени, когда императорская российская армия совсем изготовится, и затем вместе легко найдем возможность уготовить неприятелю участь, коей он заслуживает *(нем.)*.

возьми ты все донесения от наших лазутчиков у Козловского. Вот два письма от графа Ностица, вот письмо от его высочества эрцгерцога Фердинанда, вот еще, — сказал он, подавая ему несколько бумаг. — И из всего этого чистенько, на французском языке, составь memorandum [1], записочку, для видимости всех тех известий, которые мы о действиях австрийской армии имели. Ну, так-то, и представь его превосходительству.

Князь Андрей наклонил голову в знак того, что понял с первых слов не только то, что было сказано, но и то, что желал бы сказать ему Кутузов. Он собрал бумаги и, отдав общий поклон, тихо шагая по ковру, вышел в приемную.

Несмотря на то, что еще не много времени прошло с тех пор, как князь Андрей оставил Россию, он много изменился за это время. В выражении его лица, в движениях, в походке почти не было заметно прежнего притворства, усталости и лени; он имел вид человека, не имеющего времени думать о впечатлении, какое он производит на других, и занятого делом приятным и интересным. Лицо его выражало больше довольства собой и окружающими; улыбка и взгляд его были веселее и привлекательнее.

Кутузов, которого он догнал еще в Польше, принял его очень ласково, обещал ему не забывать его, отличал от других адъютантов, брал с собою в Вену и давал более серьезные поручения. Из Вены Кузутов писал своему старому товарищу, отцу князя Андрея.

«Ваш сын, — писал он, — надежду подает быть офицером, из ряду выходящим по своим знаниям, твердости и исполнительности. Я считаю себя счастливым, имея под рукой такого подчиненного».

В штабе Кутузова между товарищами-сослуживцами и вообще в армии князь Андрей, так же как и в петербургском обществе, имел две совершенно противоположные репутации. Одни, меньшая часть, признавали князя Андрея чем-то особенным от себя и от всех других людей, ожидали от него больших успехов, слушали его, восхищались им и подражали ему; и с этими людьми князь Андрей был прост и приятен. Другие, большинство, не любили князя Андрея, считали его надутым, холодным и неприятным человеком. Но с этими людьми князь Андрей

---

[1] промеморийку.

умел поставить себя так, что его уважали и даже боялись.

Выйдя в приемную из кабинета Кутузова, князь Андрей с бумагами подошел к товарищу, дежурному адъютанту Козловскому, который с книгой сидел у окна.

— Ну, что, князь? — спросил Козловский.

— Приказано составить записку, почему нейдем вперед.

— А почему?

Князь Андрей пожал плечами.

— Нет известия от Мака? — спросил Козловский.

— Нет.

— Ежели бы правда, что он разбит, так пришло бы известие.

— Вероятно, — сказал князь Андрей и направился к выходной двери; но в то же время навстречу ему, хлопнув дверью, быстро вошел в приемную высокий, очевидно приезжий, австрийский генерал в сюртуке, с повязанною черным платком головою и с орденом Марии-Терезии на шее. Князь Андрей остановился.

— Генерал-аншеф Кутузов? — быстро проговорил приезжий генерал с резким немецким выговором, оглядываясь на обе стороны и без остановки проходя к двери кабинета.

— Генерал-аншеф занят, — сказал Козловский, торопливо подходя к неизвестному генералу и загораживая ему дорогу от двери. — Как прикажете доложить?

Неизвестный генерал презрительно оглянулся сверху вниз на невысокого ростом Козловского, как будто удивляясь, что его могут не знать.

— Генерал-аншеф занят, — спокойно повторил Козловский.

Лицо генерала нахмурилось, губы его дернулись и задрожали. Он вынул записную книжку, быстро начертил что-то карандашом, вырвал листок, отдал, быстрыми шагами подошел к окну, бросил свое тело на стул и оглянул бывших в комнате, как будто спрашивая: зачем они на него смотрят? Потом генерал поднял голову, вытянул шею, как будто намереваясь что-то сказать, но тотчас же, как будто небрежно начиная напевать про себя, произвел странный звук, который тотчас же пресекся. Дверь кабинета отворилась, и на пороге ее показался Кутузов. Генерал с повязанною головой, как будто убегая от

опасности, нагнувшись, большими, быстрыми шагами худых ног подошел к Кутузову.

— Vous voyez le malheureux Mack[1], — проговорил он сорвавшимся голосом.

Лицо Кутузова, стоявшего в дверях кабинета, несколько мгновений оставалось совершенно неподвижно. Потом, как волна, пробежала по его лицу морщина, лоб разгладился; он почтительно наклонил голову, закрыл глаза, молча пропустил мимо себя Мака и сам за собой затворил дверь.

Слух, уже распространенный прежде, о разбитии австрийцев и о сдаче всей армии под Ульмом оказывался справедливым. Через полчаса уже по разным направлениям были разосланы адъютанты с приказаниями, доказывавшими, что скоро и русские войска, до сих пор бывшие в бездействии, должны будут встретиться с неприятелем.

Князь Андрей был один из тех редких офицеров в штабе, который полагал свой главный интерес в общем ходе военного дела. Увидав Мака и услыхав подробности его погибели, он понял, что половина кампании проиграна, понял всю трудность положения русских войск и живо вообразил себе то, что ожидает армию, и ту роль, которую он должен будет играть в ней. Невольно он испытывал волнующее радостное чувство при мысли о посрамлении самонадеянной Австрии и о том, что через неделю, может быть, придется ему увидеть и принять участие в столкновении русских с французами, впервые после Суворова. Но он боялся гения Бонапарта, который мог оказаться сильнее всей храбрости русских войск, и вместе с тем не мог допустить позора для своего героя.

Взволнованный и раздраженный этими мыслями, князь Андрей пошел в свою комнату, чтобы написать отцу, которому он писал каждый день. Он сошелся в коридоре с своим сожителем Несвицким и шутником Жерковым; они, как всегда, чему-то смеялись.

— Что ты так мрачен? — спросил Несвицкий, заметив бледное, с блестящими глазами лицо князя Андрея.

— Веселиться нечему, — отвечал Болконский.

В то время как князь Андрей сошелся с Несвицким и Жерковым, с другой стороны коридора навстречу им шли Штраух, австрийский генерал, состоявший при штабе

[1] Вы видите несчастного Мака.

Кутузова для наблюдения за продовольствием русской армии, и член гофкригсрата, приехавшие накануне. По широкому коридору было достаточно места, чтобы генералы могли свободно разойтись с тремя офицерами; но Жерков, отталкивая рукой Несвицкого, запыхавшимся голосом проговорил:

— Идут!.. идут!.. посторонитесь, дорогу! пожалуйста, дорогу!

Генералы проходили с видом желания избавиться от утруждающих почестей. На лице шутника Жеркова выразилась вдруг глупая улыбка радости, которой он как будто не мог удержать.

— Ваше превосходительство, — сказал он по-немецки, выдвигаясь вперед и обращаясь к австрийскому генералу. — Имею честь поздравить.

Он наклонил голову и неловко, как дети, которые учатся танцевать, стал расшаркиваться то одной, то другой ногою.

Генерал, член гофкригсрата, строго оглянулся на него; но, заметив серьезность глупой улыбки, не мог отказать в минутном внимании. Он прищурился, показывая, что слушает.

— Имею честь поздравить, генерал Мак приехал, совсем здоров, только немного тут зашибся, — прибавил он, сияя улыбкой и указывая на свою голову.

Генерал нахмурился, отвернулся и пошел дальше.

— Gott, wie naiv! [1] — сказал он сердито, отойдя несколько шагов.

Несвицкий с хохотом обнял князя Андрея, но Болконский, еще более побледнев, с злобным выражением в лице, оттолкнул его и обратился к Жеркову. То нервное раздражение, в которое его привели вид Мака, известие об его поражении и мысли о том, что ожидает русскую армию, нашли себе исход в озлоблении на неуместную шутку Жеркова.

— Если вы, милостивый государь, — заговорил он пронзительно, с легким дрожанием нижней челюсти, — хотите быть *шутом*, то я вам в этом не могу воспрепятствовать; но объявляю вам, что если вы *осмелитесь* другой раз скоморошничать в моем присутствии, то я вас научу, как вести себя.

---

[1] Боже, как наивен! *(нем.)*

Несвицкий и Жерков так были удивлены этой выходкой, что молча, раскрыв глаза, смотрели на Болконского.

— Что ж, я поздравил только, — сказал Жерков.

— Я не шучу с вами, извольте молчать! — крикнул Болконский и, взяв за руку Несвицкого, пошел прочь от Жеркова, не нашедшегося, что ответить.

— Ну, что ты, братец, — успокоивая, сказал Несвицкий.

— Как что? — заговорил князь Андрей, останавливаясь от волнения. — Да ты пойми, что мы — или офицеры, которые служим своему царю и отечеству и радуемся общему успеху и печалимся об общей неудаче, или мы лакеи, которым дела нет до господского дела. Quarante milles hommes massacrés et l'armée de nos alliés détruite, et vous trouvez là le mot pour rire, — сказал он, как будто этою французскою фразой закрепляя свое мнение. — C'est bien pour un garçon de rien comme cet individu dont vous avez fait un ami, mais pas pour vous, pas pour vous[1]. *Мальчишкам* только можно так забавляться, — прибавил князь Андрей по-русски, выговаривая это слово с французским акцентом, заметив, что Жерков мог еще слышать его.

Он подождал, не ответит ли что-нибудь корнет. Но корнет повернулся и вышел из коридора.

IV

Гусарский Павлоградский полк стоял в двух милях от Браунау. Эскадрон, в котором юнкером служил Николай Ростов, расположен был в немецкой деревне Зальценек. Эскадронному командиру, ротмистру Денисову, известному всей кавалерийской дивизии под именем Васьки Денисова, была отведена лучшая квартира в деревне. Юнкер Ростов, с тех самых пор как он догнал полк в Польше, жил вместе с эскадронным командиром.

8-го октября, в тот самый день, когда в главной квартире все было поднято на ноги известием о поражении

---

[1] Сорок тысяч человек погибло, и союзная нам армия уничтожена, а вы можете при этом шутить. Это простительно ничтожному мальчишке, как вот этот господин, которого вы сделали себе другом, но не вам, не вам.

Мака, в штабе эскадрона походная жизнь спокойно шла по-старому. Денисов, проигравший всю ночь в карты, еще не приходил домой, когда Ростов, рано утром, верхом, вернулся с фуражировки. Ростов в юнкерском мундире подъехал к крыльцу, толканув лошадь, гибким, молодым жестом скинул ногу, постоял на стремени, как будто не желая расстаться с лошадью, наконец спрыгнул и крикнул вестового.

— А, Бондаренко, друг сердечный, — проговорил он бросившемуся стремглав к его лошади гусару. — Вы́води, дружок, — сказал он с тою братскою веселою нежностью, с которою обращаются со всеми хорошие молодые люди, когда они счастливы.

— Слушаю, ваше сиятельство, — отвечал хохол, встряхивая весело головой.

— Смотри же, вы́води хорошенько!

Другой гусар бросился тоже к лошади, но Бондаренко уже перекинул поводья трензеля. Видно было, что юнкер давал хорошо на водку и что услужить ему было выгодно. Ростов погладил лошадь по шее, потом по крупу и остановился на крыльце.

«Славно! Такая будет лошадь!» — сказал он сам себе и, улыбаясь и придерживая саблю, взбежал на крыльцо, погромыхивая шпорами. Хозяин-немец, в фуфайке и колпаке, с вилами, которыми он вычищал навоз, выглянул из коровника. Лицо немца вдруг просветлело, как только он увидал Ростова. Он весело улыбнулся и подмигнул: «Schön, gut Morgen! Schön, gut Morgen!» [1] — повторял он, видимо, находя удовольствие в приветствии молодого человека.

— Schon fleissig! [2] — сказал Ростов все с тою же радостною, братскою улыбкой, какая не сходила с его оживленного лица. — Hoch Oestreicher! Hoch Russen! Kaiser Alexander hoch! [3] — обратился он к немцу, повторяя слова, говоренные часто немцем-хозяином.

Немец засмеялся, вышел совсем из двери коровника, сдернул колпак и, взмахнув им над головой, закричал:

— Und die ganze Welt hoch! [4]

---

[1] Доброго утра, доброго утра! *(нем.)*

[2] Уж за работой! *(нем.)*

[3] Да здравствуют австрийцы! Да здравствуют русские! Ура император Александр! *(нем.)*

[4] И да здравствует весь свет! *(нем.)*

Ростов сам так же, как немец, взмахнул фуражкой над головой и, смеясь, закричал: «Und vivat die ganze Welt!» Хотя не было никакой причины к особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для Ростова, ездившего со взводом за сеном, оба человека эти с счастливым восторгом и братскою любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и, улыбаясь, разошлись — немец в коровник, а Ростов в избу, которую занимал с Денисовым.

— Что барин? — спросил он у Лаврушки, известного всему полку плута-лакея Денисова.

— С вечера не бывали. Верно, проигрались, — отвечал Лаврушка. — Уж я знаю, коли выиграют, рано придут хвастаться, а коли до утра нет, значит, продулись, — сердитые придут. Кофею прикажете?

— Давай, давай.

Через десять минут Лаврушка принес кофею.

— Идут! — сказал он. — Теперь беда.

Ростов заглянул в окно и увидал возвращающегося домой Денисова. Денисов был маленький человечек с красным лицом, блестящими черными глазами, черными взлохмаченными усами и волосами. На нем был расстегнутый ментик, спущенные в складках широкие чикчиры и на затылке была надета смятая гусарская шапочка. Он мрачно, опустив голову, приближался к крыльцу.

— Лавг'ушка, — закричал он, громко и сердито. — Ну, снимай, болван!

— Да я и так снимаю, — отвечал голос Лаврушки.

— А! ты уж встал, — сказал Денисов, входя в комнату.

— Давно, — сказал Ростов, — я уже за сеном сходил и фрейлейн Матильду видел.

— Вот как! А я пг'одулся, бг'ат, вчег'а, как сукин сын! — закричал Денисов, не выговаривая *р*. — Такого несчастия! Такого несчастия!.. Как ты уехал, так и пошло. Эй, чаю!

Денисов, сморщившись, как бы улыбаясь и выказывая свои короткие крепкие зубы, начал обеими руками с короткими пальцами лохматить, как лес, взбитые черные густые волосы.

— Чег'т меня дег'нул пойти к этой кг'ысе (прозвище офицера), — растирая себе обеими руками лоб и лицо, говорил он. — Можешь себе пг'едставить, ни одной каг'ты, ни одной, ни одной каг'ты не дал.

Денисов взял подаваемую ему закуренную трубку, сжал в кулак и, рассыпая огонь, ударил ею по полу, продолжая кричать:

— Семпель даст, паг'оль бьет; семпель даст, паг'оль бьет.

Он рассыпал огонь, разбил трубку и бросил ее. Потом помолчал и вдруг своими блестящими черными глазами весело взглянул на Ростова.

— Хоть бы женщины были. А то тут, кг'оме как пить, делать нечего. Хоть бы дг'аться скорг'ей...

— Эй, кто там? — обратился он к двери, заслышав остановившиеся шаги толстых сапог с бряцанием шпор и почтительное покашливание.

— Вахмистр! — сказал Лаврушка.

Денисов сморщился еще больше.

— Скверг'но, — проговорил он, бросая кошелек с несколькими золотыми. — Г'остов, сочти, голубчик, сколько там осталось, да сунь кошелек под подушку, — сказал он и вышел к вахмистру.

Ростов взял деньги и машинально, откладывая и равняя кучками старые и новые золотые, стал считать их.

— А! Телянин! Здог'ово! Вздули меня вчег'а, — послышался голос Денисова из другой комнаты.

— У кого? У Быкова, у крысы?.. Я знал, — сказал другой, тоненький голос, и вслед за тем в комнату вошел поручик Телянин, маленький офицер того же эскадрона.

Ростов кинул под подушку кошелек и пожал протянутую ему маленькую влажную руку. Телянин был перед походом за что-то переведен из гвардии. Он держал себя очень хорошо в полку; но его не любили, и в особенности Ростов не мог ни преодолеть, ни скрывать своего беспричинного отвращения к этому офицеру.

— Ну, что, молодой кавалерист, как вам мой Грачик служит? — спросил он. (Грачик была верховая лошадь, подъездок, проданная Теляниным Ростову.)

Поручик никогда не смотрел в глаза человеку, с кем говорил; глаза его постоянно перебегали с одного предмета на другой.

— Я видел, вы нынче проехали...

— Да ничего, конь добрый, — отвечал Ростов, несмотря на то, что лошадь эта, купленная им за семьсот рублей, не стоила и половины этой цены. — Припадать стала на левую переднюю... — прибавил он.

— Треснуло копыто! Это ничего. Я вас научу, покажу, заклепку какую положить.

— Да, покажите, пожалуйста, — сказал Ростов

— Покажу, покажу, это не секрет. А за лошадь благодарить будете.

— Так я велю привести лошадь, — сказал Ростов, желая избавиться от Телянина, и вышел, чтобы велеть привести лошадь.

В сенях Денисов, с трубкой, скорчившись на пороге, сидел перед вахмистром, который что-то докладывал. Увидав Ростова, Денисов сморщился и, указывая через плечо большим пальцем в комнату, в которой сидел Телянин, поморщился и с отвращением тряхнулся.

— Ох, не люблю молодца, — сказал он, не стесняясь присутствия вахмистра.

Ростов пожал плечами, как будто говоря: «И я тоже, да что ж делать!» — и, распорядившись, вернулся к Телянину.

Телянин сидел все в той же ленивой позе, в которой его оставил Ростов, потирая маленькие белые руки.

«Бывают же такие противные лица», — подумал Ростов, входя в комнату.

— Что же, велели привести лошадь? — сказал Телянин, вставая и небрежно оглядываясь.

— Велел.

— Да пойдемте сами. Я ведь зашел только спросить Денисова о вчерашнем приказе. Получили, Денисов?

— Нет еще. А вы куда?

— Вот хочу молодого человека научить, как ковать лошадь, — сказал Телянин.

Они вышли на крыльцо и в конюшню. Поручик показал, как делать заклепку, и ушел к себе.

Когда Ростов вернулся, на столе стояла бутылка с водкой и лежала колбаса. Денисов сидел перед столом и трещал пером по бумаге. Он мрачно посмотрел в лицо Ростову.

— Ей пишу, — сказал он.

Он облокотился на стол с пером в руке и, очевидно, обрадованный случаю быстрее сказать словом все, что он хотел написать, высказывал свое письмо Ростову.

— Ты видишь ли, дг'ук,— сказал он.— Мы спим, пока не любим. Мы дети пг'аха... а полюбил — и ты бог, ты чист, как в пег'вый день созданья... Это еще кто? Гони его к чег'ту. Некогда! — крикнул он на Лаврушку, который, нисколько не робея, подошел к нему.

— Да кому ж быть? Сами велели. Вахмистр за деньгами пришел.

Денисов сморщился, хотел что-то крикнуть и замолчал.

— Сквег'но дело, — проговорил он про себя. — Сколько там денег в кошельке осталось? — спросил он у Ростова.

— Семь новых и три старых.

— Ах, скверг'но! Ну, что стоишь, чучело, пошли вахмистг'а! — крикнул Денисов на Лаврушку.

— Пожалуйста, Денисов, возьми у меня денег, ведь у меня есть, — сказал Ростов, краснея.

— Не люблю у своих занимать, не люблю, — проворчал Денисов.

— А ежели ты у меня не возьмешь денег по-товарищески, ты меня обидишь. Право, у меня есть, — повторял Ростов.

— Да нет же.

И Денисов подошел к кровати, чтобы достать из-под подушки кошелек.

— Ты куда положил, Г'остов?

— Под нижнюю подушку.

— Да нету.

Денисов скинул обе подушки на пол. Кошелька не было.

— Вот чудо-то!

— Постой, ты не уронил ли? — сказал Ростов, по одной поднимая подушки и вытрясая их.

Он скинул и отряхнул одеяло. Кошелька не было.

— Уж не забыл ли я? Нет, я еще подумал, что ты точно клад под голову кладешь, — сказал Ростов. — Я тут положил кошелек. Где он? — обратился он к Лаврушке.

— Я не входил. Где положили, там и должен быть.

— Да нет.

— Вы всё так, бросите куда, да и забудете. В карманах-то посмотрите.

— Нет, коли бы я не подумал про клад, — сказал Ростов, — а то я помню, что положил.

Лаврушка перерыл всю постель, заглянул под нее, под стол, перерыл всю комнату и остановился посреди комнаты. Денисов молча следил за движениями Лаврушки, и когда Лаврушка удивленно развел руками, говоря, что нигде нет, он оглянулся на Ростова.

— Г'остов, ты не школьнич...

Ростов, почувствовав на себе взгляд Денисова, поднял глаза и в то же мгновение опустил их. Вся кровь его, бывшая запертою где-то ниже горла, хлынула ему в лицо и глаза. Он не мог перевести дыхание.

— И в комнате-то никого не было, окромя поручика да вас самих. Тут где-нибудь, — сказал Лаврушка.

— Ну, ты, чег'това кукла, повог'ачивайся, ищи, — вдруг закричал Денисов, побагровев и с угрожающим жестом бросаясь на лакея. — Чтоб был кошелек, а то запог'ю. Всех запог'ю!

Ростов, обходя взглядом Денисова, стал застегивать куртку, подстегнул саблю и надел фуражку.

— Я тебе говог'ю, чтоб был кошелек, — кричал Денисов, тряся за плечи денщика и толкая его об стену.

— Денисов, оставь его; я знаю, кто взял, — сказал Ростов, подходя к двери и не поднимая глаз.

Денисов остановился, подумал и, видимо, поняв то, на что намекал Ростов, схватил его за руку.

— Вздог! — закричал он так, что жилы, как веревки, надулись у него на шее и лбу. — Я тебе говог'ю, ты с ума сошел, я этого не позволю. Кошелек здесь; спущу шкуг'у с этого мег'завца, и будет здесь.

— Я знаю, кто взял, — повторил Ростов дрожащим голосом и пошел к двери.

— А я тебе говог'ю, не смей этого делать, — закричал Денисов, бросаясь к юнкеру, чтоб удержать его.

Но Ростов вырвал руку и с такою злобой, как будто Денисов был величайший враг его, прямо и твердо устремил на него глаза.

— Ты понимаешь ли, что говоришь? — сказал он дрожащим голосом. — Кроме меня, никого не было в комнате. Стало быть, ежели не то, так...

Он не мог договорить и выбежал из комнаты.

— Ах чег'т с тобою и со всеми, — были последние слова, которые слышал Ростов.

Ростов пришел на квартиру Телянина.

— Барина дома нет, в штаб уехали, — сказал ему денщик Телянина. — Или что случилось? — прибавил денщик, удивляясь на расстроенное лицо юнкера.

— Нет, ничего.

— Немного не застали, — сказал денщик.

Штаб находился в трех верстах от Зальценека. Ростов, не заходя домой, взял лошадь и поехал в штаб. В деревне, занимаемой штабом, был трактир, посещаемый

офицерами. Ростов приехал в трактир; у крыльца он увидал лошадь Телянина.

Во второй комнате трактира сидел поручик за блюдом сосисок и бутылкою вина.

— А, и вы заехали, юноша, — сказал он, улыбаясь и высоко поднимая брови.

— Да, — сказал Ростов, как будто выговорить это слово стоило большого труда, и сел за соседний стол.

Оба молчали; в комнате сидели два немца и один русский офицер. Все молчали, и слышались звуки ножей о тарелки и чавканье поручика. Когда Телянин кончил завтрак, он вынул из кармана двойной кошелек, изогнутыми кверху, маленькими белыми пальцами раздвинул кольца, достал золотой и, приподняв брови, отдал деньги слуге.

— Пожалуйста, поскорее, — сказал он.

Золотой был новый. Ростов встал и подошел к Телянину.

— Позвольте посмотреть мне кошелек,— сказал он тихим, чуть слышным голосом.

С бегающими глазами, но все поднятыми бровями Телянин подал кошелек.

— Да, хорошенький кошелек... Да... да... — сказал он и вдруг побледнел. — Посмотрите, юноша, — прибавил он.

Ростов взял в руки кошелек и посмотрел и на него, и на деньги, которые были в нем, и на Телянина. Поручик оглядывался кругом по своей привычке и, казалось, вдруг стал очень весел.

— Коли будем в Вене, все там оставлю, а теперь и девать некуда в этих дрянных городишках, — сказал он. — Ну, давайте, юноша, я пойду.

Ростов молчал.

— А вы что ж? тоже позавтракать? Порядочно кормят, — продолжал Телянин. — Давайте же.

Он протянул руку и взялся за кошелек. Ростов выпустил его. Телянин взял кошелек и стал опускать его в карман рейтуз, и брови его небрежно поднялись, а рот слегка раскрылся, как будто он говорил: «Да, да, кладу в карман свой кошелек, и это очень просто, и никому до этого дела нет».

— Ну, что, юноша? — сказал он, вздохнув и из-под приподнятых бровей взглянул в глаза Ростова. Какой-то свет глаз с быстротою электрической искры перебежал из

глаз Телянина в глаза Ростова и обратно, обратно и обратно, всё в одно мгновение.

— Подите сюда, — проговорил Ростов, хватая Телянина за руку. Он почти притащил его к окну. — Это деньги Денисова, вы их взяли... — прошептал он ему над ухом.

— Что?.. Что?.. Как вы смеете? Что?.. — проговорил Телянин.

Но эти слова звучали жалобным, отчаянным криком и мольбой о прощении. Как только Ростов услыхал этот звук голоса, с души его свалился огромный камень сомнения. Он почувствовал радость, и в то же мгновение ему стало жалко несчастного, стоявшего перед ним человека; но надо было до конца довести начатое дело.

— Здесь люди бог знает что могут подумать, — бормотал Телянин, схватывая фуражку и направляясь в небольшую пустую комнату, — надо объясниться...

— Я это знаю, и я это докажу, — сказал Ростов.

— Я...

Испуганное, бледное лицо Телянина начало дрожать всеми мускулами; глаза все так же бегали, но где-то внизу, не поднимаясь до лица Ростова, и послышались всхлипыванья.

— Граф!.. не губите... молодого человека... вот эти несчастные... деньги, возьмите их... — Он бросил их на стол. — У меня отец-старик, мать!..

Ростов взял деньги, избегая взгляда Телянина, и, не говоря ни слова, пошел из комнаты. Но у двери он остановился и вернулся назад.

— Боже мой, — сказал он со слезами на глазах, — как вы могли это сделать?

— Граф, — сказал Телянин, приближаясь к юнкеру.

— Не трогайте меня, — проговорил Ростов, отстраняясь. — Ежели вам нужда, возьмите эти деньги. — Он швырнул ему кошелек и выбежал из трактира.

V

Вечером того же дня на квартире Денисова шел оживленный разговор офицеров эскадрона.

— А я говорю вам, Ростов, что вам надо извиниться перед полковым командиром, — говорил, обращаясь к пунцово-красному, взволнованному Ростову, высокий

штаб-ротмистр, с седеющими волосами, огромными усами и крупными чертами морщинистого лица.

Штаб-ротмистр Кирстен был два раза разжалован в солдаты за дела чести и два раза выслуживался.

— Я никому не позволю себе говорить, что я лгу! — вскрикнул Ростов. — Он сказал то, что я лгу, а я сказал ему, что он лжет. Так с тем и останется. На дежурство может меня назначать хоть каждый день и под арест сажать, а извиняться меня никто не заставит, потому что ежели он как полковой командир считает недостойным себя дать мне удовлетворение, так...

— Да вы постойте, батюшка; вы послушайте меня, — перебил штаб-ротмистр своим басистым голосом, спокойно разглаживая свои длинные усы. — Вы при других офицерах говорите полковому командиру, что офицер украл...

— Я не виноват, что разговор зашел при других офицерах. Может быть, не надо было говорить при них, да я не дипломат. Я затем в гусары и пошел, думал, что здесь не нужно тонкостей, а он мне говорит, что я лгу... так пусть даст мне удовлетворение...

— Это все хорошо, никто не думает, что вы трус, да не в том дело. Спросите у Денисова, похоже это на что-нибудь, чтобы юнкер требовал удовлетворения у полкового командира?

Денисов, закусив ус, с мрачным видом слушал разговор, видимо, не желая вступать в него. На вопрос штаб-ротмистра он отрицательно покачал головой.

— Вы при офицерах говорите полковому командиру про эту пакость, — продолжал штаб-ротмистр. — Богданыч (Богданычем называли полкового командира) вас осадил.

— Не осадил, а сказал, что я неправду говорю.

— Ну да, и вы наговорили ему глупостей, и надо извиниться.

— Ни за что! — крикнул Ростов.

— Не думал я этого от вас, — серьезно и строго сказал штаб-ротмистр. — Вы не хотите извиниться, а вы, батюшка, не только перед ним, а перед всем полком, перед всеми нами, вы кругом виноваты. А вот как: кабы вы подумали да посоветовались, как обойтись с этим делом, а то вы прямо, да при офицерах, и бухнули. Что теперь делать полковому командиру? Надо отдать под суд офицера и замарать весь полк? Из-за одного негодяя весь полк осрамить? Так, что ли, по-вашему? А по-нашему, не так. И Богданыч молодец, он вам сказал, что вы неправду

говорите. Неприятно, да что делать, батюшка, сами наскочили. А теперь, как дело хотят замять, так вы из-за фанаберии какой-то не хотите извиниться, а хотите все рассказать. Вам обидно, что вы подежурите, да что вам извиниться перед старым и честным офицером! Какой бы там ни был Богданыч, а все честный и храбрый старый полковник, так вам обидно; а замарать полк вам ничего! — Голос штаб-ротмистра начинал дрожать. — Вы, батюшка, в полку без году неделя; нынче здесь, завтра перешли куда в адъютантики; вам наплевать, что говорить будут: «Между павлоградскими офицерами воры!» А нам не все равно. Так, что ли, Денисов? Не все равно?

Денисов все молчал и не шевелился, изредка взглядывая своими блестящими черными глазами на Ростова.

— Вам своя фанаберия дорога́, извиниться не хочется, — продолжал штаб-ротмистр, — а нам, старикам, как мы выросли, да и умереть, бог даст, приведется в полку, так нам честь полка дорога, и Богданыч это знает. Ох, как дорога, батюшка! А это нехорошо, нехорошо! Там обижайтесь или нет, а я всегда правду-матку скажу. Нехорошо!

И штаб-ротмистр встал и отвернулся от Ростова.

— Пг'авда, чег'т возьми! — закричал, вскакивая, Денисов. — Ну, Г'остов, ну!

Ростов, краснея и бледнея, смотрел то на одного, то на другого офицера.

— Нет, господа, нет... вы не думайте... я очень понимаю, вы напрасно обо мне думаете так... я... для меня... я за честь полка... да что? это на деле я покажу, и для меня честь знамени... ну, все равно, правда, я виноват!.. — Слезы стояли у него в глазах. — Я виноват, кругом виноват!.. Ну, что вам еще?..

— Вот это так, граф, — поворачиваясь, крикнул штаб-ротмистр, ударяя его большою рукою по плечу.

— Я тебе говог'ю, — закричал Денисов, — он малый славный.

— Так-то лучше, граф, — повторил штаб-ротмистр, как будто за его признание начиная величать его титулом. — Подите и извинитесь, ваше сиятельство, да-с.

— Господа, все сделаю, никто от меня слова не услышит, — умоляющим голосом проговорил Ростов, — но извиниться не могу, ей-богу, не могу, как хотите! Как я буду извиняться, точно маленький, прощенья просить?

Денисов засмеялся.

— Вам же хуже. Богданыч злопамятен, поплатитесь за упрямство, — сказал Кирстен.

— Ей-богу, не упрямство! Я не могу вам описать, какое чувство, не могу...

— Ну, ваша воля, — сказал штаб-ротмистр. — Что же, мерзавец-то этот куда делся? — спросил он у Денисова.

— Сказался больным, завтг'а велено пг'иказом исключить, — проговорил Денисов.

— Это болезнь, иначе нельзя объяснить, — сказал штаб-ротмистр.

— Уж там болезнь не болезнь, а не попадайся он мне на глаза — убью! — кровожадно прокричал Денисов.

В комнату вошел Жерков.

— Ты как? — обратились вдруг офицеры к вошедшему.

— Поход, господа. Мак в плен сдался и с армией, совсем.

— Врешь!

— Сам видел.

— Как? Мака живого видел? с руками, с ногами?

— Поход! Поход! Дать ему бутылку за такую новость. Ты как же сюда попал?

— Опять в полк выслали, за черта, за Мака. Австрийский генерал пожаловался. Я его поздравил с приездом Мака... Ты что, Ростов, точно из бани?

— Тут, брат, у нас такая каша второй день.

Вошел полковой адъютант и подтвердил известие, привезенное Жерковым. Назавтра велено было выступать.

— Поход, господа!

— Ну, и слава богу, засиделись.

VI

Кутузов отступил к Вене, уничтожая за собой мосты на реках Инне (в Браунау) и Трауне (в Линце). 23-го октября русские войска переходили реку Энс. Русские обозы, артиллерия и колонны войск в середине дня тянулись через город Энс, по сю и по ту сторону моста.

День был теплый, осенний и дождливый. Пространная перспектива, раскрывавшаяся с возвышения, где стояли русские батареи, защищавшие мост, то вдруг затягивалась кисейным занавесом косого дождя, то вдруг расши-

рялась, и при свете солнца далеко и ясно становились видны предметы, точно покрытые лаком. Виднелся городок под ногами с своими белыми домами и красными крышами, собором и мостом, по обеим сторонам которого, толпясь, лились массы русских войск. Виднелись на повороте Дуная суда, и остров, и замок с парком, окруженный водами впадения Энса в Дунай, виднелся левый скалистый и покрытый сосновым лесом берег Дуная с таинственною далью зеленых вершин и голубеющими ущельями. Виднелись башни монастыря, выдававшегося из-за соснового, казавшегося нетронутым, дикого леса, и далеко впереди на горе, по ту сторону Энса, виднелись разъезды неприятеля.

Между орудиями, на высоте, стояли впереди начальник ариергарда генерал с свитским офицером, рассматривая в трубу местность. Несколько позади сидел на хоботе орудия Несвицкий, посланный от главнокомандующего к ариергарду. Казак, сопутствовавший Несвицкому, подал сумочку и фляжку, и Несвицкий угощал офицеров пирожками и настоящим доппелькюмелем. Офицеры радостно окружали его, кто на коленях, кто сидя по-турецки на мокрой траве.

— Да, не дурак был этот австрийский князь, что тут замок выстроил. Славное место. Что же вы не едите, господа? — говорил Несвицкий.

— Покорно благодарю, князь, — отвечал один из офицеров, с удовольствием разговаривая с таким важным штабным чиновником. — Прекрасное место. Мы мимо самого парка проходили, двух оленей видели, и дом какой чудесный!

— Посмотрите, князь, — сказал другой, которому очень хотелось взять еще пирожок, но совестно было, и который поэтому притворялся, что он оглядывает местность, — посмотрите-ка, уж забрались туда наши пехотные. Вон там, на лужку, за деревней, трое тащат что-то. Они проберут этот дворец, — сказал он с видимым одобрением.

— И то, и то, — сказал Несвицкий. — Нет, а чего бы я желал, — прибавил он, прожевывая пирожок в своем красивом влажном рте, — так это вон туда забраться.

Он указывал на монастырь с башнями, видневшийся на горе. Он улыбнулся, глаза его сузились и засветились.

— А ведь хорошо бы, господа!

Офицеры засмеялись.

— Хоть бы попугать этих монашенок. Итальянки, говорят, есть молоденькие. Право, пять лет жизни отдал бы!

— Им ведь и скучно, — смеясь, сказал офицер, который был посмелее.

Между тем свитский офицер, стоявший впереди, указывал что-то генералу; генерал смотрел в зрительную трубку.

— Ну, так и есть, так и есть, — сердито сказал генерал, опуская трубку от глаз и пожимая плечами, — так и есть, станут бить по переправе. И что они там мешкают?

На той стороне простым глазом виден был неприятель и его батарея, из которой показался молочно-белый дымок. Вслед за дымком раздался дальний выстрел, и видно было, как наши войска заспешили на переправе.

Несвицкий, отдуваясь, поднялся и, улыбаясь, подошел к генералу.

— Не угодно ли закусить вашему превосходительству? — сказал он.

— Нехорошо дело, — сказал генерал, не отвечая ему, — замешкались наши.

— Не съездить ли, ваше превосходительство? — сказал Несвицкий.

— Да, съездите, пожалуйста, — сказал генерал, повторяя то, что уже раз подробно было приказано, — и скажите гусарам, чтоб они последние перешли и зажгли мост, как я приказывал, да чтобы горючие материалы на мосту еще осмотреть.

— Очень хорошо, — отвечал Несвицкий.

Он кликнул казака с лошадью, велел убрать сумочку и фляжку и легко перекинул свое тяжелое тело на седло.

— Право, заеду к монашенкам, — сказал он офицерам, с улыбкою глядевшим на него, и поехал по вьющейся тропинке под гору.

— Ну-тка, куда донесет, капитан, хватите-ка! — сказал генерал, обращаясь к артиллеристу. — Позабавьтесь от скуки.

— Прислуга к орудиям! — скомандовал офицер, и через минуту весело выбежали от костров артиллеристы и зарядили.

— Первое! — послышалась команда.

Бойко отскочил 1-й нумер. Металлически, оглушая, зазвенело орудие, и через головы всех наших под горой, свистя, перелетела граната и, далеко не долетев до не-

приятеля, дымком показала место своего падения и лопнула.

Лица солдат и офицеров повеселели при этом звуке; все поднялись и занялись наблюдениями над видными, как на ладони, движениями внизу наших войск и впереди — движениями приближавшегося неприятеля. Солнце в ту же минуту совсем вышло из-за туч, и этот красивый звук одинокого выстрела и блеск яркого солнца слились в одно бодрое и веселое впечатление.

VII

Над мостом уже пролетели два неприятельские ядра, и на мосту была давка. В средине моста, слезши с лошади, прижатый своим толстым телом к перилам, стоял князь Несвицкий. Он, смеючись, оглядывался назад на своего казака, который с двумя лошадьми в поводу стоял несколько шагов позади его. Только что князь Несвицкий хотел двинуться вперед, как опять солдаты и повозки напирали на него и опять прижимали его к перилам, и ему ничего не оставалось, как улыбаться.

— Экой ты, братец мой! — говорил казак фурштатскому солдату с повозкой, напиравшему на толпившуюся у самых колес и лошадей пехоту, — экой ты! Нет, чтобы подождать: видишь, генералу проехать.

Но фурштат, не обращая внимания на наименование генерала, кричал на солдат, запружавших ему дорогу:

— Эй! землячки! держись влево, постой!

Но землячки, теснясь плечо с плечом, цепляясь штыками и не прерываясь, двигались по мосту одною сплошною массой. Поглядев за перила вниз, князь Несвицкий видел быстрые, шумные, невысокие волны Энса, которые, сливаясь, рябея и загибаясь около свай моста, перегоняли одна другую. Поглядев на мост, он видел столь же однообразные живые волны солдат, кутасы, кивера с чехлами, ранцы, штыки, длинные ружья и из-под киверов лица с широкими скулами, ввалившимися щеками и беззаботно-усталыми выражениями и движущиеся ноги по натасканной на доски моста липкой грязи. Иногда между однообразными волнами солдат, как взбрызг белой пены в волнах Энса, протискивался офицер в плаще, с своею отличною от солдат физиономией; иногда, как щепка, вьющаяся по реке, уносился по мосту волнами пехоты пеший

гусар, денщик или житель; иногда, как бревно, плывущее по реке, окруженная со всех сторон, проплывала по мосту ротная или офицерская, наложенная доверху и прикрытая кожами, повозка.

— Вишь, их, как плотину, прорвало, — безнадежно останавливаясь, говорил казак. — Много ль вас еще там?

— Мельон без одного! — подмигивая, говорил близко проходивший в прорванной шинели веселый солдат и скрывался; за ним проходил другой, старый солдат.

— Как *он* (*он* — неприятель) таперича по мосту примется зажаривать, — говорил мрачно старый солдат, обращаясь к товарищу, — забудешь чесаться.

И солдат проходил. За ним другой солдат ехал на повозке.

— Куда, черт, подвертки запихал? — говорил денщик, бегом следуя за повозкой и шаря в задке.

И этот проходил с повозкой.

За этим шли веселые и, видимо, выпившие солдаты.

— Как он его, милый человек, полыхнет прикладом-то в самые зубы... — радостно говорил один солдат в высоко подоткнутой шинели, широко размахивая рукой.

— То-то оно, сладкая ветчина-то, — отвечал другой с хохотом.

И они прошли, так что Несвицкий не узнал, кого ударили в зубы и к чему относилась ветчина.

— Эк торопятся! Что *он* холодную пустил, так и думаешь, всех перебьют, — говорил унтер-офицер сердито и укоризненно.

— Как она пролетит мимо меня, дяденька, ядро-то, — говорил, едва удерживаясь от смеха, с огромным ртом молодой солдат, — я так и обмер. Право, ей-богу, так испужался, беда! — говорил этот солдат, как будто хвастаясь тем, что он испугался.

И этот проходил. За ним следовала повозка, непохожая на все проезжавшие до сих пор. Это был немецкий форшпан на паре, нагруженный, казалось, целым домом; за форшпаном, который вез немец, привязана была красивая, пестрая, с огромным вымем, корова. На перинах сидела женщина с грудным ребенком, старуха и молодая, багрово-румяная, здоровая девушка-немка. Видно, по особому разрешению были пропущены эти выселявшиеся жители. Глаза всех солдат обратились на женщин, и, пока проезжала повозка, двигаясь шаг за шагом, все замечания солдат относились только к двум женщинам. На всех

лицах была почти одна и та же улыбка непристойных мыслей об этой женщине.

— Ишь, колбаса-то, тоже убирается!

— Продай матушку, — ударяя на последнем слоге, говорил другой солдат, обращаясь к немцу, который, опустив глаза, сердито и испуганно шел широким шагом.

— Эк убралась как! То-то черти!

— Вот бы тебе к ним стоять, Федотов!

— Видали, брат!

— Куда вы? — спрашивал пехотный офицер, евший яблоко, тоже полуулыбаясь и глядя на красивую девушку.

Немец, закрыв глаза, показывал, что не понимает.

— Хочешь, возьми себе, — говорил офицер, подавая девушке яблоко.

Девушка улыбнулась и взяла. Несвицкий, как и все бывшие на мосту, не спускал глаз с женщин, пока они не проехали. Когда они проехали, опять шли такие же солдаты, с такими же разговорами, и, наконец, все остановились. Как это часто бывает, на выезде моста замялись лошади в ротной повозке, и вся толпа должна была ждать.

— И что становятся? Порядку-то нет! — говорили солдаты. — Куда прешь? Черт! Нет того, чтобы подождать. Хуже того будет, как *он* мост подожжет. Вишь, и офицера-то приперли, — говорили с разных сторон остановившиеся толпы, оглядывая друг друга, и всё жались вперед к выходу.

Оглянувшись под мост на воды Энса, Несвицкий вдруг услышал еще новый для него звук, быстро приближающегося... чего-то большого и чего-то шлепнувшегося в воду.

— Ишь ты, куда фатает! — строго сказал близко стоявший солдат, оглядываясь на звук.

— Подбадривает, чтобы скорей проходили, — сказал другой неспокойно.

Толпа опять тронулась. Несвицкий понял, что это было ядро.

— Эй, казак, подавай лошадь! — сказал он. — Ну, вы! сторонись, посторонись! дорогу!

Он с большим усилием добрался до лошади. Не переставая кричать, он тронулся вперед. Солдаты пожались, чтобы дать ему дорогу, но снова опять нажали на него так, что отдавили ему ногу, и ближайшие не были виноваты, потому что их давили еще сильнее.

— Несвицкий! Несвицкий! Ты, г'ожа! — послышался в это время сзади хриплый голос.

Несвицкий оглянулся и увидал в пятнадцати шагах отделенного от него живою массой двигающейся пехоты красного, черного, лохматого, в фуражке на затылке и в молодецки накинутом на плече ментике Ваську Денисова.

— Вели ты им, чег'тям, дьяволам, дать дог'огу, — кричал Денисов, видимо, находясь в припадке горячности, блестя и поводя своими черными, как уголь, глазами в воспаленных белках и махая не вынутою из ножен саблей, которую он держал такой же красной, как и лицо, голой маленькой рукой.

— Э! Вася! — отвечал радостно Несвицкий. — Да ты что?

— Эскадг'ону пг'ойти нельзя, — кричал Васька Денисов, злобно открывая белые зубы, шпоря своего красивого вороного Бедуина, который, мигая ушами от штыков, на которые он натыкался, фыркая, брызгая вокруг себя пеной с мундштука, звеня, бил копытами по доскам моста и, казалось, готов был перепрыгнуть через перила моста, ежели бы ему позволил седок.

— Что это? как баг'аны! точь-в-точь баг'аны! Пг'очь... дай дог'огу!.. Стой там! ты, повозка, чег'т! Саблей изг'ублю! — кричал он, действительно вынимая наголо саблю и начиная махать ею.

Солдаты с испуганными лицами нажались друг на друга, и Денисов присоединился к Несвицкому.

— Что же ты не пьян нынче? — сказал Несвицкий Денисову, когда он подъехал к нему.

— И напиться-то вг'емени не дадут! — отвечал Васька Денисов. — Целый день то туда, то сюда таскают полк. Дг'аться — так дг'аться. А то чег'т знает что такое!

— Каким ты щеголем нынче! — оглядывая его новый ментик и вальтрап, сказал Несвицкий.

Денисов улыбнулся, достал из ташки платок, распространявший запах духов, и сунул в нос Несвицкому.

— Нельзя, в дело иду! выбг'ился, зубы вычистил и надушился.

Осанистая фигура Несвицкого, сопровождаемая казаком, и решительность Денисова, махавшего саблей и отчаянно кричавшего, подействовали так, что они протискались на ту сторону моста и остановили пехоту. Несвицкий нашел у выезда полковника, которому ему надо было

передать приказание, и, исполнив свое поручение, поехал назад.

Расчистив дорогу, Денисов остановился у входа на мост. Небрежно сдерживая рвавшегося к своим и бившего ногой жеребца, он смотрел на двигавшийся ему навстречу эскадрон. По доскам моста раздались прозрачные звуки копыт, как будто скакало несколько лошадей, и эскадрон, с офицерами впереди, по четыре человека в ряд, растянулся по мосту и стал выходить на ту сторону.

Остановленные пехотные солдаты, толпясь в растоптанной у моста грязи, с тем особенным недоброжелательным чувством отчужденности и насмешки, с каким встречаются обыкновенно различные роды войск, смотрели на чистых, щеголеватых гусар, стройно проходивших мимо них.

— Нарядные ребята! Только бы на Подновинское!

— Что от них проку! Только напоказ и водят! — говорил другой.

— Пехота, не пыли! — шутил гусар, под которым лошадь, заиграв, брызнула грязью в пехотинца.

— Прогонял бы тебя с ранцем перехода два, шнурки-то бы повытерлись, — обтирая рукавом грязь с лица, говорил пехотинец, — а то не человек, а птица сидит!

— То-то бы тебя, Зикин, на коня посадить, ловок бы ты был, — шутил ефрейтор над худым, скрюченным от тяжести ранца солдатиком.

— Дубинку промеж ног возьми, вот тебе и конь буде, — отозвался гусар.

VIII

Остальная пехота поспешно проходила по мосту, спираясь воронкой у входа. Наконец повозки все прошли, давка стала меньше, и последний батальон вступил на мост. Одни гусары эскадрона Денисова оставались по ту сторону моста против неприятеля. Неприятель, вдалеке видный с противоположной горы, снизу, от моста, не был еще виден, так как из лощины, по которой текла река, горизонт оканчивался противоположным возвышением не дальше полуверсты. Впереди была пустыня, по которой кое-где шевелились кучки наших разъездных казаков. Вдруг на противоположном возвышении дороги показались войска в синих капотах и артиллерия. Это были

французы. Разъезд казаков рысью отошел под гору. Все офицеры и люди эскадрона Денисова, хотя и старались говорить о постороннем и смотреть по сторонам, не переставали думать только о том, что было там, на горе, и беспрестанно всё вглядывались в выходившие на горизонт пятна, которые они признавали за неприятельские войска. Погода после полудня опять прояснилась, солнце ярко спускалось над Дунаем и окружающими его темными горами. Было тихо, и с той горы изредка долетали звуки рожков и криков неприятеля. Между эскадроном и неприятелями уже никого не было, кроме мелких разъездов. Пустое пространство, сажен в триста, отделяло их от него. Неприятель перестал стрелять, и тем яснее чувствовалась та строгая, грозная, неприступная и неуловимая черта, которая разделяет два неприятельские войска.

«Один шаг за эту черту, напоминающую черту, отделяющую живых от мертвых, и — неизвестность, страдания и смерть. И что там? кто там? там, за этим полем, и деревом, и крышей, освещенной солнцем? Никто не знает, и хочется знать; и страшно перейти эту черту, и хочется перейти ее; и знаешь, что рано или поздно придется перейти ее и узнать, что там, по той стороне черты, как и неизбежно узнать, что там, по ту сторону смерти. А сам силен, здоров, весел и раздражен и окружен такими здоровыми и раздраженно-оживленными людьми». Так ежели и не думает, то чувствует всякий человек, находящийся в виду неприятеля, и чувство это придает особенный блеск и радостную резкость впечатлений всему происходящему в эти минуты.

На бугре у неприятеля показался дымок выстрела, и ядро, свистя, пролетело над головами гусарского эскадрона. Офицеры, стоявшие вместе, разъехались по местам. Гусары старательно стали выравнивать лошадей. В эскадроне все замолкло. Все поглядывали вперед на неприятеля и на эскадронного командира, ожидая команды. Пролетело другое, третье ядро. Очевидно, что стреляли по гусарам; но ядро, равномерно-быстро свистя, пролетало над головами гусар и ударялось где-то сзади. Гусары не оглядывались, но при каждом звуке пролетающего ядра, будто по команде, весь эскадрон с своими однообразно-разнообразными лицами, сдерживая дыханье, пока летело ядро, приподнимался на стременах и снова опускался. Солдаты, не поворачивая головы, косились друг на друга,

с любопытством высматривая впечатление товарища. На каждом лице, от Денисова до горниста, показалась около губ и подбородка одна общая черта борьбы раздраженности и волнения. Вахмистр хмурился, оглядывая солдат, как будто угрожая наказанием. Юнкер Миронов нагибался при каждом пролете ядра. Ростов, стоя на левом фланге, на своем тронутом ногами, но видном Грачике, имел счастливый вид ученика, вызванного перед большою публикой к экзамену, в котором он уверен, что отличится. Он ясно и светло оглядывался на всех, как бы прося обратить внимание на то, как он спокойно стоит под ядрами. Но и в его лице та же черта чего-то нового и строгого, против его воли, показывалась около рта.

— Кто там кланяется? Юнке'г Миг'онов! Нехог'ошо, на меня смотг'ите! — закричал Денисов, которому не стоялось на месте и который вертелся на лошади перед эскадроном.

Курносое и черноволосатое лицо Васьки Денисова и вся его маленькая сбитая фугурка с его жилистою (с короткими пальцами, покрытыми волосами) кистью руки, в которой он держал эфес вынутой наголо сабли, было точно такое же, как и всегда, особенно к вечеру, после выпитых двух бутылок. Он был только более обыкновенного красен и, задрав свою мохнатую голову кверху, как птицы, когда они пьют, безжалостно вдавив своими маленькими ногами шпоры в бока доброго Бедуина, он, будто падая назад, поскакал к другому флангу эскадрона и хриплым голосом закричал, чтоб осмотрели пистолеты. Он подъехал к Кирстену. Штаб-ротмистр на широкой и степенной кобыле шагом ехал навстречу Денисову. Штаб-ротмистр, с своими длинными усами, был серьезен, как и всегда, только глаза его блестели больше обыкновенного.

— Да что? — сказал он Денисову. — Не дойдет дело до драки. Вот увидишь, назад уйдем.

— Чег'т их знает, что делают! — проворчал Денисов. — А! Г'остов! — крикнул он юнкеру, заметив его веселое лицо. — Ну, дождался.

И он улыбнулся одобрительно, видимо, радуясь на юнкера. Ростов почувствовал себя совершенно счастливым. В это время начальник показался на мосту. Денисов поскакал к нему.

— Ваше пг'евосходительство! позвольте атаковать! я их опг'окину.

— Какие тут атаки, — сказал начальник скучливым голосом, морщась, как от докучливой мухи. — И зачем вы тут стоите? Видите, фланкеры отступают. Ведите назад эскадрон.

Эскадрон перешел мост и вышел из-под выстрелов, не потеряв ни одного человека. Вслед за ним перешел и второй эскадрон, бывший в цепи, и последние казаки очистили ту сторону.

Два эскадрона павлоградцев, перейдя мост, один за другим пошли назад на гору. Полковой командир Карл Богданович Шуберт подъехал к эскадрону Денисова и ехал шагом недалеко от Ростова, не обращая на него никакого внимания, несмотря на то, что после бывшего столкновения за Телянина они виделись теперь в первый раз. Ростов, чувствуя себя во фронте во власти человека, перед которым он теперь считал себя виноватым, не спускал глаз с атлетической спины, белокурого затылка и красной шеи полкового командира. Ростову то казалось, что Богданыч только притворяется невнимательным и что вся цель его теперь состоит в том, чтобы испытать храбрость юнкера, и он выпрямлялся и весело оглядывался; то ему казалось, что Богданыч нарочно едет близко, чтобы показать Ростову свою храбрость. То ему думалось, что враг его теперь нарочно пошлет эскадрон в отчаянную атаку, чтобы наказать его, Ростова. То думалось, что после атаки он подойдет к нему и великодушно протянет ему, раненому, руку примирения.

Знакомая павлоградцам, с высоко поднятыми плечами, фигура Жеркова (он недавно выбыл из их полка) подъехала к полковому командиру. Жерков после своего изгнания из главного штаба не остался в полку, говоря, что он не дурак во фронте лямку тянуть, когда он при штабе, ничего не делая, получит наград больше, и умел пристроиться ординарцем к князю Багратиону. Он приехал к своему бывшему начальнику с приказанием от начальника ариергарда.

— Полковник, — сказал он с своею мрачною серьезностью, обращаясь ко врагу Ростова и оглядывая товарищей, — велено остановиться, мост зажечь.

— Кто велено? — угрюмо спросил полковник.

— Уж я и не знаю, полковник, *кто велено,* — серьезно отвечал корнет, — но только мне князь приказал: «Поезжай и скажи полковнику, чтобы гусары вернулись скорей и зажгли бы мост».

Вслед за Жерковым к гусарскому полковнику подъехал свитский офицер с тем же приказанием. Вслед за свитским офицером на казачьей лошади, которая насилу несла его галопом, подъехал толстый Несвицкий.

— Как же, полковник, — кричал он еще на езде, — я вам говорил мост зажечь, а теперь кто-то переврал; там все с ума сходят, ничего не разберешь.

Полковник неторопливо остановил полк и обратился к Несвицкому.

— Вы мне говорили про горючие вещества, — сказал он, — а про то, чтобы зажигать, вы мне ничего не говорили.

— Да как же, батюшка, — заговорил, остановившись, Несвицкий, снимая фуражку и расправляя пухлою рукой мокрые от пота волосы, — как же не говорил, что мост зажечь, когда горючие вещества положили?

— Я вам не «батюшка», господин штаб-офицер, а вы мне не говорили, чтоб мост зажигайт! Я служба знаю, и мне в привычка приказание строго исполняйт. Вы сказали, мост зажгут, а кто зажгут, я святым духом не могу знайт...

— Ну, вот всегда так, — махнув рукой, сказал Несвицкий. — Ты как здесь? — обратился он к Жеркову.

— Да за тем же. Однако ты отсырел, дай я тебя выжму.

— Вы сказали, господин штаб-офицер... — продолжал полковник обиженным тоном.

— Полковник, — перебил свитский офицер, — надо торопиться, а то неприятель пододвинет орудия на картечный выстрел.

Полковник молча посмотрел на свитского офицера, на толстого штаб-офицера, на Жеркова и нахмурился.

— Я буду мост зажигайт, — сказал он торжественным тоном, как будто бы выражал этим, что, несмотря на все делаемые ему неприятности, он все-таки сделает то, что должно.

Ударив своими длинными мускулистыми ногами лошадь, как будто она была во всем виновата, полковник выдвинулся вперед и 2-му эскадрону, тому самому, в котором служил Ростов под командою Денисова, скомандовал вернуться назад к мосту.

«Ну, так и есть, — подумал Ростов, — он хочет испытать меня!» Сердце его сжалось, и кровь бросилась к лицу. «Пускай посмотрит, трус ли я», — подумал он.

Опять на всех веселых лицах людей эскадрона появилась та серьезная черта, которая была на них в то время, как они стояли под ядрами. Ростов, не спуская глаз, смотрел на своего врага, полкового командира, желая найти на его лице подтверждение своих догадок; но полковник ни разу не взглянул на Ростова, а смотрел, как всегда во фронте, строго и торжественно. Послышалась команда.

— Живо! Живо! — проговорило около него несколько голосов.

Цепляясь саблями за поводья, гремя шпорами и торопясь, слезали гусары, сами не зная, что они будут делать. Гусары крестились. Ростов уже не смотрел на полкового командира, — ему некогда было. Он боялся, с замиранием сердца боялся, как бы ему не отстать от гусар. Рука его дрожала, когда он передавал лошадь коноводу, и он чувствовал, как со стуком приливает кровь к его сердцу. Денисов, заваливаясь назад и крича что-то, проехал мимо него. Ростов ничего не видел, кроме бежавших вокруг него гусар, цеплявшихся шпорами и бренчавших саблями.

— Носилки! — крикнул чей-то голос сзади.

Ростов не подумал о том, что значит требование носилок; он бежал, стараясь только быть впереди всех; но у самого моста он, не смотря под ноги, попал в вязкую, растоптанную грязь и, споткнувшись, упал на руки. Его обежали другие.

— По *обоий* сторона, ротмистр, — послышался ему голос полкового командира, который, заехав вперед, стал верхом недалеко от моста с торжествующим и веселым лицом.

Ростов, обтирая испачканные руки о рейтузы, оглянулся на своего врага и хотел бежать дальше, полагая, что чем он дальше уйдет вперед, тем будет лучше. Но Богданыч, хотя и не глядел и не узнал Ростова, крикнул на него.

— Кто посредине моста бежит? На права сторона! Юнкер, назад! — сердито закричал он и обратился к Денисову, который, щеголяя храбростью, въехал верхом на доски моста.

— Зачем рисковайт, ротмистр! Вы бы слезали, — сказал полковник.

— Э! виноватого найдет, — отвечал Васька Денисов, поворачиваясь на седле.

Между тем Несвицкий, Жерков и свитский офицер стояли вместе вне выстрелов и смотрели то на эту небольшую кучку людей в желтых киверах, темно-зеленых куртках, расшитых снурками, и синих рейтузах, копошившихся у моста, то на ту сторону, на приближавшиеся вдалеке синие капоты и группы с лошадьми, которые легко можно было признать за орудия.

«Зажгут или не зажгут мост? Кто прежде? Они добегут и зажгут мост, или французы подъедут на картечный выстрел и перебьют их?» Эти вопросы с замиранием сердца невольно задавал себе каждый из того большого количества войск, которые стояли над мостом и при ярком вечернем свете смотрели на мост и гусаров и на ту сторону, на подвигавшиеся синие капоты со штыками и орудиями.

— Ох! достанется гусарам! — говорил Несвицкий. — Не дальше картечного выстрела теперь.

— Напрасно он так много людей повел, — сказал свитский офицер.

— И в самом деле, — сказал Несвицкий. — Тут бы двух молодцов послать, все равно бы.

— Ах, ваше сиятельство, — вмешался Жерков, не спуская глаз с гусар, но все с своею наивною манерой, из-за которой нельзя было догадаться, серьезно ли, что он говорит, или нет. — Ах, ваше сиятельство! Как вы судите! Двух человек послать, а нам-то кто же Владимира с бантом даст? А так-то хоть и поколотят, да можно эскадрон представить и самому бантик получить. Наш Богданыч порядки знает.

— Ну, — сказал свитский офицер, — это картечь!

Он показал на французские орудия, которые снимались с передков и поспешно отъезжали.

На французской стороне, в тех группах, где были орудия, показался дымок, другой, третий, почти в одно время, и в ту минуту, как долетел звук первого выстрела, показался четвертый. Два звука один за другим, и третий.

— О, ох! — охнул Несвицкий, как будто от жгучей боли, хватая за руку свитского офицера. — Посмотрите, упал один, упал, упал!

— Два, кажется?

— Был бы я царь, никогда бы не воевал, — сказал Несвицкий, отворачиваясь.

Французские орудия опять поспешно заряжали. Пехота в синих капотах бегом двинулась к мосту. Опять, но в разных промежутках, показались дымки и защелкала и затрещала картечь по мосту. Но в этот раз Несвицкий не мог видеть того, что делалось на мосту. С моста поднялся густой дым. Гусары успели зажечь мост, и французские батареи стреляли по ним уже не для того, чтобы помешать, а для того, что орудия были наведены и было по ком стрелять.

Французы успели сделать три картечные выстрела, прежде чем гусары вернулись к коноводам. Два залпа были сделаны неверно, и картечь всю перенесло, но зато последний выстрел попал в середину кучки гусар и повалил троих.

Ростов, озабоченный своими отношениями к Богданычу, остановился на мосту, не зная, что ему делать. Рубить (как он всегда воображал себе сражение) было некого, помогать в зажжении моста он тоже не мог, потому что не взял с собою, как другие солдаты, жгута соломы. Он стоял и оглядывался, как вдруг затрещало по мосту, будто рассыпанные орехи, и один из гусар, ближе всех бывший от него, со стоном упал на перилы. Ростов подбежал к нему вместе с другими. Опять закричал кто-то: «Носилки!» Гусара подхватили четыре человека и стали поднимать.

— Оооо!.. Бросьте, ради Христа, — закричал раненый; но его все-таки подняли и положили.

Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая чего-то, стал смотреть на даль, на воду Дуная, на небо, на солнце! Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! Как ярко и торжественно опускающееся солнце! Как ласково-глянцевито блестела вода в далеком Дунае! И еще лучше были далекие, голубеющие за Дунаем горы, монастырь, таинственные ущелья, залитые до макуш туманом сосновые леса... там тихо, счастливо... «Ничего, ничего бы я не желал, ничего бы не желал, ежели бы я только был там, — думал Ростов. — Во мне одном и в этом солнце так много счастия, а тут... стоны, страдания, страх и эта неясность, эта поспешность... Вот опять кричат что-то, и опять все побежали куда-то назад, и я бегу с ними, и вот она, вот она, смерть, надо мной, вокруг меня... Мгновенье — и я никогда уже не увижу этого солнца, этой воды, этого ущелья...»

В эту минуту солнце стало скрываться за тучами; впереди Ростова показались другие носилки. И страх смерти и носилок, и любовь к солнцу и жизни — все слилось в одно болезненно-тревожное впечатление.

«Господи боже! Тот, кто там в этом небе, спаси, прости и защити меня!» — прошептал про себя Ростов.

Гусары подбежали к коноводам, голоса стали громче и спокойнее, носилки скрылись из глаз.

— Что, бг'ат, понюхал пог'оху?.. — прокричал ему над ухом голос Васьки Денисова.

«Все кончилось; но я трус, да, я трус», — подумал Ростов и, тяжело вздыхая, взял из рук коновода своего отставившего ногу Грачика и стал садиться.

— Что это было, картечь? — спросил он у Денисова.

— Да еще какая! — прокричал Денисов. — Молодцами г'аботали! А г'абота скверг'ная! Атака — любезное дело, г'убай в пёси, а тут чег'т знает что, бьют как в мишень.

И Денисов отъехал к остановившейся недалеко от Ростова группе: полкового командира, Несвицкого, Жеркова и свитского офицера.

«Однако, кажется, никто не заметил», — думал про себя Ростов. И действительно, никто ничего не заметил, потому что каждому было знакомо то чувство, которое испытал в первый раз необстрелянный юнкер.

— Вот вам реляция и будет, — сказал Жерков, — глядишь, и меня в подпоручики произведут.

— Доложите кнезу, что я мост зажигал, — сказал полковник торжественно и весело.

— А коли про потерю спросят?

— Пустячок! — пробасил полковник, — два гусара ранено, и один *наповал,* — сказал он с видимою радостью, не в силах удержаться от счастливой улыбки, звучно отрубая красивое слово *наповал.*

IX

Преследуемая стотысячною французскою армией под начальством Бонапарта, встречаемая враждебно расположенными жителями, не доверяя более своим союзникам, испытывая недостаток продовольствия и принужденная действовать вне всех предвиденных условий войны, русская тридцатипятитысячная армия, под начальством Кутузова, поспешно отступала вниз по Дунаю,

останавливаясь там, где она бывала настигнута неприятелем, и отбиваясь ариергардными делами, лишь насколько это было нужно для того, чтоб отступать, не теряя тяжестей. Были дела при Ламбахе, Амштетене и Мельке; но, несмотря на храбрость и стойкость, признаваемую самим неприятелем, с которою дрались русские, последствием этих дел было только еще быстрейшее отступление. Австрийские войска, избежавшие плена под Ульмом и присоединившиеся к Кутузову у Браунау, отделились теперь от русской армии, и Кутузов был предоставлен только своим слабым, истощенным силам. Защищать более Вену нельзя было и думать. Вместо наступательной, глубоко обдуманной, по законам новой науки — стратегии, войны, план которой был передан Кутузову в его бытность в Вене австрийским гофкригсратом, единственная, почти недостижимая цель, представлявшаяся теперь Кутузову, состояла в том, чтобы, не погубив армии, подобно Маку под Ульмом, соединиться с войсками, шедшими из России.

28-го октября Кутузов с армией перешел на левый берег Дуная и в первый раз остановился, положив Дунай между собой и главными силами французов. 30-го он атаковал находившуюся на левом берегу Дуная дивизию Мортье и разбил ее. В этом деле в первый раз взяты трофеи: знамя, орудия и два неприятельские генерала. В первый раз после двухнедельного отступления русские войска остановились и после борьбы не только удержали поле сражения, но прогнали французов. Несмотря на то, что войска были раздеты, изнурены, на одну треть ослаблены отсталыми, ранеными, убитыми и больными; несмотря на то, что на той стороне Дуная были оставлены больные и раненые с письмом Кутузова, поручавшим их человеколюбию неприятеля; несмотря на то, что большие госпитали и дома в Кремсе, обращенные в лазареты, не могли уже вмещать в себе всех больных и раненых, — несмотря на все это, остановка при Кремсе и победа над Мортье значительно подняли дух войска. Во всей армии и в главной квартире ходили самые радостные, хотя и несправедливые слухи о мнимом приближении колонн из России, о какой-то победе, одержанной австрийцами, и об отступлении испуганного Бонапарта.

Князь Андрей находился во время сражения при убитом в этом деле австрийском генерале Шмите. Под ним была ранена лошадь, и сам он был слегка оцарапан

в руку пулей. В знак особой милости главнокомандующего он был послан с известием об этой победе к австрийскому двору, находившемуся уже не в Вене, которой угрожали французские войска, а в Брюнне. В ночь сражения, взволнованный, но не усталый (несмотря на свое несильное на вид сложение, князь Андрей мог переносить физическую усталость гораздо лучше самых сильных людей), верхом приехав с донесением от Дохтурова в Кремс к Кутузову, князь Андрей был в ту же ночь отправлен курьером в Брюнн. Отправление курьером, кроме наград, означало важный шаг к повышению.

Ночь была темная, звездная; дорога чернелась между белевшим снегом, выпавшим накануне, в день сражения. То перебирая впечатления прошедшего сражения, то радостно воображая впечатление, которое он произведет известием о победе, вспоминая проводы главнокомандующего и товарищей, князь Андрей скакал в почтовой бричке, испытывая чувство человека, долго ждавшего и, наконец, достигшего начала желаемого счастия. Как скоро он закрывал глаза, в ушах его раздавалась пальба ружей и орудий, которая сливалась со стуком колес и впечатлением победы. То ему начинало представляться, что русские бегут, что он сам убит; но он поспешно просыпался, со счастием как будто вновь узнавал, что ничего этого не было и что, напротив, французы бежали. Он снова вспоминал все подробности победы, свое спокойное мужество во время сражения и, успокоившись, задремывал... После темной звездной ночи наступило яркое, веселое утро. Снег таял на солнце, лошади быстро скакали, и безразлично вправе и влеве проходили новые разнообразные леса, поля, деревни.

На одной из станций он обогнал обоз русских раненых. Русский офицер, ведший транспорт, развалясь на передней телеге, что-то кричал, ругая грубыми словами солдата. В длинных немецких форшпанах тряслось по каменистой дороге по шести и более бледных, перевязанных и грязных раненых. Некоторые из них говорили (он слышал русский говор), другие ели хлеб, самые тяжелые, молча, с кротким и болезненным детским участием, смотрели на скачущего мимо их курьера.

Князь Андрей велел остановиться и спросил у солдата, в каком деле ранены.

— Позавчера на Дунаю, — отвечал солдат. Князь Андрей достал кошелек и дал солдату три золотых.

— На всех, — прибавил он, обращаясь к подошедшему офицеру. — Поправляйтесь, ребята, — обратился он к солдатам, — еще дела много.

— Что, господин адъютант, какие новости? — спросил офицер, видимо, желая разговориться.

— Хорошие! Вперед, — крикнул он ямщику и поскакал далее.

Уже было совсем темно, когда князь Андрей въехал в Брюнн и увидал себя окруженным высокими домами, огнями лавок, окон домов и фонарей, шумящими по мостовой красивыми экипажами и всею тою атмосферой большого оживленного города, которая всегда так привлекательна для военного человека после лагеря. Князь Андрей, несмотря на быструю езду и бессонную ночь, подъезжая ко дворцу, чувствовал себя еще более оживленным, чем накануне. Только глаза блестели лихорадочным блеском и мысли сменялись с чрезвычайною быстротой и ясностью. Живо представились ему опять все подробности сражения уже не смутно, но определенно, в сжатом изложении, которое он в воображении делал императору Францу. Живо представились ему случайные вопросы, которые могли быть ему сделаны, и те ответы, которые он сделает на них. Он полагал, что его сейчас же представят императору. Но у большого подъезда дворца к нему выбежал чиновник и, узнав в нем курьера, проводил его на другой подъезд.

— Из коридора направо; там, Euer Hochgeboren [1], найдете дежурного флигель-адъютанта, — сказал ему чиновник. — Он проводит к военному министру.

Дежурный флигель-адъютант, встретивший князя Андрея, попросил его подождать и пошел к военному министру. Через пять минут флигель-адъютант вернулся и, особенно учтиво наклонясь и пропуская князя Андрея вперед себя, провел его через коридор в кабинет, где занимался военный министр. Флигель-адъютант своею изысканной учтивостью, казалось, хотел оградить себя от попыток фамильярности русского адъютанта. Радостное чувство князя Андрея значительно ослабело, когда он подходил к двери кабинета военного министра. Он почувствовал себя оскорбленным, и чувство оскорбления перешло в то же мгновение незаметно для него самого в чувство презрения, ни на чем не основанного. Находчивый

---

[1] ваше высокоблагородие *(нем.)*

же ум в то же мгновение подсказал ему ту точку зрения, с которой он имел право презирать и адъютанта, и военного министра. «Им, должно быть, очень легко покажется одерживать победы, не нюхая пороха!» — подумал он. Глаза его презрительно прищурились; он особенно медленно вошел в кабинет военного министра. Чувство это еще более усилилось, когда он увидал военного министра, сидевшего над большим столом и в первые две минуты не обращавшего внимания на вошедшего. Военный министр опустил свою лысую, с седыми висками, голову между двух восковых свечей и читал, отмечая карандашом, бумаги. Он дочитывал, не поднимая головы, в то время как отворилась дверь и послышались шаги.

— Возьмите это и передайте, — сказал военный министр своему адъютанту, подавая бумаги и не обращая еще внимания на курьера.

Князь Андрей почувствовал, что либо из всех дел, занимавших военного министра, действия кутузовской армии менее всего могли его интересовать, либо нужно было это дать почувствовать русскому курьеру. «Но мне это совершенно все равно», — подумал он. Военный министр сдвинул остальные бумаги, сравнял их края с краями и поднял голову. У него была умная и характерная голова. Но в то же мгновение, как он обратился к князю Андрею, умное и твердое выражение лица военного министра, видимо, привычно и сознательно изменилось: на лице его остановилась глупая, притворная, не скрывающая своего притворства, улыбка человека, принимающего одного за другим много просителей.

— От генерал-фельдмаршала Кутузова? — спросил он. — Надеюсь, хорошие вести? Было столкновение с Мортье? Победа? Пора!

Он взял депешу, которая была на его имя, и стал читать ее с грустным выражением.

— Ах, боже мой! Боже мой! Шмит! — сказал он по-немецки. — Какое несчастие, какое несчастие!

Пробежав депешу, он положил ее на стол и взглянул на князя Андрея, видимо, что-то соображая.

— Ах, какое несчастие! Дело, вы говорите, решительное? Мортье не взят, однако. (Он подумал.) Очень рад, что вы привезли хорошие вести, хотя смерть Шмита есть дорогая плата за победу. Его величество, верно, пожелает вас видеть, но не нынче. Благодарю вас, отдохните. Завтра будьте на выходе после парада. Впрочем, я вам дам знать.

Исчезнувшая во время разговора глупая улыбка опять явилась на лице военного министра.

— До свиданья, очень благодарю вас. Государь император, вероятно, пожелает вас видеть, — повторил он и наклонил голову.

Когда князь Андрей вышел из дворца, он почувствовал, что весь интерес и счастие, доставленные ему победой, оставлены им теперь и переданы в равнодушные руки военного министра и учтивого адъютанта. Весь склад мыслей его мгновенно изменился: сражение представилось ему давнишним, далеким воспоминанием.

X

Князь Андрей остановился в Брюнне у своего знакомого, русского дипломата Билибина.

— А, милый князь, нет приятнее гостя, — сказал Билибин, выходя навстречу князю Андрею. — Франц, в мою спальню вещи князя! — обратился он к слуге, провожавшему Болконского. — Что, вестником победы? Прекрасно. А я сижу больной, как видите.

Князь Андрей, умывшись и одевшись, вышел в роскошный кабинет дипломата и сел за приготовленный обед. Билибин покойно уселся у камина.

Князь Андрей не только после своего путешествия, но и после всего похода, во время которого он был лишен всех удобств чистоты и изящности жизни, испытывал приятное чувство отдыха среди тех роскошных условий жизни, к которым он привык с детства. Кроме того, ему было приятно после австрийского приема поговорить хоть не по-русски (они говорили по-французски), но с русским человеком, который, он предполагал, разделял общее русское отвращение (теперь особенно живо испытываемое) к австрийцам.

Билибин был человек лет тридцати пяти, холостой, одного общества с князем Андреем. Они были знакомы еще в Петербурге, но еще ближе познакомились в последний приезд князя Андрея в Вену вместе с Кутузовым. Как князь Андрей был молодой человек, обещающий пойти далеко на военном поприще, так, и еще более, обещал Билибин на дипломатическом. Он был еще молодой человек, но уже немолодой дипломат, так как он начал служить с шестнадцати лет, был в Париже, в

Копенгагене и теперь в Вене занимал довольно значительное место. И канцлер, и наш посланник в Вене знали его и дорожили им. Он был не из того большого количества дипломатов, которые обязаны иметь только отрицательные достоинства, не делать известных вещей и говорить по-французски для того, чтобы быть очень хорошими дипломатами; он был один из тех дипломатов, которые любят и умеют работать, и, несмотря на свою лень, он иногда проводил ночи за письменным столом. Он работал одинаково хорошо, в чем бы ни состояла сущность работы. Его интересовал не вопрос «зачем?», а вопрос «как?». В чем состояло дипломатическое дело, ему было все равно; но составить искусно, метко и изящно циркуляр, меморандум или донесение — в этом он находил большое удовольствие. Заслуги Билибина ценились, кроме письменных работ, еще и по его искусству обращаться и говорить в высших сферах.

Билибин любил разговор так же, как он любил работу, только тогда, когда разговор мог быть изящно-остроумен. В обществе он постоянно выжидал случая сказать что-нибудь замечательное и вступал в разговор не иначе, как при этих условиях. Разговор Билибина постоянно пересыпался оригинально-остроумными, законченными фразами, имеющими общий интерес. Эти фразы изготовлялись во внутренней лаборатории Билибина, как будто нарочно портативного свойства, для того чтобы ничтожные светские люди удобно могли запоминать их и переносить из гостиных в гостиные. И действительно, les mots de Bilibine se colportaient dans les salons de Vienne [1], как говорили, и часто имели влияние на так называемые важные дела.

Худое, истощенное, желтоватое лицо его было все покрыто крупными морщинами, которые всегда казались так чистоплотно и старательно промыты, как кончики пальцев после бани. Движения этих морщин составляли главную игру его физиономии. То у него морщился лоб широкими складками, брови поднимались кверху, то брови спускались книзу, и у щек образовывались крупные морщины. Глубоко поставленные, небольшие глаза всегда смотрели прямо и весело.

— Ну, теперь расскажите нам ваши подвиги, — сказал он.

---

[1] отзывы Билибина расходились по венским гостиным.

Болконский самым скромным образом, ни разу не упоминая о себе, рассказал дело и прием военного министра.

— Ils m'ont reçu avec ma nouvelle, comme un chien dans un jeu de quilles [1] — заключил он.

Билибин усмехнулся и распустил складки кожи.

— Cependant, mon cher, — сказал он, рассматривая издалека свой ноготь и подбирая кожу над левым глазом, — malgré la haute estime que je professe pour le «православное российское воинство», j'avoue que votre victoire n'est pas des plus victorieuses [2].

Он продолжал все так же на французском языке, произнося по-русски только те слова, которые он презрительно хотел подчеркнуть.

— Как же? Вы со всею массой своею обрушились на несчастного Мортье при одной дивизии, и этот Мортье уходит у вас между рук? Где же победа?

— Однако, серьезно говоря, — отвечал князь Андрей, — все-таки мы можем сказать без хвастовства, что это немного получше Ульма...

— Отчего вы не взяли нам одного, хоть одного маршала?

— Оттого, что не все делается, как предполагается, и не так регулярно, как на параде. Мы полагали, как я вам говорил, зайти в тыл к семи часам утра, а не пришли и к пяти вечера.

— Отчего же вы не пришли к семи часам утра? Вам надо было прийти в семь часов утра, — улыбаясь, сказал Билибин, — надо было прийти в семь часов утра.

— Отчего вы не внушили Бонапарту дипломатическим путем, что ему лучше оставить Геную? — тем же тоном сказал князь Андрей.

— Я знаю, — перебил Билибин, — вы думаете, что очень легко брать маршалов, сидя на диване перед камином. Это правда, а все-таки зачем вы его не взяли? И не удивляйтесь, что не только военный министр, но и августейший император и король Франц не будут очень осчастливлены вашею победой; да и я, несчастный секретарь русского посольства, не чувствую никакой особенной радости...

---

[1] Они приняли меня с этою вестью, как принимают собаку на кегельный кон.

[2] Однако, мой милый, при всем моем уважении к «православному российскому воинству», я полагаю, что победа ваша не из самых блестящих.

Он посмотрел прямо на князя Андрея и вдруг спустил собранную кожу со лба.

— Теперь мой черед спросить вас «отчего», мой милый? — сказал Болконский. — Я вам признаюсь, что не понимаю, может быть, тут есть дипломатические тонкости выше моего слабого ума, но я не понимаю: Мак теряет целую армию, эрцгерцог Фердинанд и эрцгерцог Карл не дают никаких признаков жизни и делают ошибки за ошибками, наконец один Кутузов одерживает действительную победу, уничтожает charme[1] французов, и военный министр не интересуется даже знать подробности!

— Именно от этого, мой милый. Voyez-vous, mon cher:[2] ура! за царя, за Русь, за веру! Tout ça est bel et bon[3], но что нам, я говорю — австрийскому двору, за дело до ваших побед? Привезите вы нам сюда хорошенькое известие о победе эрцгерцога Карла или Фердинанда — un archiduc vaut l'autre[4], как вам известно — хоть над ротой пожарной команды Бонапарте, это другое дело, мы прогремим в пушки. А то это, как нарочно, может только дразнить нас. Эрцгерцог Карл ничего не делает, эрцгерцог Фердинанд покрывается позором. Вену вы бросаете, не защищаете больше, comme si vous nous disiez[5]: с нами бог, а бог с вами, с вашею столицей. Один генерал, которого мы все любили, Шмит: вы его подводите под пулю и поздравляете нас с победой!.. Согласитесь, что раздразнительнее того известия, которое вы привозите, нельзя придумать. C'est comme un fait exprès, comme un fait exprès[6]. Кроме того, ну, одержи вы точно блестящую победу, одержи победу даже эрцгерцог Карл, что ж бы это переменило в общем ходе дел? Теперь уж поздно, когда Вена занята французскими войсками.

— Как занята? Вена занята?

— Не только занята, но Бонапарте в Шенбрунне, а граф, наш милый граф Врбна, отправляется к нему за приказаниями.

Болконский после усталости и впечатлений путешествия, приема и в особенности после обеда чувствовал, что он не понимает всего значения слов, которые он слышал.

---

[1] зарок непобедимости.
[2] Видите ли.
[3] Все это прекрасно.
[4] один эрцгерцог стоит другого.
[5] как будто бы вы нам сказали.
[6] Это как нарочно, как нарочно.

— Нынче утром был здесь граф Лихтенфельс, — продолжал Билибин, — и показывал мне письмо, в котором подробно описан парад французов в Вене. Le prince Murat et tout le tremblement...[1] Вы видите, что ваша победа не очень-то радостна и что вы не можете быть приняты как спаситель...

— Право, для меня все равно, совершенно все равно! — сказал князь Андрей, начиная понимать, что известие его о сражении под Кремсом действительно имело мало важности в виду таких событий, как занятие столицы Австрии. — Как же Вена взята? А мост, и знаменитый tête de pont[2], и князь Ауэрсперг? У нас были слухи, что князь Ауэрсперг защищает Вену, — сказал он.

— Князь Ауэрсперг стоит на этой, на нашей, стороне и защищает нас; я думаю, очень плохо защищает, но все-таки защищает. А Вена на той стороне. Нет, мост еще не взят, и, надеюсь, не будет взят, потому что он минирован и его велено взорвать. В противном случае мы были бы давно в горах Богемии и вы с вашею армией провели бы дурную четверть часа между двух огней.

— Но это все-таки не значит, чтобы кампания была кончена, — сказал князь Андрей.

— А я думаю, что кончена. И так думают большие колпаки здесь, но не смеют сказать этого. Будет то, что я говорил в начале кампании, что не ваша échauffourée de Dürenstein[3], вообще не порох решит дело, а те, кто его выдумали, — сказал Билибин, повторяя одно из своих mots[4], распуская кожу на лбу и приостанавливаясь. — Вопрос только в том, что скажет берлинское свидание императора Александра с прусским королем. Ежели Пруссия вступит в союз, on forcera la main à l'Autriche[5], и будет война. Ежели же нет, то дело только в том, чтоб условиться, где составлять первоначальные статьи нового Campo Formio.

— Но что за необычайная гениальность! — вдруг вскрикнул князь Андрей, сжимая свою маленькую руку и ударяя ею по столу. — И что за счастие этому человеку!

— Buonaparte? — вопросительно сказал Билибин, морща лоб и этим давая чувствовать, что сейчас будет

---

[1] Принц Мюрат и все другое...
[2] укрепление.
[3] перестрелка под Дюренштейном (*франц.* и *нем.*).
[4] словечек.
[5] то Австрию принудят.

un mot. — Buonaparte? — сказал он, ударяя особенно на u. — Я думаю, однако, что теперь, когда он предписывает законы Австрии из Шенбрунна, il faut lui faire grâce de l'u[1]. Я решительно делаю нововведение и называю его Bonaparte tout court[2].

— Нет, без шуток,— сказал князь Андрей,— неужели вы думаете, что кампания кончена?

— Я вот что думаю. Австрия осталась в дурах, а она к этому не привыкла. И она отплатит. А в дурах она осталась оттого, что, во-первых, провинции разорены (on dit, le православное est terrible pour le pillage), армия разбита, столица взята, и все это pour les beaux yeux du[3] сардинское величество. И потому — entre nous, mon cher[4], — я чутьем слышу, что нас обманывают, я чутьем слышу сношения с Францией и проекты мира, тайного мира, отдельно заключенного.

— Это не может быть! — сказал князь Андрей. — Это было бы слишком гадко.

— Qui vivra verra[5], — сказал Билибин, распуская опять кожу в знак окончания разговора.

Когда князь Андрей пришел в приготовленную для него комнату и в чистом белье лег на пуховики и душистые гретые подушки, — он почувствовал, что то сражение, о котором он привез известие, было далеко, далеко от него. Прусский союз, измена Австрии, новое торжество Бонапарта, выход, и парад, и прием императора Франца назавтра занимали его.

Он закрыл глаза, но в то же мгновение в ушах его затрещала канонада, пальба, стук колес экипажа, и вот опять спускаются с горы растянутые ниткой мушкетеры, и французы стреляют, и он чувствует, как содрогается его сердце, и он выезжает вперед рядом с Шмитом, и пули весело свистят вокруг него, и он испытывает то чувство удесятеренной радости жизни, какого он не испытывал с самого детства.

Он пробудился...

«Да, все это было!..» — сказал он, счастливо, детски улыбаясь сам себе, и заснул крепким, молодым сном.

---

[1] надо его избавить от *u*.
[2] просто Бонапарт.
[3] говорят, православное жестоко грабит... ради прекрасных глаз.
[4] между нами, мой милый.
[5] Поживем, увидим.

XI

На другой день он проснулся поздно. Возобновляя впечатления прошедшего, он вспомнил прежде всего то, что нынче надо представляться императору Францу, вспомнил военного министра, учтивого австрийского флигель-адъютанта, Билибина и разговор вчерашнего вечера. Одевшись для поездки во дворец в полную парадную форму, которой он уже давно не надевал, он, свежий, оживленный и красивый, с подвязанною рукой, вошел в кабинет Билибина. В кабинете находились четыре господина дипломатического корпуса. С князем Ипполитом Курагиным, который был секретарем посольства, Болконский был знаком; с другими его познакомил Билибин.

Господа, бывавшие у Билибина, светские, молодые, богатые и веселые люди, составляли и в Вене и здесь отдельный кружок, который Билибин, бывший главой этого кружка, называл *наши, les nôtres*. В кружке этом, состоявшем почти исключительно из дипломатов, видимо, были свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой, интересы высшего света, отношений к некоторым женщинам и канцелярской стороны службы. Эти господа, по-видимому, охотно, как *своего* (честь, которую они делали немногим), приняли в свой кружок князя Андрея. Из учтивости, и как предмет для вступления в разговор, ему сделали несколько вопросов об армии и сражении, и разговор опять рассыпался на непоследовательные веселые шутки и пересуды.

— Но особенно хорошо, — говорил один, рассказывая неудачу товарища-дипломата, — особенно хорошо то, что канцлер прямо сказал ему, что назначение его в Лондон есть повышение и чтоб он так и смотрел на это. Видите вы его фигуру при этом?..

— Но что всего хуже, господа, я вам выдаю Курагина: человек в несчастии, и этим-то пользуется этот донжуан, этот ужасный человек!

Князь Ипполит лежал в вольтеровском кресле, положив ноги через ручку. Он засмеялся.

— Parlez-moi de ça [1], — сказал он.

— О донжуан! О змея! — послышались голоса.

— Вы не знаете, Болконский, — обратился Билибин к князю Андрею, — что все ужасы французской армии

---

[1] Ну-ка, ну-ка.

(я чуть было не сказал — русской армии) — ничто в сравнении с тем, что наделал между женщинами этот человек.

— La femme est la compagne de l'homme[1], — произнес князь Ипполит и стал смотреть в лорнет на свои поднятые ноги.

Билибин и *наши* расхохотались, глядя в глаза Ипполиту. Князь Андрей видел, что этот Ипполит, которого он (должно было признаться) почти ревновал к своей жене, был шутом в этом обществе.

— Нет, я должен вас угостить Курагиным, — сказал Билибин тихо Болконскому. — Он прелестен, когда рассуждает о политике, надо видеть эту важность.

Он подсел к Ипполиту и, собрав на лбу свои складки, завел с ним разговор о политике. Князь Андрей и другие обступили обоих.

— Le cabinet de Berlin ne peut pas exprimer un sentiment d'alliance, — начал Ипполит, значительно оглядывая всех, — sans exprimer... comme dans sa dernière note... vous comprenez... vous comprenez... et puis si sa Majesté l'Empereur ne déroge pas au principe de notre alliance...[2]

— Attendez, je n'ai pas fini... — сказал он князю Андрею, хватая его за руку. — Je suppose que l'intervention sera plus forte que la non-intervention. Et... — Он помолчал. — On ne pourra pas imputer à la fin de non-recevoir notre dépêche du 28 novembre. Voilà comment tout cela finira[3].

И он отпустил руку Болконского, показывая тем, что теперь он совсем кончил.

— Demosthènes, je te reconnais au caillou que tu as caché dans ta bouche d'or![4] — сказал Билибин, у которого шапка волос подвинулась на голове от удовольствия.

Все засмеялись. Ипполит смеялся громче всех. Он, видимо, страдал, задыхался, но не мог удержаться от дикого смеха, растягивающего его всегда неподвижное лицо.

---

[1] Женщина — подруга мужчины.

[2] Берлинский кабинет не может выразить свое мнение о союзе, не выражая... как в своей последней ноте... вы понимаете... вы понимаете... впрочем, если его величество император не изменит сущности нашего союза...

[3] Подождите, я не кончил... Я думаю, что вмешательство будет прочнее, чем невмешательство. И... Невозможно считать дело оконченным непринятием нашей депеши от 28 ноября... Вот чем все это кончится.

[4] Демосфен, я узнаю тебя по камню, который ты скрываешь в своих золотых устах!

— Ну, вот что, господа, — сказал Билибин, — Болконский мой гость в доме и здесь в Брюнне, и я хочу его угостить, сколько могу, всеми радостями здешней жизни. Ежели бы мы были в Вене, это было бы легко; но здесь, dans ce vilain trou morave [1], это труднее, и я прошу у всех вас помощи. Il faut lui faire les honneurs de Brünn [2]. Вы возьмите на себя театр, я — общество, вы, Ипполит, разумеется, — женщин.

— Надо ему показать Амели, прелесть! — сказал один из *наших,* целуя кончики пальцев.

— Вообще этого кровожадного солдата, — сказал Билибин, — надо обратить к более человеколюбивым взглядам.

— Едва ли я воспользуюсь вашим гостеприимством, господа, и теперь мне пора ехать, — взглядывая на часы, сказал Болконский.

— Куда?

— К императору.

— О, о! о!

— Ну, до свидания, Болконский! До свидания, князь; приезжайте же обедать раньше, — послышались голоса. — Мы беремся за вас.

— Старайтесь как можно более расхваливать порядок в доставлении провианта и маршрутов, когда будете говорить с императором, — сказал Билибин, провожая до передней Болконского.

— И желал бы хвалить, но не могу, сколько знаю, — улыбаясь, отвечал Болконский.

— Ну, вообще как можно больше говорите. Его страсть — аудиенции; а говорить сам он не любит и не умеет, как увидите.

XII

На выходе император Франц только пристально вгляделся в лицо князя Андрея, стоявшего в назначенном месте между австрийскими офицерами, и кивнул ему своей длинной головой. Но после выхода вчерашний флигель-адъютант с учтивостью передал Болконскому желание императора дать ему аудиенцию. Император Франц при-

---

[1] в этой гадкой моравской дыре.
[2] Надо его попотчевать Брюнном.

нял его, стоя посредине комнаты. Перед тем как начинать разговор, князя Андрея поразило то, что император как будто смешался, не зная, что сказать, и покраснел.

— Скажите, когда началось сражение? — спросил он поспешно.

Князь Андрей отвечал. После этого вопроса следовали другие, столь же простые вопросы: «Здоров ли Кутузов? как давно выехал он из Кремса?» и т. п. Император говорил с таким выражением, как будто вся цель его состояла только в том, чтобы сделать известное количество вопросов. Ответы же на эти вопросы, как было слишком очевидно, не могли интересовать его.

— В котором часу началось сражение? — спросил император.

— Не могу донести вашему величеству, в котором часу началось сражение с фронта, но в Дюренштейне, где я находился, войско начало атаку в шестом часу вечера, — сказал Болконский, оживляясь и при этом случае предполагая, что ему удастся представить уже готовое в его голове правдивое описание всего того, что он знал и видел.

Но император улыбнулся и перебил его:

— Сколько миль?

— Откуда и докуда, ваше величество?

— От Дюренштейна до Кремса.

— Три с половиною мили, ваше величество.

— Французы оставили левый берег?

— Как доносили лазутчики, в ночь на плотах переправились последние.

— Достаточно ли фуража в Кремсе?

— Фураж не был доставлен в том количестве...

Император перебил его:

— В котором часу убит генерал Шмит?

— В семь часов, кажется.

— В семь часов? Очень печально! Очень печально!

Император сказал, что он благодарит, и поклонился. Князь Андрей вышел и тотчас же со всех сторон был окружен придворными. Со всех сторон глядели на него ласковые глаза и слышались ласковые слова. Вчерашний флигель-адъютант делал ему упреки, зачем он не остановился во дворце, и предлагал ему свой дом. Военный министр подошел, поздравляя его с орденом Марии-Терезии 3-й степени, которым жаловал его император. Камергер императрицы приглашал его к ее величеству. Эрцгерцо-

гиня тоже желала его видеть. Он не знал, кому отвечать, и несколько секунд собирался с мыслями. Русский посланник взял его за плечо, отвел к окну и стал говорить с ним.

Вопреки словам Билибина, известие, привезенное им, было принято радостно. Назначено было благодарственное молебствие. Кутузов был награжден Марией-Терезией большого креста, и вся армия получила награды. Болконский получал приглашения со всех сторон и все утро должен был делать визиты главным сановникам Австрии. Окончив свои визиты в пятом часу вечера, мысленно сочиняя письмо отцу о сражении и о своей поездке в Брюнн, князь Андрей возвращался домой к Билибину. Прежде чем ехать к Билибину, князь Андрей поехал в книжную лавку запастись на поход книгами и засиделся в лавке. У крыльца дома, занимаемого Билибиным, стояла до половины уложенная вещами бричка, и Франц, слуга Билибина, с трудом таща чемодан, вышел из двери.

— Что такое? — спросил Болконский.

— Ach, Erlaucht! — сказал Франц, с трудом взваливая чемодан в бричку. — Wir ziehen noch weiter. Der Bösewicht ist schon wieder hinter uns her! [1]

— Что такое? Что? — спрашивал князь Андрей.

Билибин вышел навстречу Болконскому. На всегда спокойном лице Билибина было волнение.

— Non, non, avouez que c'est charmant, — говорил он, — cette histoire du pont de Thabor (мост в Вене). Ils l'ont passé sans coup férir [2].

Князь Андрей ничего не понимал.

— Да откуда же вы, что вы не знаете того, что уже знают все кучера в городе?

— Я от эрцгерцогини. Там я ничего не слыхал.

— И не видали, что везде укладываются?

— Не видал... Да в чем дело? — нетерпеливо спросил князь Андрей.

— В чем дело? Дело в том, что французы перешли мост, который защищает Ауэрсперг, и мост не взорвали, так что Мюрат бежит теперь по дороге к Брюнну, и нынче-завтра они будут здесь.

---

[1] Ах, ваше сиятельство! Мы отправляемся еще далее. Злодей уж опять за нами по пятам! *(нем.)*

[2] Нет, нет, признайтесь, что это прелесть, эта история с Таборским мостом. Они перешли его без сопротивления.

— Как здесь? Да как же не взорвали мост, когда он минирован?

— А это я у вас спрашиваю. Этого никто, и сам Бонапарте, не знает.

Болконский пожал плечами.

— Но ежели мост перейден, значит, и армия погибла: она будет отрезана, — сказал он.

— В этом-то и штука, — отвечал Билибин. — Слушайте. Вступают французы в Вену, как я вам говорил. Все очень хорошо. На другой день, то есть вчера, господа маршалы: Мюрат, Ланн и Бельяр, садятся верхом и отправляются на мост. (Заметьте, все трое гасконцы.) Господа,— говорит один,— вы знаете, что Таборский мост минирован и котраминирован и что перед ним грозный tête de pont[1] и пятнадцать тысяч войска, которому велено взорвать мост и нас не пускать. Но нашему государю императору Наполеону будет приятно, ежели мы возьмем этот мост. Поедемте втроем и возьмем этот мост. — Поедемте, говорят другие; и они отправляются и берут мост, переходят его и теперь со всею армией по сю сторону Дуная направляются на нас, на вас и на ваши сообщения.

— Полноте шутить, — грустно и серьезно сказал князь Андрей.

Известие это было горестно и вместе с тем приятно князю Андрею. Как только он узнал, что русская армия находится в таком безнадежном положении, ему пришло в голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армию из этого положения, что вот он, тот Тулон, который выведет его из рядов неизвестных офицеров и откроет ему первый путь к славе! Слушая Билибина, он соображал уже, как, приехав к армии, он на военном совете подаст мнение, которое одно спасет армию, и как ему одному будет поручено исполнение этого плана.

— Полноте шутить, — сказал он.

— Не шучу, — продолжал Билибин, — ничего нет справедливее и печальнее. Господа эти приезжают на мост одни и поднимают белые платки; уверяют, что перемирие и что они, маршалы, едут для переговоров с князем Ауэрспергом. Дежурный офицер пускает их в tête de pont. Они рассказывают ему тысячу гасконских глупостей: говорят, что война кончена, что император Франц

[1] мостовое укрепление.

назначил свидание Бонапарту, что они желают видеть князя Ауэрсперга и проч. Офицер посылает за Ауэрспергом; господа эти обнимают офицеров, шутят, садятся на пушки, а между тем французский батальон незамеченный входит на мост, сбрасывает мешки с горючими веществами в воду и подходит к tête de pont. Наконец является сам генерал-лейтенант, наш милый князь Ауэрсперг фон Маутерн. «Милый неприятель! Цвет австрийского воинства, герой турецких войн! Вражда кончена, мы можем подать друг другу руку... император Наполеон сгорает желанием узнать князя Ауэрсперга». Одним словом, эти господа, недаром гасконцы, так забрасывают Ауэрсперга прекрасными словами, он так прельщен своею столь быстро установившеюся интимностью с французскими маршалами, так ослеплен видом мантии и страусовых перьев Мюрата, qu'il n'y voit que du feu, et oublie celui qu'il devait faire, faire sur l'ennemi[1]. (Несмотря на живость своей речи, Билибин не забыл приостановиться после этого mot, чтобы дать время оценить его.) Французский батальон вбегает в tête de pont, заколачивают пушки, и мост взят. Нет, но что лучше всего, — продолжал он, успокоиваясь в своем волнении прелестью собственного рассказа, — это то, что сержант, приставленный к той пушке, по сигналу которой должно было зажигать мины и взрывать мост, сержант этот, увидав, что французские войска бегут на мост, хотел уже стрелять, но Ланн отвел его руку. Сержант, который, видно, был умнее своего генерала, подходит к Ауэрспергу и говорит: «Князь, вас обманывают, вот французы!» Мюрат видит, что дело проиграно, ежели дать говорить сержанту. Он с притворным удивлением (настоящий гасконец) обращается к Ауэрспергу: «Я не узнаю столь хваленую в мире австрийскую дисциплину, — говорит он, — и вы позволяете так говорить с вами низшему чину!» C'est génial. Le prince d'Auersperg se pique d'honneur et fait mettre le sergent aux arrêts. Non, mais avouez que c'est charmant toute cette histoire du pont de Thabor. Ce n'est ni bêtise, ni lâcheté...[2]

---

[1] что он видит только их огонь и забывает о своем, о том, который обязан был открыть против неприятеля. — *Ред.*

[2] Это гениально. Князь Ауэрсперг оскорбляется и приказывает арестовать сержанта. Нет, признайтесь, что это прелесть, вся эта история с мостом. Это не то что глупость — не то что подлость...

— C'est trahison peut-être[1], — сказал князь Андрей, живо воображая себе серые шинели, раны, пороховой дым, звуки пальбы и славу, которая ожидает его.

— Non plus. Cela met la cour dans de trop mauvais draps, — продолжал Билибин. — Ce n'est ni trahison, ni lâcheté, ni bêtise; c'est comme à Ulm... — Он как будто задумался, отыскивая выражение: — C'est... c'est du Mack. Nous sommes *mackés*[2], — заключил он, чувствуя, что он сказал un mot, и свежее mot, такое mot, которое будет повторяться.

Собранные до тех пор складки на лбу быстро распустились в знак удовольствия, и он, слегка улыбаясь, стал рассматривать свои ногти.

— Куда вы? — сказал он вдруг, обращаясь к князю Андрею, который встал и направился в свою комнату.

— Я еду.

— Куда?

— В армию.

— Да вы хотели остаться еще два дня?

— А теперь я еду сейчас.

И князь Андрей, сделав распоряжение об отъезде, ушел в свою комнату.

— Знаете что, мой милый, — сказал Билибин, входя к нему в комнату.— Я подумал об вас. Зачем вы поедете?

И в доказательство неопровержимости этого довода складки все сбежали с лица.

Князь Андрей вопросительно посмотрел на своего собеседника и ничего не ответил.

— Зачем вы поедете? Я знаю, вы думаете, что ваш долг — скакать в армию теперь, когда армия в опасности. Я это понимаю, mon cher, c'est de l'héroïsme[3].

— Нисколько, — сказал князь Андрей.

— Но вы un philosophe[4], будьте же им вполне, посмотрите на вещи с другой стороны, и вы увидите, что ваш долг, напротив, беречь себя. Предоставьте это другим, которые ни на что более не годны... Вам не велено приезжать назад, и отсюда вас не отпустили; стало быть, вы можете остаться и ехать с нами, куда нас повлечет

---

[1] Быть может, измена.

[2] Также нет. Это ставит двор в слишком дурное положение. Это ни измена, ни подлость, ни глупость; это как при Ульме, это... это *маковщина*. Мы *обмаковались*.

[3] мой милый, это героизм.

[4] философ.

наша несчастная судьба. Говорят, едут в Ольмюц. А Ольмюц очень милый город. И мы с вами вместе спокойно поедем в моей коляске.

— Перестаньте шутить, Билибин, — сказал Болконский.

— Я говорю вам искренно и дружески. Рассудите. Куда и для чего вы поедете теперь, когда вы можете оставаться здесь? Вас ожидает одно из двух (он собрал кожу над левым виском): или не доедете до армии и мир будет заключен, или поражение и срам со всею кутузовскою армией.

И Билибин распустил кожу, чувствуя, что дилемма его неопровержима.

— Этого я не могу рассудить,— холодно сказал князь Андрей, а подумал: «Еду для того, чтобы спасти армию».

— Mon cher, vous êtes un héros[1], — сказал Билибин.

XIII

В ту же ночь, откланявшись военному министру, Болконский ехал к армии, сам не зная, где он найдет ее, и опасаясь по дороге к Кремсу быть перехваченным французами.

В Брюнне все придворное население укладывалось, и уже отправлялись тяжести в Ольмюц. Около Эцельсдорфа князь Андрей выехал на дорогу, по которой с величайшею поспешностью и в величайшем беспорядке двигалась русская армия. Дорога была так запружена повозками, что невозможно было ехать в экипаже. Взяв у казачьего начальника лошадь и казака, князь Андрей, голодный и усталый, обгоняя обозы, ехал отыскивать главнокомандующего и свою повозку. Самые зловещие слухи о положении армии доходили до него дорогой, и вид беспорядочно бегущей армии подтверждал эти слухи.

«Cette armée russe que l'or de l'Angleterre a transportée des extrêmités de l'univers, nous allons lui faire éprouver le même sort (le sort de l'armée d'Ulm)»[2], — вспоминал он слова приказа Бонапарта своей армии перед началом кампании, и слова эти одинаково возбуждали в нем удивле-

---

[1] Мой милый, вы — герой.

[2] «Эту русскую армию, которую английское золото перенесло сюда с конца света, мы заставим ее испытать ту же участь (участь ульмской армии)».

ние к гениальному герою, чувство оскорбленной гордости и надежду славы. «А ежели ничего не остается, кроме как умереть? — думал он. — Что же, коли нужно! Я сделаю это не хуже других».

Князь Андрей с презрением смотрел на эти бесконечные, мешавшиеся команды, повозки, парки, артиллерию и опять повозки, повозки и повозки всех возможных видов, обгонявшие одна другую и в три, в четыре ряда запружавшие грязную дорогу. Со всех сторон, назади и впереди, покуда хватал слух, слышались звуки колес, громыхание кузовов, телег и лафетов, лошадиный топот, удары кнутом, крики понуканий, ругательства солдат, денщиков и офицеров. По краям дороги видны были беспрестанно то павшие ободранные и неободранные лошади, то сломанные повозки, у которых, дожидаясь чего-то, сидели одинокие солдаты, то отделившиеся от команд солдаты, которые толпами направлялись в соседние деревни или тащили из деревень кур, баранов, сено или мешки, чем-то наполненные. На спусках и подъемах толпы делались гуще, и стоял непрерывный стон криков. Солдаты, утопая по колена в грязи, на руках подхватывали орудия и фуры; бились кнуты, скользили копыта, лопались постромки и надрывались криками груди. Офицеры, заведовавшие движением, то вперед, то назад проезжали между обозами. Голоса их были слабо слышны посреди общего гула, и по лицам их видно было, что они отчаивались в возможности остановить этот беспорядок.

«Voilà le cher[1] *православное воинство*», — подумал Болконский, вспоминая слова Билибина.

Желая спросить у кого-нибудь из этих людей, где главнокомандующий, он подъехал к обозу. Прямо против него ехал странный, в одну лошадь, экипаж, видимо, устроенный домашними солдатскими средствами, представлявший середину между телегой, кабриолетом и коляской. В экипаже правил солдат и сидела под кожаным верхом за фартуком женщина, вся обвязанная платками. Князь Андрей подъехал и уже обратился с вопросом к солдату, когда его внимание обратили отчаянные крики женщины, сидевшей в кибиточке. Офицер, заведовавший обозом, бил солдата, сидевшего кучером в этой колясочке, за то, что он хотел объехать других, и плеть попадала по фартуку экипажа. Женщина пронзительно кричала. Увидав князя

[1] Вот оно, милое.

Андрея, она высунулась из-под фартука и, махая худыми руками, выскочившими из-под коврового платка, кричала:

— Адьютант! Господин адъютант!.. Ради бога... защитите... Что ж это будет?.. Я лекарская жена седьмого егерского... не пускают; мы отстали, своих потеряли...

— В лепешку расшибу, заворачивай! — кричал озлобленный офицер на солдата. — Заворачивай назад со шлюхой своею!

— Господин адъютант, защитите. Что ж это? — кричала лекарша.

— Извольте пропустить эту повозку. Разве вы не видите, что это женщина? — сказал князь Андрей, подъезжая к офицеру.

Офицер взглянул на него и, не отвечая, поворотился опять к солдату:

— Я те объеду... Назад!

— Пропустите, я вам говорю, — опять повторил, поджимая губы, князь Андрей.

— А ты кто такой? — вдруг с пьяным бешенством обратился к нему офицер.— Ты кто такой? Ты (он особенно упирал на *ты*) начальник, что ль? Здесь я начальник, а не ты. Ты, назад, — повторил он, — в лепешку расшибу.

Это выражение, видимо, понравилось офицеру.

— Важно отбрил адъютантика, — послышался голос сзади.

Князь Андрей видел, что офицер находился в том пьяном припадке беспричинного бешенства, в котором люди не помнят, что говорят. Он видел, что его заступничество за лекарскую жену в кибиточке исполнено того, чего он боялся больше всего в мире, того, что называется ridicule [1], но инстинкт его говорил другое. Не успел офицер договорить последних слов, как князь Андрей с изуродованным от бешенства лицом подъехал к нему и поднял нагайку:

— Из-воль-те про-пус-тить!

Офицер махнул рукой и торопливо отъехал прочь.

— Всё от этих, от штабных, беспорядок весь, — проворчал он. — Делайте ж, как знаете.

Князь Андрей торопливо, не поднимая глаз, отъехал от лекарской жены, называвшей его спасителем, и, с отвращением вспоминая мельчайшие подробности этой уни-

[1] смешным. — *Ред.*

зительной сцены, поскакал дальше к той деревне, где, как ему сказали, находился главнокомандующий.

Въехав в деревню, он слез с лошади и пошел к первому дому с намерением отдохнуть хоть на минуту, съесть что-нибудь и привесть в ясность все эти оскорбительные, мучившие его мысли. «Это толпа мерзавцев, а не войско», — думал он, подходя к окну первого дома, когда знакомый ему голос назвал его по имени.

Он оглянулся. Из маленького окна высовывалось красивое лицо Несвицкого. Несвицкий, пережевывая что-то сочным ртом и махая руками, звал его к себе.

— Болконский, Болконский! Не слышишь, что ли? Иди скорее, — кричал он.

Войдя в дом, князь Андрей увидал Несвицкого и еще другого адъютанта, закусывавших что-то. Они поспешно обратились к Болконскому с вопросом, не знает ли он чего нового? На их столь знакомых ему лицах князь Андрей прочел выражение тревоги и беспокойства. Выражение это особенно заметно было на всегда смеющемся лице Несвицкого.

— Где главнокомандующий? — спросил Болконский.

— Здесь, в том доме, — отвечал адъютант.

— Ну, что ж, правда, что мир и капитуляция? — спрашивал Несвицкий.

— Я у вас спрашиваю. Я ничего не знаю, кроме того, что я насилу добрался до вас.

— А у нас, брат, что́! Ужас! Винюсь, брат, над Маком смеялись, а самим еще хуже приходится, — сказал Несвицкий. — Да садись же, поешь чего-нибудь.

— Теперь, князь, ни повозок, ничего не найдете, и ваш Петр бог его знает где, — сказал другой адъютант.

— Где ж главная квартира?

— В Цнайме ночуем.

— А я так перевьючил себе все, что мне нужно, на двух лошадей, — сказал Несвицкий, — и вьюки отличные мне сделали. Хоть через Богемские горы удирать. Плохо, брат. Да что ты, верно, нездоров, что так вздрагиваешь? — спросил Несвицкий, заметив, как князя Андрея дернуло, будто от прикосновения к лейденской банке.

— Ничего, — отвечал князь Андрей.

Он вспомнил в эту минуту о недавнем столкновении с лекарскою женой и фурштатским офицером.

— Что главнокомандующий здесь делает? — спросил он.

— Ничего не понимаю, — сказал Несвицкий.

— Я одно понимаю, что все мерзко, мерзко и мерзко, — сказал князь Андрей и пошел в дом, где стоял главнокомандующий.

Пройдя мимо экипажа Кутузова, верховых замученных лошадей свиты и казаков, громко говоривших между собою, князь Андрей вошел в сени. Сам Кутузов, как сказали князю Андрею, находился в избе с князем Багратионом и Вейротером. Вейротер был австрийский генерал, заменивший убитого Шмита. В сенях маленький Козловский сидел на корточках перед писарем. Писарь на перевернутой кадушке, заворотив обшлага мундира, поспешно писал. Лицо Козловского было измученное — он, видно, тоже не спал ночь. Он взглянул на князя Андрея и даже не кивнул ему головой.

— Вторая линия... Написал? — продолжал он, диктуя писарю. — Киевский гренадерский, Подольский...

— Не поспеешь, ваше высокоблагородие, — отвечал писарь непочтительно и сердито, оглядываясь на Козловского.

Из-за двери слышен был в это время оживленно-недовольный голос Кутузова, перебиваемый другим, незнакомым голосом. По звуку этих голосов, по невниманию, с которым взглянул на него Козловский, по непочтительности измученного писаря, по тому, что писарь и Козловский сидели так близко от главнокомандующего на полу около кадушки, и по тому, что казаки, державшие лошадей, смеялись громко под окном дома, — по всему этому князь Андрей чувствовал, что должно было случиться что-нибудь важное и несчастливое.

Князь Андрей настоятельно обратился к Козловскому с вопросами.

— Сейчас, князь, — сказал Козловский. — Диспозиция Багратиону.

— А капитуляция?

— Никакой нет; сделаны распоряжения к сражению.

Князь Андрей направился к двери, из-за которой слышны были голоса. Но в то время как он хотел отворить дверь, голоса в комнате замолкли, дверь сама отворилась, и Кутузов, с своим орлиным носом на пухлом лице, показался на пороге. Князь Андрей стоял прямо против Кутузова; но по выражению единственного зрячего глаза главнокомандующего видно было, что мысль и забота так сильно занимали его, что как будто застилали

ему зрение. Он прямо смотрел на лицо своего адъютанта и не узнавал его.

— Ну, что, кончил? — обратился он к Козловскому.

— Сию секунду, ваше высокопревосходительство.

Багратион, невысокий, с восточным типом твердого и неподвижного лица, сухой, еще не старый человек, вышел за главнокомандующим.

— Честь имею явиться, — повторил довольно громко князь Андрей, подавая конверт.

— А, из Вены? Хорошо. После, после!

Кутузов вышел с Багратионом на крыльцо.

— Ну, князь, прощай, — сказал он Багратиону. — Христос с тобой. Благословляю тебя на великий подвиг.

Лицо Кутузова неожиданно смягчилось, и слезы показались в его глазах. Он притянул к себе левою рукой Багратиона, а правою, на которой было кольцо, видимо, привычным жестом перекрестил его и подставил ему пухлую щеку, вместо которой Багратион поцеловал его в шею.

— Христос с тобой! — повторил Кутузов и подошел к коляске. — Садись со мной, — сказал он Болконскому.

— Ваше высокопревосходительство, я желал бы быть полезен здесь. Позвольте мне остаться в отряде князя Багратиона.

— Садись, — сказал Кутузов и, заметив, что Болконский медлит, — мне хорошие офицеры самому нужны, самому нужны.

Они сели в коляску и молча проехали несколько минут.

— Еще впереди много, много всего будет, — сказал он со старческим выражением проницательности, как будто поняв все, что делалось в душе Болконского. — Ежели из отряда его придет завтра одна десятая часть, я буду бога благодарить, — прибавил Кутузов, как бы говоря сам с собой.

Князь Андрей взглянул на Кутузова, и ему невольно бросились в глаза, в полуаршине от него, чисто промытые сборки шрама на виске Кутузова, где измаильская пуля пронизала ему голову, и его вытекший глаз. «Да, он имеет право так спокойно говорить о погибели этих людей!» — подумал Болконский.

— От этого я и прошу отправить меня в этот отряд, — сказал он.

Кутузов не ответил. Он, казалось, уж забыл о том, что было сказано им, и сидел задумавшись. Через пять минут,

плавно раскачиваясь на мягких рессорах коляски, Кутузов обратился к князю Андрею. На лице его не было и следа волнения. Он с тонкою насмешливостью расспрашивал князя Андрея о подробностях его свидания с императором, об отзывах, слышанных при дворе о кремском деле, и о некоторых общих знакомых женщинах.

XIV

Кутузов чрез своего лазутчика получил 1-го ноября известие, ставившее командуемую им армию почти в безвыходное положение. Лазутчик доносил, что французы в огромных силах, перейдя венский мост, направились на путь сообщения Кутузова с войсками, шедшими из России. Ежели бы Кутузов решился оставаться в Кремсе, то полуторастатысячная армия Наполеона отрезала бы его от всех сообщений, окружила бы его сорокатысячную изнуренную армию, и он находился бы в положении Мака под Ульмом. Ежели бы Кутузов решился оставить дорогу, ведшую на сообщения с войсками из России, то он должен был вступить без дороги в неизвестные края Богемских гор, защищаясь от превосходного силами неприятеля, и оставить всякую надежду на сообщение с Буксгевденом. Ежели бы Кутузов решился отступать по дороге из Кремса в Ольмюц на соединение с войсками из России, то он рисковал быть предупрежденным на этой дороге французами, перешедшими мост в Вене, и таким образом быть принужденным принять сражение на походе, со всеми тяжестями и обозами, и имея дело с неприятелем, втрое превосходившим его и окружавшим его с двух сторон.

Кутузов избрал этот последний выход.

Французы, как доносил лазутчик, перейдя мост в Вене, усиленным маршем шли на Цнайм, лежавший по пути отступления Кутузова, впереди его более чем на сто верст. Достигнуть Цнайма прежде французов — значило получить большую надежду на спасение армии; дать французам предупредить себя в Цнайме — значило наверное подвергнуть всю армию позору, подобному ульмскому, или общей гибели. Но предупредить французов со всею армией было невозможно. Дорога французов от Вены до Цнайма была короче и лучше, чем дорога русских от Кремса до Цнайма.

В ночь получения известия Кутузов послал четырехтысячный авангард Багратиона направо горами с кремско-цнаймской дороги на венско-цнаймскую. Багратион должен был пройти без отдыха этот переход, остановиться лицом к Вене и задом к Цнайму, и ежели бы ему удалось предупредить французов, то он должен был задерживать их, сколько мог. Сам же Кутузов со всеми тяжестями тронулся к Цнайму.

Пройдя с голодными, разутыми солдатами, без дороги, по горам, в бурную ночь сорок пять верст, растеряв третью часть отсталыми, Багратион вышел в Голлабрун на венско-цнаймскую дорогу несколькими часами прежде французов, подходивших к Голлабруну из Вены. Кутузову надо было идти еще целые сутки с своими обозами, чтобы достигнуть Цнайма, и потому, чтобы спасти армию, Багратион должен был с четырьмя тысячами голодных, измученных солдат удерживать в продолжение суток всю неприятельскую армию, встретившуюся с ним в Голлабруне, что было, очевидно, невозможно. Но странная судьба сделала невозможное возможным. Успех того обмана, который без боя отдал венский мост в руки французов, побудил Мюрата попытаться обмануть так же и Кутузова. Мюрат, встретив слабый отряд Багратиона на цнаймской дороге, подумал, что это была вся армия Кутузова. Чтобы несомненно раздавить эту армию, он поджидал отставшие по дороге из Вены войска и с этой целью предложил перемирие на три дня, с условием, чтобы и те и другие войска не изменяли своих положений и не трогались с места. Мюрат уверял, что уже идут переговоры о мире и что потому, избегая бесполезного пролития крови, он предлагает перемирие. Австрийский генерал граф Ностиц, стоявший на аванпостах, поверил словам парламентера Мюрата и отступил, открыв отряд Багратиона. Другой парламентер поехал в русскую цепь объявить то же известие о мирных переговорах и предложить перемирие русским войскам на три дня. Багратион отвечал, что не может принимать или не принимать перемирия, и с донесением о сделанном ему предложении послал к Кутузову своего адъютанта.

Перемирие для Кутузова было единственным средством выиграть время, дать отдохнуть измученному отряду Багратиона и пропустить обозы и тяжести (движение которых было скрыто от французов) хотя один лишний переход до Цнайма. Предложение перемирия давало

единственную и неожиданную возможность спасти армию. Получив это известие, Кутузов немедленно послал состоявшего при нем генерал-адъютанта Винценгероде в неприятельский лагерь. Винценгероде должен был не только принять перемирие, но и предложить условия капитуляции, а между тем Кутузов послал своих адъютантов назад торопить сколь возможно движение обозов всей армии по кремско-цнаймской дороге. Измученный, голодный отряд Багратиона один должен был, прикрывая собой это движение обозов и всей армии, неподвижно оставаться перед неприятелем, в восемь раз сильнейшим.

Ожидания Кутузова сбылись как относительно того, что предложения капитуляции, ни к чему не обязывающие, могли дать время пройти некоторой части обозов, так и относительно того, что ошибка Мюрата должна была открыться очень скоро. Как только Бонапарте, находившийся в Шенбрунне, в двадцати пяти верстах от Голлабруна, получил донесение Мюрата и проект перемирия и капитуляции, он увидел обман и написал следующее письмо к Мюрату:

«Au prince Murat. Schoenbrunn, 25 brumaire
en 1805 à huit heures du matin

Il m'est impossible de trouver des termes pour vous exprimer mon mécontentement. Vous ne commandez que mon avant-garde et vous n'avez pas le droit de faire d'armistice sans mon ordre. Vous me faites perdre le fruit d'une campagne. Rompez l'armistice sur-le-champ et marchez à l'ennemi. Vous lui ferez déclarer que le général qui a signé cette capitulation n'avait pas le droit de le faire, qu'il n'y a que l'Empereur de Russie qui ait ce droit.

Toutes les fois cependant que l'Empereur de Russie ratifierait la dite convention, je la ratifierai; mais ce n'est qu'une ruse. Marchez, détruisez l'armée russe... vous êtes en position de prendre son bagage et son artillerie.

L'aide-de-camp de l'Empereur de Russie est un... Les officiers ne sont rien quand ils n'ont pas de pouvoirs: celui-ci n'en avait point... Les Autrichiens se sont laissé jouer pour le passage du pont de Vienne, vous vous laissez jouer par un aide-de-camp de l'Empereur.

Napoléon»[1].

---

[1] Принцу Мюрату. Шенбрюнн, 25 брюмера 1805 г. 8 часов утра.
Я не могу найти слов, чтобы выразить вам мое неудовольствие. Вы командуете только моим авангардом и не имеете права делать

Адъютант Бонапарте во всю прыть лошади скакал с этим грозным письмом к Мюрату. Сам Бонапарте, не доверяя своим генералам, со всею гвардией двигался к полю сражения, боясь упустить готовую жертву, а четырехтысячный отряд Багратиона, весело раскладывая костры, сушился, обогревался, варил в первый раз после трех дней кашу, и никто из людей отряда не знал и не думал о том, что предстояло ему.

XV

В четвертом часу вечера князь Андрей, настояв на своей просьбе у Кутузова, приехал в Грунт и явился к Багратиону. Адъютант Бонапарте еще не приехал в отряд Мюрата, и сражение еще не начиналось. В отряде Багратиона ничего не знали об общем ходе дел, говорили о мире, но не верили в его возможность. Говорили о сражении и тоже не верили и в близость сражения.

Багратион, зная Болконского за любимого и доверенного адъютанта, принял его с особенным начальническим отличием и снисхождением, объяснил ему, что, вероятно, нынче или завтра будет сражение, и предоставил ему полную свободу находиться при нем во время сражения или в ариергарде наблюдать за порядком отступления, «что тоже было очень важно».

— Впрочем, нынче, вероятно, дела не будет, — сказал Багратион, как бы успокоивая князя Андрея.

«Ежели это один из обыкновенных штабных франтиков, посылаемых для получения крестика, то он и в ариергарде получит награду, а ежели хочет со мной быть,

---

перемирие без моего приказания. Вы заставляете меня потерять плоды целой кампании. Немедленно разорвите перемирие и идите против неприятеля. Вы объявите ему, что генерал, подписавший эту капитуляцию, не имел на это права, и никто не имеет, исключая лишь российского императора.

Впрочем, если российский император согласится на упомянутое условие, я тоже соглашусь; но это не что иное, как хитрость. Идите, уничтожьте русскую армию. Вы можете взять ее обозы и ее артиллерию.

Генерал-адъютант российского императора обманщик... Офицеры ничего не значат, когда не имеют власти полномочия; он также не имеет его... Австрийцы дали себя обмануть при переходе венского моста, а вы даете себя обмануть адъютантам императора.

Наполеон.

пускай... пригодится, коли храбрый офицер», — подумал Багратион. Князь Андрей, ничего не ответив, попросил позволения объехать позицию и узнать расположение войск с тем, чтобы в случае поручения знать, куда ехать. Дежурный офицер отряда, мужчина красивый, щеголевато одетый и с алмазным перстнем на указательном пальце, дурно, но охотно говоривший по-французски, вызвался проводить князя Андрея.

Со всех сторон виднелись мокрые, с грустными лицами офицеры, чего-то как будто искавшие, и солдаты, тащившие из деревни двери, лавки и заборы.

— Вот не можем, князь, избавиться от этого народа,— сказал штаб-офицер, указывая на этих людей. — Распускают командиры. А вот здесь, — он указал на раскинутую палатку маркитанта, — собьются и сидят. Нынче утром всех выгнал: посмотрите, опять полна. Надо подъехать, князь, пугнуть их. Одна минута.

— Заедемте, и я возьму у него сыру и булку, — сказал князь Андрей, который не успел еще поесть.

— Что ж вы не сказали, князь? Я бы предложил своего хлеба-соли.

Они сошли с лошадей и вошли под палатку маркитанта. Несколько человек офицеров с раскрасневшимися и истомленными лицами сидели за столами, пили и ели.

— Ну, что ж это, господа! — сказал штаб-офицер тоном упрека, как человек, уже несколько раз повторявший одно и то же. — Ведь нельзя же отлучаться так. Князь приказал, чтобы никого не было. Ну, вот вы, господин штабс-капитан, — обратился он к маленькому, грязному худому артиллерийскому офицеру, который без сапог (он отдал их сушить маркитанту), в одних чулках, встал перед вошедшими, улыбаясь не совсем естественно.

— Ну, как вам, капитан Тушин, не стыдно? — продолжал штаб-офицер, — вам бы, кажется, как артиллеристу, надо пример показывать, а вы без сапог. Забьют тревогу, а вы без сапог очень хороши будете. (Штаб-офицер улыбнулся.) Извольте отправляться к своим местам, господа, все, все, — прибавил он начальнически.

Князь Андрей невольно улыбнулся, взглянув на штабс-капитана Тушина. Молча и улыбаясь, Тушин, переступая с босой ноги на ногу, вопросительно глядел большими, умными и добрыми глазами то на князя Андрея, то на штаб-офицера.

— Солдаты говорят: разумшись ловчее, — сказал капитан Тушин, улыбаясь и робея, видимо, желая из своего неловкого положения перейти в шутливый тон.

Но еще он не договорил, как почувствовал, что шутка его не принята и не вышла. Он смутился.

— Извольте отправляться, — сказал штаб-офицер, стараясь удержать серьезность.

Князь Андрей еще раз взглянул на фигурку артиллериста. В ней было что-то особенное, совершенно не военное, несколько комическое, но чрезвычайно привлекательное.

Штаб-офицер и князь Андрей сели на лошадей и поехали дальше.

Выехав за деревню, беспрестанно обгоняя и встречая идущих солдат, офицеров разных команд, они увидали налево краснеющие свежею, вновь вскопанною глиною строящиеся укрепления. Несколько батальонов солдат в одних рубахах, несмотря на холодный ветер, как белые муравьи, копошились на этих укреплениях; из-за вала невидимо кем беспрестанно выкидывались лопаты красной глины. Они подъехали к укреплению, осмотрели его и поехали дальше. За самым укреплением наткнулись они на несколько десятков солдат, беспрестанно переменяющихся, сбегающих с укрепления. Они должны были зажать нос и тронуть лошадей рысью, чтобы выехать из этой отравленной атмосферы.

— Voilà l'agrément des camps, monsieur le prince [1], — сказал дежурный штаб-офицер.

Они выехали на противоположную гору. С этой горы уже видны были французы. Князь Андрей остановился и начал рассматривать.

— Вот тут наша батарея стоит, — сказал штаб-офицер, указывая на самый высокий пункт, — того самого чудака, что без сапог сидел; оттуда все видно: поедемте, князь.

— Покорно благодарю, я теперь один проеду, — сказал князь Андрей, желая избавиться от штаб-офицера, — не беспокойтесь, пожалуйста.

Штаб-офицер отстал, и князь Андрей поехал один.

Чем далее подвигался он вперед, ближе к неприятелю, тем порядочнее и веселее становился вид войск. Самый сильный беспорядок и уныние были в том обозе перед

---

[1] Вот приятность лагеря, князь.

Цнаймом, который объезжал утром князь Андрей и который был в десяти верстах от французов. В Грунте тоже чувствовалась некоторая тревога и страх чего-то. Но чем ближе подъезжал князь Андрей к цепи французов, тем самоувереннее становился вид наших войск. Выстроенные в ряд, стояли в шинелях солдаты, и фельдфебель и ротный рассчитывали людей, тыкая пальцем в грудь крайнему по отделению солдату и приказывая ему поднимать руку; рассыпанные по всему пространству, солдаты тащили дрова и хворост и строили балаганчики, весело смеясь и переговариваясь; у костров сидели одетые и голые, суша рубахи, подвертки или починивая сапоги и шинели, толпились около котлов и кашеваров. В одной роте обед был готов, и солдаты с жадными лицами смотрели на дымившиеся котлы и ждали пробы, которую в деревянной чашке подносил каптенармус офицеру, сидевшему на бревне против своего балагана.

В другой, более счастливой роте, так как не у всех была водка, солдаты, толпясь, стояли около рябого широкоплечего фельдфебеля, который, нагибая бочонок, лил в подставляемые поочередно крышки манерок. Солдаты с набожными лицами подносили ко рту манерки, опрокидывали их и, полоща рот и утираясь рукавами шинелей, с повеселевшими лицами отходили от фельдфебеля. Все лица были такие спокойные, как будто все происходило не в виду неприятеля, перед делом, где должна была остаться на месте, по крайней мере, половина отряда, а как будто где-нибудь на родине в ожидании спокойной стоянки. Проехав егерский полк, в рядах киевских гренадеров, молодцеватых людей, занятых теми же мирными делами, князь Андрей недалеко от высокого, отличавшегося от других балагана полкового командира наехал на фронт взвода гренадер, перед которыми лежал обнаженный человек. Двое солдат держали его, а двое взмахивали гибкие прутья и мерно ударяли по обнаженной спине. Наказываемый неестественно кричал. Толстый майор ходил перед фронтом и, не переставая и не обращая внимания на крик, говорил:

— Солдату позорно красть, солдат должен быть честен, благороден и храбр; а коли у своего брата украл, так в нем чести нет; это мерзавец. Еще, еще!

И все слышались гибкие удары и отчаянный, но притворный крик.

— Еще, еще,— приговаривал майор.

Молодой офицер, с выражением недоумения и страдания в лице, отошел от наказываемого, оглядываясь вопросительно на проезжавшего адъютанта.

Князь Андрей, выехав в переднюю линию, поехал по фронту. Цепь наша и неприятельская стояли на левом и на правом фланге далеко друг от друга, но в средине, в том месте, где утром проезжали парламентеры, цепи сошлись так близко, что могли видеть лица друг друга и переговариваться между собою. Кроме солдат, занимавших цепь в этом месте, с той и с другой стороны стояло много любопытных, которые, посмеиваясь, разглядывали странных и чуждых для них неприятелей.

С раннего утра, несмотря на запрещение подходить к цепи, начальники не могли отбиться от любопытных. Солдаты, стоявшие в цепи, как люди, показывающие что-нибудь редкое, уж не смотрели на французов, а делали свои наблюдения над приходящими и, скучая, дожидались смены. Князь Андрей остановился рассматривать французов.

— Глянь-ка, глянь, — говорил один солдат товарищу, указывая на русского мушкетера-солдата, который с офицером подошел к цепи и что-то часто и горячо говорил с французским гренадером. — Вишь, лопочет как ловко! Аж хранцуз-то за ним не поспевает. Ну-ка ты, Сидоров...

— Погоди, послухай. Ишь ловко! — отвечал Сидоров, считавшийся мастером говорить по-французски.

Солдат, на которого указывали смеявшиеся, был Долохов. Князь Андрей узнал его и прислушался к его разговору. Долохов вместе с своим ротным пришел в цепь с левого фланга, на котором стоял их полк.

— Ну, еще, еще! — подстрекал ротный командир, нагибаясь вперед и стараясь не проронить ни одного непонятного для него слова. — Пожалуйста, почаще. Что он?

Долохов не отвечал ротному; он был вовлечен в горячий спор с французским гренадером. Они говорили, как и должно было быть, о кампании. Француз доказывал, смешивая австрийцев с русскими, что русские сдались и бежали от самого Ульма; Долохов доказывал, что русские не сдавались, а били французов.

— Здесь велят прогнать вас, и прогоним, — говорил Долохов.

— Только старайтесь, чтобы вас не забрали со всеми вашими казаками, — сказал гренадер-француз.

Зрители и слушатели французы засмеялись.

— Вас заставят плясать, как при Суворове вы плясали (on vous fera danser) [1], — сказал Долохов.

— Qu'est-ce qu'il chante? [2] — сказал один француз.

— De l'histoire ancienne, — сказал другой, догадавшись, что дело шло о прежних войнах. — L'Empereur va lui faire voir à votre Souvara, comme aux autres...[3]

— Бонапарте... — начал было Долохов, но француз перебил его.

— Нет Бонапарте. Есть император! Sacré nom...[4] — сердито крикнул он.

— Черт его дери, вашего императора!

И Долохов по-русски, грубо, по-солдатски обругался и, вскинув ружье, отошел прочь.

— Пойдемте, Иван Лукич, — сказал он ротному.

— Вот так по-хранцузски, — заговорили солдаты в цепи. — Ну-ка, ты, Сидоров!

Сидоров подмигнул и, обращаясь к французам, начал часто, часто лопотать непонятные слова.

— Кари, мала, тафа, сафи, мутер, каска́, — лопотал он, стараясь придать выразительные интонации своему говору.

— Го, го, го! Ха, ха, ха, ха! Ух! Ух! — раздался между солдатами грохот такого здорового и веселого хохота, невольно через цепь сообщившегося и французам, что после этого, казалось, нужно было поскорее разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее всем по домам.

Но ружья остались заряжены, бойницы в домах и укреплениях так же грозно смотрели вперед и так же, как прежде, остались друг против друга обращенные, снятые с передков пушки.

XVI

Объехав всю линию войск от правого до левого фланга, князь Андрей поднялся на ту батарею, с которой, по словам штаб-офицера, все поле было видно. Здесь он слез с лошади и остановился у крайнего из четырех снятых с передков орудий. Впереди орудий ходил часовой артиллерист, вытянувшийся было перед офицером, но по сде-

---

[1] вас заставят плясать.

[2] Что он там поет?

[3] Древняя история. Император покажет вашему Сувара, как и другим...

[4] Черт возьми...

данному ему знаку возобновивший свое равномерное, скучливое хождение. Сзади орудий стояли передки, еще сзади коновязь и костры артиллеристов. Налево, недалеко от крайнего орудия, был новый плетеный шалашик, из которого слышались оживленные офицерские голоса.

Действительно, с батареи открывался вид почти всего расположения русских войск и большей части неприятеля. Прямо против батареи, на горизонте противоположного бугра, виднелась деревня Шенграбен; левее и правее можно было различить в трех местах среди дыма их костров массы французских войск, которых, очевидно, бóльшая часть находилась в самой деревне и за горою. Левее деревни, в дыму, казалось что-то похожее на батарею, но простым глазом нельзя было рассмотреть хорошенько. Правый фланг наш располагался на довольно крутом возвышении, которое господствовало над позицией французов. По нем расположена была наша пехота, и на самом краю видны были драгуны. В центре, где и находилась та батарея Тушина, с которой рассматривал позицию князь Андрей, был самый отлогий и прямой спуск и подъем к ручью, отделявшему нас от Шенграбена. Налево войска наши примыкали к лесу, где дымились костры нашей, рубившей дрова, пехоты. Линия французов была шире нашей, и ясно было, что французы легко могли обойти нас с обеих сторон. Сзади нашей позиции был крутой и глубокий овраг, по которому трудно было отступать артиллерии и коннице. Князь Андрей, облокотясь на пушку и достав бумажник, начертил для себя план расположения войск. В двух местах он карандашом поставил заметки, намереваясь сообщить их Багратиону. Он предполагал, во-первых, сосредоточить всю артиллерию в центре, во-вторых, кавалерию перевести назад, на ту сторону оврага. Князь Андрей, постоянно находясь при главнокомандующем, следя за движениями масс и общими распоряжениями и постоянно занимаясь историческими описаниями сражений, и в этом предстоящем деле невольно соображал будущий ход военных действий только в общих чертах. Ему представлялись лишь следующего рода крупные случайности: «Ежели неприятель поведет атаку на правый фланг, — говорил он сам себе,— Киевский гренадерский и Подольский егерский должны будут удерживать свою позицию до тех пор, пока резервы центра не подойдут к ним. В этом случае драгуны могут ударить во фланг и опрокинуть их. В случае же

атаки на центр мы выставляем на этом возвышении центральную батарею и под ее прикрытием стягиваем левый фланг и отступаем до оврага эшелонами», — рассуждал он сам с собою...

Все время, что он был на батарее у орудия, он, как это часто бывает, не переставая слышал звуки голосов офицеров, говоривших в балагане, но не понимал ни одного слова из того, что они говорили. Вдруг звук голосов из балагана поразил его таким задушевным тоном, что он невольно стал прислушиваться.

— Нет, голубчик, — говорил приятный и как будто знакомый князю Андрею голос, — я говорю, что коли бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся. Так-то, голубчик!

Другой, более молодой голос перебил его:

— Да бойся, не бойся, все равно — не минуешь.

— А все боишься! Эх вы, ученые люди, — сказал третий, мужественный голос, перебивая обоих. — То-то вы, артиллеристы, и учены очень оттого, что все с собой свезти можно, и водочки и закусочки.

И владелец мужественного голоса, видимо, пехотный офицер, засмеялся.

— А все боишься, — продолжал первый знакомый голос. — Боишься неизвестности, вот чего. Как там ни говори, что душа на небо пойдет... ведь это мы знаем, что неба нет, а есть атмосфера одна.

Опять мужественный голос перебил артиллериста.

— Ну, угостите же травником-то вашим, Тушин, — сказал он.

«А, это тот самый капитан, который без сапог стоял у маркитанта», — подумал князь Андрей, с удовольствием признавая приятный философствовавший голос.

— Травничку можно, — сказал Тушин, — а все-таки будущую жизнь постигнуть... — Он не договорил.

В это время в воздухе послышался свист; ближе, ближе, быстрее и слышнее, слышнее и быстрее, и ядро, как будто не договорив всего, что нужно было, с нечеловеческою силой взрывая брызги, шлепнулось в землю недалеко от балагана. Земля как будто ахнула от страшного удара.

В то же мгновение из балагана выскочил прежде всех маленький Тушин с закушенною набок трубочкой; доброе, умное лицо его было несколько бледно. За ним вышел владетель мужественного голоса, молодцеватый пехотный офицер, и побежал к своей роте, на бегу застегиваясь.

XVII

Князь Андрей верхом остановился на батарее, глядя на дым орудия, из которого вылетело ядро. Глаза его разбегались по обширному пространству. Он видел только, что прежде неподвижные массы французов заколыхались и что налево действительно была батарея. На ней еще не разошелся дымок. Французские два конные, вероятно адъютанта, проскакали по горе. Под гору, вероятно, для усиления цепи, двигалась явственно видневшаяся небольшая колонна неприятеля. Еще дым первого выстрела не рассеялся, как показался другой дымок и выстрел. Сраженье началось. Князь Андрей повернул лошадь и поскакал назад в Грунт отыскивать князя Багратиона. Сзади себя он слышал, как канонада становилась чаще и громче. Видно, наши начинали отвечать. Внизу, в том месте, где проезжали парламентеры, послышались ружейные выстрелы.

Лемарруа (Lemarrois) с грозным письмом Бонапарта только что прискакал к Мюрату, и пристыженный Мюрат, желая загладить свою ошибку, тотчас же двинул свои войска на центр и в обход обоих флангов, надеясь еще до вечера и до прибытия императора раздавить ничтожный, стоявший перед ним отряд.

«Началось! Вот оно!» — думал князь Андрей, чувствуя, как кровь чаще начинала приливать к его сердцу. «Но где же? Как же выразится мой Тулон?» — думал он.

Проезжая между тех же рот, которые ели кашу и пили водку четверть часа тому назад, он везде видел одни и те же быстрые движения строившихся и разбиравших ружья солдат, и на всех лицах узнавал он то чувство оживления, которое было в его сердце. «Началось! Вот оно! Страшно и весело!» — говорило лицо каждого солдата и офицера.

Не доехав еще до строившегося укрепления, он увидел в вечернем свете пасмурного осеннего дня подвигавшихся ему навстречу верховых. Передовой, в бурке и картузе со смушками, ехал на белой лошади. Это был князь Багратион. Князь Андрей остановился, ожидая его. Князь Багратион приостановил свою лошадь и, узнав князя Андрея, кивнул ему головой. Он продолжал смотреть вперед в то время, как князь Андрей говорил ему то, что он видел.

Выражение «Началось! вот оно!» было даже и на крепком карем лице князя Багратиона с полузакрытыми,

мутными, как будто невыспавшимися глазами. Князь Андрей с беспокойным любопытством вглядывался в это неподвижное лицо, и ему хотелось знать, думает ли и чувствует, и что думает, что чувствует этот человек в эту минуту? «Есть ли вообще что-нибудь там, за этим неподвижным лицом?» — спрашивал себя князь Андрей, глядя на него. Князь Багратион наклонил голову, в знак согласия на слова князя Андрея, и сказал «хорошо» с таким выражением, как будто все то, что происходило и что ему сообщали, было именно то, что он уже предвидел. Князь Андрей, запыхавшись от быстроты езды, говорил быстро. Князь Багратион произносил слова с своим восточным акцентом особенно медленно, как бы внушая, что торопиться некуда. Он тронул, однако, рысью свою лошадь по направлению к батарее Тушина. Князь Андрей вместе с свитой поехал за ним. За князем Багратионом ехали: свитский офицер, личный адъютант князя, Жерков, ординарец, дежурный штаб-офицер на энглизированной красивой лошади и статский чиновник, аудитор, который из любопытства попросился ехать в сражение. Аудитор, полный мужчина с полным лицом, с наивною улыбкой радости оглядывался вокруг, трясясь на своей лошади, представляя странный вид в своей камлотовой шинели на фурштатском седле, среди гусар, казаков и адъютантов.

— Вот хочет сраженье посмотреть, — сказал Жерков Болконскому, указывая на аудитора, — да под ложечкой уж заболело.

— Ну, полно вам, — проговорил аудитор с сияющею, наивною и вместе хитрою улыбкой, как будто ему лестно было, что он составляет предмет шуток Жеркова, и как будто он нарочно старался казаться глупее, чем он был в самом деле.

— Très drôle, mon monsieur prince[1], — сказал дежурный штаб-офицер. (Он помнил, что по-французски как-то особенно говорится титул *князь,* и никак не мог наладить.)

В это время они все уже подъезжали к батарее Тушина, и впереди их ударилось ядро.

— Что ж это упало? — наивно улыбаясь, спросил аудитор.

— Лепешки французские, — сказал Жерков.

---

[1] Очень забавно, мой господин князь.

— Этим-то бьют, значит? — спросил аудитор. — Страсть-то какая!

И он, казалось, распускался весь от удовольствия. Едва он договорил, как опять раздался неожиданно страшный свист, вдруг прекратившийся ударом во что-то жидкое, и ш-ш-ш-шлеп — казак, ехавший несколько правее и сзади аудитора, с лошадью рухнулся на землю. Жерков и дежурный штаб-офицер пригнулись к седлам и прочь поворотили лошадей. Аудитор остановился против казака, со внимательным любопытством рассматривая его. Казак был мертв, лошадь еще билась.

Князь Багратион, прищурившись, оглянулся и, увидав причину происшедшего замешательства, равнодушно отвернулся, как будто говоря: «Сто́ит ли глупостями заниматься!» Он остановил лошадь с приемом хорошего ездока, несколько перегнулся и выправил зацепившуюся за бурку шпагу. Шпага была старинная, не такая, какие носились теперь. Князь Андрей вспомнил рассказ о том, как Суворов в Италии подарил свою шпагу Багратиону, и ему в эту минуту особенно приятно было это воспоминание. Они подъехали к той самой батарее, у которой стоял Болконский, когда рассматривал поле сражения.

— Чья рота? — спросил князь Багратион у фейерверкера, стоявшего у ящиков.

Он спрашивал: «Чья рота?», а в сущности он спрашивал: «Уж не робеете ли вы тут?» И фейерверкер понял это.

— Капитана Тушина, ваше превосходительство, — вытягиваясь, закричал веселым голосом рыжий, с покрытым веснушками лицом, фейерверкер.

— Так, так, — проговорил Багратион, что-то соображая, и мимо передков проехал к крайнему орудию.

В то время как он подъезжал, из орудия этого, оглушая его и свиту, зазвенел выстрел, и в дыму, вдруг окружившем орудие, видны были артиллеристы, подхватившие пушку и, торопливо напрягаясь, накатывавшие ее на прежнее место. Широкоплечий, огромный солдат первый нумер с банником, широко расставив ноги, отскочил к колесу. Второй нумер трясущейся рукой клал заряд в дуло. Небольшой сутуловатый человек, офицер Тушин, спотыкнувшись на хобот, выбежал вперед, не замечая генерала и выглядывая из-под маленькой ручки.

— Еще две линии прибавь, как раз так будет, — закричал он тоненьким голоском, которому он старался

придать молодцеватость, не шедшую к его фигуре. — Второе, — пропищал он. — Круши, Медведев!

Багратион окликнул офицера, и Тушин, робким и неловким движением, совсем не так, как салютуют военные, а так, как благословляют священники, приложив три пальца к козырьку, подошел к генералу. Хотя орудия Тушина были назначены для того, чтоб обстреливать лощину, он стрелял брандскугелями по видневшейся впереди деревне Шенграбен, перед которой выдвигались большие массы французов.

Никто не приказывал Тушину, куда и чем стрелять, и он, посоветовавшись с своим фельдфебелем Захарченком, к которому имел большое уважение, решил, что хорошо было бы зажечь деревню. «Хорошо!» — сказал Багратион на доклад офицера и стал оглядывать все открывавшееся перед ним поле сражения, как бы что-то соображая. С правой стороны ближе всего подошли французы. Пониже высоты, на которой стоял Киевский полк, в лощине речки слышалась хватающая за душу перекатная трескотня ружей, и гораздо правее, за драгунами, свитский офицер указывал князю на обходившую наш фланг колонну французов. Налево горизонт ограничивался близким лесом. Князь Багратион приказал двум батальонам из центра идти на подкрепление, направо. Свитский офицер осмелился заметить князю, что по уходе этих батальонов орудия останутся без прикрытия. Князь Багратион обернулся к свитскому офицеру и тусклыми глазами посмотрел на него молча. Князю Андрею казалось, что замечание свитского офицера было справедливо и что действительно сказать было нечего. Но в это время прискакал адъютант от полкового командира, бывшего в лощине, с известием, что огромные массы французов шли низом, что полк расстроен и отступает к киевским гренадерам. Князь Багратион наклонил голову в знак согласия и одобрения. Шагом поехал он направо и послал адъютанта к драгунам с приказанием атаковать французов. Но посланный туда адъютант приехал через полчаса с известием, что драгунский полковой командир уже отступил за овраг, ибо против него был направлен сильный огонь и он понапрасну терял людей и потому спéшил стрелков в лес.

— Хорошо! — сказал Багратион.

В то время как он отъезжал от батареи, налево тоже послышались выстрелы в лесу, и так как было слишком

далеко от левого фланга, чтоб успеть самому приехать вовремя, князь Багратион послал туда Жеркова сказать старшему генералу, тому самому, который представлял полк Кутузову в Браунау, чтоб он отступил сколь можно поспешнее за овраг, потому что правый фланг, вероятно, не в силах будет долго удерживать неприятеля. Про Тушина же и батальон, прикрывавший его, было забыто. Князь Андрей тщательно прислушивался к разговорам князя Багратиона с начальниками и к отдаваемым им приказаниям и, к удивлению, замечал, что приказаний никаких отдаваемо не было, а что князь Багратион только старался делать вид, что все, что делалось по необходимости, случайности и воле частных начальников, что все это делалось хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями. Благодаря такту, который выказывал князь Багратион, князь Андрей замечал, что, несмотря на эту случайность событий и независимость их от воли начальника, присутствие его сделало чрезвычайно много. Начальники, с расстроенными лицами подъезжавшие к князю Багратиону, становились спокойны, солдаты и офицеры весело приветствовали его и становились оживленнее в его присутствии и, видимо, щеголяли перед ним своею храбростию.

XVIII

Князь Багратион, выехав на самый высокий пункт нашего правого фланга, стал спускаться книзу, где слышалась перекатная стрельба и ничего не видно было от порохового дыма. Чем ближе они спускались к лощине, тем менее им становилось видно, но тем чувствительнее становилась близость самого настоящего поля сражения. Им стали встречаться раненые. Одного, с окровавленною головой, без шапки, тащили двое солдат под руки. Он хрипел и плевал. Пуля попала, видно, в рот или в горло. Другой, встретившийся им, бодро шел один, без ружья, громко охая и махая от свежей боли рукою, из которой кровь лилась, как из склянки, на его шинель. Лицо его казалось больше испуганным, чем страдающим. Он минуту тому назад был ранен. Переехав дорогу, они стали круто спускаться и на спуске увидали несколько человек, которые лежали; им встретилась толпа солдат, в числе которых были и не раненые. Солдаты шли в гору, тяжело дыша, и, несмотря на вид генерала, громко разговаривали

и махали руками. Впереди, в дыму, уже были видны ряды серых шинелей, и офицер, увидав Багратиона, с криком побежал за солдатами, шедшими толпой, требуя, чтоб они воротились. Багратион подъехал к рядам, по которым то там, то здесь быстро щелкали выстрелы, заглушая говор и командные крики. Весь воздух пропитан был пороховым дымом. Лица солдат все были закопчены порохом и оживлены. Иные забивали шомполами, другие подсыпали на полки, доставали заряды из сумок, третьи стреляли. Но в кого они стреляли, этого не было видно от порохового дыма, не уносимого ветром. Довольно часто слышались приятные звуки жужжанья и свистения. «Что это такое? — думал князь Андрей, подъезжая к этой толпе солдат. — Это не может быть цепь, потому что они в куче! Не может быть атака, потому что они не двигаются; не может быть каре: они не так стоят».

Худощавый, слабый на вид старичок, полковой командир, с приятною улыбкой, с веками, которые больше чем наполовину закрывали его старческие глаза, придавая ему кроткий вид, подъехал к князю Багратиону и принял его, как хозяин дорогого гостя. Он доложил князю Багратиону, что против его полка была конная атака французов, но что, хотя атака эта отбита, полк потерял больше половины людей. Полковой командир сказал, что атака была отбита, придумав это военное название тому, что происходило в его полку; но он действительно сам не знал, что происходило в эти полчаса во вверенных ему войсках, и не мог с достоверностью сказать, была ли отбита атака или полк его был разбит атакой. В начале действий он знал только то, что по всему его полку стали летать ядра и гранаты и бить людей, что потом кто-то закричал: «Конница», и наши стали стрелять. И стреляли до сих пор уже не в конницу, которая скрылась, а в пеших французов, которые показались в лощине и стреляли по нашим. Князь Багратион наклонил голову в знак того, что все это было совершенно так, как он желал и предполагал. Обратившись к адъютанту, он приказал ему привести с горы два батальона 6-го егерского, мимо которых они сейчас проехали. Князя Андрея поразила в эту минуту перемена, происшедшая в лице князя Багратиона. Лицо его выражало ту сосредоточенную и счастливую решимость, которая бывает у человека, готового в жаркий день броситься в воду и берущего последний разбег. Не было ни невыспавшихся, тусклых глаз, ни притворно глубоко-

мысленного вида: круглые, твердые, ястребиные глаза восторженно и несколько презрительно смотрели вперед, очевидно, ни на чем не останавливаясь, хотя в его движениях оставалась прежняя медленность и размеренность.

Полковой командир обратился к князю Багратиону, упрашивая его отъехать назад, так как здесь было слишком опасно. «Помилуйте, ваше сиятельство, ради бога! — говорил он, за подтверждением взглядывая на свитского офицера, который отвертывался от него. — Вот, изволите видеть!» Он давал заметить пули, которые беспрестанно визжали, пели и свистали около них. Он говорил таким тоном просьбы и упрека, с каким плотник говорит взявшемуся за топор барину: «Наше дело привычное, а вы ручки намозолите». Он говорил так, как будто его самого не могли убить эти пули, и его полузакрытые глаза придавали его словам еще более убедительное выражение. Штаб-офицер присоединился к увещаниям полкового командира; но князь Багратион не отвечал им и только приказал перестать стрелять и построиться так, чтобы дать место подходившим двум батальонам. В то время как он говорил, будто невидимою рукой потянулся справа налево, от поднявшегося ветра, полог дыма, скрывавший лощину, и противоположная гора с двигающимися по ней французами открылась перед ними. Все глаза были невольно устремлены на эту французскую колонну, подвигавшуюся к ним и извивавшуюся по уступам местности. Уже видны были мохнатые шапки солдат; уже можно было отличить офицеров от рядовых; видно было, как трепалось о древко их знамя.

— Славно идут, — сказал кто-то в свите Багратиона.

Голова колонны спустилась уже в лощину. Столкновение должно было произойти на этой стороне спуска...

Остатки нашего полка, бывшего в деле, поспешно строясь, отходили вправо; из-за них, разгоняя отставших, подходили стройно два батальона 6-го егерского. Они еще не поравнялись с Багратионом, а уже слышен был тяжелый, грузный шаг, отбиваемый в ногу всею массой людей. С левого фланга шел ближе всех к Багратиону ротный командир, круглолицый, статный мужчина с глупым, счастливым выражением лица, тот самый, который выбежал из балагана. Он, видимо, ни о чем не думал в эту минуту, кроме того, что он молодцом пройдет мимо начальства.

С фрунтовым самодовольством он шел легко на мускулистых ногах, точно он плыл, без малейшего усилия вытягиваясь и отличаясь этою легкостью от тяжелого шага солдат, шедших по его шагу. Он нес у ноги вынутую тоненькую, узенькую шпагу (гнутую шпажку, не похожую на оружие) и, оглядываясь то на начальство, то назад, не теряя шагу, гибко поворачивался всем своим сильным станом. Казалось, все силы души его были направлены на то, чтобы наилучшим образом пройти мимо начальства, и, чувствуя, что он исполняет это дело хорошо, он был счастлив. «Левой... левой... левой...» — казалось, внутренно приговаривал он через каждый шаг, и по этому такту с разнообразно строгими лицами двигалась стена солдатских фигур, отягченных ранцами и ружьями, как будто каждый из этих сотен солдат мысленно через шаг приговаривал: «Левой... левой... левой...» Толстый майор, пыхтя и разрознивая шаг, обходил куст по дороге; отставший солдат, запыхавшись, с испуганным лицом за свою неисправность, рысью догонял роту; ядро, нажимая воздух, пролетело над головой князя Багратиона и свиты и в такт: «Левой — левой!» — ударилось в колонну. «Сомкнись!» — послышался щеголяющий голос ротного командира. Солдаты дугой обходили что-то в том месте, куда упало ядро, и старый кавалер, фланговый унтер-офицер, отстав около убитых, догнал свой ряд, подпрыгнув, переменил ногу, попал в шаг и сердито оглянулся. «Левой... левой... левой...» — казалось, слышалось из-за угрожающего молчания и однообразного звука единовременно ударяющих о землю ног.

— Молодцами, ребята! — сказал князь Багратион.

«Ради... ого-го-го-го-го!..» — раздалось по рядам. Угрюмый солдат, шедший слева, крича, оглянулся глазами на Багратиона с таким выражением, как будто говорил: «Сами знаем»; другой, не оглядываясь и как будто боясь развлечься, разинув рот, кричал и проходил.

Велено было остановиться и снять ранцы.

Багратион объехал прошедшие мимо его ряды и слез с лошади. Он отдал казаку поводья, снял и отдал бурку, расправил ноги и поправил на голове картуз. Голова французской колонны, с офицерами впереди, показалась из-за горы.

— С богом! — проговорил Багратион твердым, слышным голосом, на мгновение обернулся к фронту и, слегка размахивая руками, неловким шагом кавалериста, как бы

трудясь, пошел вперед по неровному полю. Князь Андрей чувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет его вперед, и испытывал большое счастие [1].

Уже близко становились французы; уже князь Андрей, шедший рядом с Багратионом, ясно различал перевязи, красные эполеты, даже лица французов. (Он ясно видел одного старого французского офицера, который вывернутыми ногами в штиблетах, придерживаясь за кусты, с трудом шел в гору.) Князь Багратион не давал нового приказания и все так же молча шел перед рядами. Вдруг между французами треснул один выстрел, другой, третий... и по всем расстроившимся неприятельским рядам разнесся дым и затрещала пальба. Несколько человек наших упало, в том числе и круглолицый офицер, шедший так весело и старательно. Но в то же мгновение, как раздался первый выстрел, Багратион оглянулся и закричал: «Ура!»

«Ура-а-а-а!» — протяжным криком разнеслось по нашей линии, и, обгоняя князя Багратиона и друг друга, нестройною, но веселою и оживленною толпой побежали наши под гору за расстроенными французами.

XIX

Атака 6-го егерского обеспечила отступление правого фланга. В центре действие забытой батареи Тушина, успевшего зажечь Шенграбен, останавливало движение французов. Французы тушили пожар, разносимый ветром, и давали время отступать. Отступление центра через овраг совершалось поспешно и шумно; однако войска, отступая, не путались командами. Но левый фланг, который единовременно был атакован и обходим превосходными силами французов под начальством Ланна и который состоял из Азовского и Подольского пехотных и Павлоградского гусарского полков, был расстроен. Багра-

[1] Тут произошла та атака, про которую Тьер говорит: «Les russes se conduisirent vaillament, et chose rare à la guerre, on vit deux masses d'infanterie marcher résolument l'une contre l'autre sans qu'aucune des deux céda avant d'être abordée» (Русские вели себя доблестно, и вещь — редкая на войне, две массы пехоты шли решительно одна против другой, и ни одна из двух не уступила до самого столкновения), а Наполеон на острове Св. Елены сказал: «Quelques bataillons russes montrèrent de l'intrépidité» ‹Несколько русских батальонов проявили бесстрашие. — *Ред.*›.

тион послал Жеркова к генералу левого фланга с приказанием немедленно отступать.

Жерков, бойко, не отнимая руки от фуражки, тронул лошадь и поскакал. Но едва только он отъехал от Багратиона, как силы изменили ему. На него нашел непреодолимый страх, и он не мог ехать туда, где было опасно.

Подъехав к войскам левого фланга, он поехал не вперед, где была стрельба, а стал отыскивать генерала и начальников там, где их не могло быть, и потому не передал приказания.

Командование левым флангом принадлежало по старшинству полковому командиру того самого полка, который представлялся под Браунау Кутузову и в котором служил солдатом Долохов. Командование же крайнего левого фланга было предназначено командиру Павлоградского полка, где служил Ростов, вследствие чего произошло недоразумение. Оба начальника были сильно раздражены друг против друга, и в то самое время как на правом фланге давно уже шло дело и французы уже начали наступление, оба начальника были заняты переговорами, которые имели целью оскорбить друг друга. Полки же, как кавалерийский, так и пехотный, были весьма мало приготовлены к предстоящему делу. Люди полков, от солдата до генерала, не ждали сражения и спокойно занимались мирными делами: кормлением лошадей — в коннице, собиранием дров — в пехоте.

— Есть он, однако, старше моего в чином, — говорил немец, гусарский полковник, краснея и обращаясь к подъехавшему адъютанту, — то оставляяй его делать, как он хочет. Я своих гусар не могу жертвовать. Трубач! Играй отступление!

Но дело становилось к спеху. Канонада и стрельба, сливаясь, гремели справа и в центре, и французские капоты стрелков Ланна проходили уже плотину мельницы и выстраивались на этой стороне в двух ружейных выстрелах. Пехотный полковник вздрагивающею походкой подошел к лошади и, взлезши на нее и сделавшись очень прямым и высоким, поехал к павлоградскому командиру. Полковые командиры съехались с учтивыми поклонами и со скрываемою злобой в сердце.

— Опять-таки, полковник, — говорил генерал, — не могу я, однако, оставить половину людей в лесу. Я вас *прошу,* я вас *прошу,* — повторил он, — занять *позицию* и приготовиться к атаке.

— А вас прошу, не мешивайться не свое дело, — отвечал, горячась, полковник. — Коли бы вы был кавалерист...

— Я не кавалерист, полковник, но я русский генерал, и ежели вам это неизвестно...

— Очень известно, ваше превосходительство, — вдруг вскрикнул, трогая лошадь, полковник, и делаясь красно-багровым. — Не угодно ли пожаловать в цепи, и мы будете посмотрейть, что этот позиция никуда не годный. Я не хочу истребляйть своя полка для ваше удовольствий.

— Вы забываетесь, полковник. Я не удовольствие свое соблюдаю и говорить этого не позволю.

Генерал, принимая приглашение полковника на турнир храбрости, выпрямив грудь и нахмурившись, поехал с ним вместе по направлению к цепи, как будто все их разногласие должно было решиться там, в цепи, под пулями. Они приехали в цепь, несколько пуль пролетело над ними, и они молча остановились. Смотреть в цепи нечего было, так как и с того места, на котором они прежде стояли, ясно было, что по кустам и оврагам кавалерии действовать невозможно и что французы обходят левое крыло. Генерал и полковник строго и значительно смотрели, как два петуха, готовящиеся к бою, друг на друга, напрасно выжидая признаков трусости. Оба выдержали экзамен. Так как говорить было нечего и ни тому, ни другому не хотелось подать повод другому сказать, что он первый выехал из-под пуль, они долго простояли бы там, взаимно испытывая храбрость, ежели бы в это время в лесу, почти сзади их, не послышались трескотня ружей и глухой сливающийся крик. Французы напали на солдат, находившихся в лесу с дровами. Гусарам уже нельзя было отступать вместе с пехотой. Они были отрезаны от пути отступления налево французскою цепью. Теперь, как ни неудобна была местность, необходимо было атаковать, чтобы проложить себе дорогу.

Эскадрон, где служил Ростов, только что успевший сесть на лошадей, был остановлен лицом к неприятелю. Опять, как и на Энском мосту, между эскадроном и неприятелем никого не было, и между ними, разделяя их, лежала та же страшная черта неизвестности и страха, как бы черта, отделяющая живых от мертвых. Все люди чувствовали эту черту, и вопрос о том, перейдут ли, или нет и как перейдут они эту черту, волновал их.

Ко фронту подъехал полковник, сердито ответил что-то на вопросы офицеров и, как человек, отчаянно настаи-

вающий на своем, отдал какое-то приказание. Никто ничего определенного не говорил, но по эскадрону пронеслась молва об атаке. Раздалась команда построения, потом визгнули сабли, вынутые из ножен. Но всё еще никто не двигался. Войска левого фланга, и пехота и гусары, чувствовали, что начальство само не знает, что делать, и нерешимость начальников сообщалась войскам.

«Поскорее, поскорее бы», — думал Ростов, чувствуя, что наконец-то наступило время изведать наслаждение атаки, про которое он так много слышал от товарищей-гусаров.

— С богом, г'ебята, — прозвучал голос Денисова, — г'ысью, маг'ш.

В переднем ряду заколыхались крупы лошадей. Грачик потянул поводья и сам тронулся.

Справа Ростов видел первые ряды своих гусар, а еще дальше впереди виднелась ему темная полоса, которую он не мог рассмотреть, но считал неприятелем. Выстрелы были слышны, но в отдалении.

— Прибавь рыси! — послышалась команда, и Ростов чувствовал, как поддает задом, перебивая в галоп, его Грачик.

Он вперед угадывал его движения, и ему становилось все веселее и веселее. Он заметил одинокое дерево впереди. Это дерево сначала было впереди, на середине той черты, которая казалась столь страшною. А вот и перешли эту черту, и не только ничего страшного не было, но все веселее и оживленнее становилось. «Ох, как я рубану его», — думал Ростов, сжимая в руке эфес сабли.

— Ур-р-а-а-а!! — загудели голоса.

«Ну, попадись теперь кто бы ни был», — думал Ростов, вдавливая шпоры Грачику, и, перегоняя других, выпустил его во весь карьер. Впереди уже виден был неприятель. Вдруг, как широким веником, стегнуло что-то по эскадрону. Ростов поднял саблю, готовясь рубить, но в это время впереди скакавший солдат Никитенко отделился от него, и Ростов почувствовал, как во сне, что продолжает нестись с неестественною быстротой вперед и вместе с тем остается на месте. Сзади знакомый гусар Бандарчук наскакал на него и сердито посмотрел. Лошадь Бандарчука шарахнулась, и он обскакал мимо.

«Что ж это? я не подвигаюсь? — Я упал, я убит...» — в одно мгновение спросил и ответил Ростов. Он был уже один посреди поля. Вместо двигавшихся лошадей и гусарских спин он видел вокруг себя неподвижную землю и

жнивье. Теплая кровь была под ним. «Нет, я ранен, и лошадь убита». Грачик поднялся было на передние ноги, но упал, придавив седоку ногу. Из головы лошади текла кровь. Лошадь билась и не могла встать. Ростов хотел подняться и упал тоже: ташка зацепилась за седло. Где были наши, где были французы — он не знал. Никого не было кругом.

Высвободив ногу, он поднялся. «Где, с какой стороны была теперь та черта, которая так резко отделяла два войска?» — спрашивал он себя и не мог ответить. «Уже не дурное ли что-нибудь случилось со мной? Бывают ли такие случаи, и что надо делать в таких случаях?» — спросил он сам себя, вставая; и в это время почувствовал, что что-то лишнее висит на его левой онемевшей руке. Кисть ее была как чужая. Он оглядывал руку, тщетно отыскивая на ней кровь. «Ну, вот и люди, — подумал он радостно, увидав несколько человек, бежавших к нему. — Они мне помогут!» Впереди этих людей бежал один в странном кивере и в синей шинели, черный, загорелый, с горбатым носом. Еще два и еще много бежало сзади. Один из них проговорил что-то странное, нерусское. Между задними такими же людьми, в таких же киверах, стоял один русский гусар. Его держали за руки; позади его держали его лошадь.

«Верно, наш пленный... Да. Неужели и меня возьмут? Что это за люди? — все думал Ростов, не веря своим глазам. — Неужели французы?» Он смотрел на приближавшихся французов, и, несмотря на то, что за секунду скакал только затем, чтобы настигнуть этих французов и изрубить их, близость их казалась ему теперь так ужасна, что он не верил своим глазам. «Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? *Меня,* кого так любят все?» Ему вспомнилась любовь к нему его матери, семьи, друзей, и намерение неприятелей убить его показалось невозможно. «А может — и убить!» Он более десяти секунд стоял, не двигаясь с места и не понимая своего положения. Передний француз с горбатым носом подбежал так близко, что уже видно было выражение его лица. И разгоряченная, чуждая физиономия этого человека, который со штыком наперевес, сдерживая дыханье, легко подбегал к нему, испугала Ростова. Он схватил пистолет и, вместо того чтобы стрелять из него, бросил им в француза и

побежал к кустам что было силы. Не с тем чувством сомнения и борьбы, с каким он ходил на Энский мост, бежал он, а с чувством зайца, убегающего от собак. Одно нераздельное чувство страха за свою молодую, счастливую жизнь владело всем его существом. Быстро перепрыгивая через межи, с тою стремительностью, с которою он бегал, играя в горелки, он летел по полю, изредка оборачивая свое бледное, доброе, молодое лицо, и холод ужаса пробегал по его спине. «Нет, лучше не смотреть», — подумал он, но, подбежав к кустам, оглянулся еще раз. Французы отстали, и даже в ту минуту, как он оглянулся, передний только что переменил рысь на шаг и, обернувшись, что-то сильно кричал заднему товарищу. Ростов остановился. «Что-нибудь не так, — подумал он, — не может быть, чтоб они хотели убить меня». А между тем левая рука его была так тяжела, как будто двухпудовая гиря была привешена к ней. Он не мог бежать дальше. Француз остановился тоже и прицелился. Ростов зажмурился и нагнулся. Одна, другая пуля пролетели, жужжа, мимо него. Он собрал последние силы, взял левую руку в правую и побежал до кустов. В кустах были русские стрелки.

XX

Пехотные полки, застигнутые врасплох в лесу, выбегали из леса, и роты, смешиваясь с другими ротами, уходили беспорядочными толпами. Один солдат в испуге проговорил страшное на войне и бессмысленное слово: «Отрезали!», и слово вместе с чувством страха сообщилось всей массе.

— Обошли! Отрезали! Пропали! — кричали голоса бегущих.

Полковой командир, в ту самую минуту, как он услыхал стрельбу и крик сзади, понял, что случилось что-нибудь ужасное с его полком, и мысль, что он, примерный, много лет служивший, ни в чем не виноватый офицер, мог быть виновен перед начальством в оплошности или нераспорядительности, так поразила его, что в ту же минуту, забыв и непокорного кавалериста-полковника, и свою генеральскую важность, а главное — совершенно забыв про опасность и чувство самосохранения, он, ухватившись за луку седла и шпоря лошадь, поскакал к полку под градом обсыпавших, но счастливо миновавших его пуль. Он же-

лал одного: узнать, в чем дело, и помочь и исправить во что бы то ни стало ошибку, ежели она была с его стороны, и не быть виновным ему, двадцать два года служившему, ни в чем не замеченному примерному офицеру.

Счастливо проскакав между французами, он подскакал к полю за лесом, чрез который бежали наши и, не слушаясь команды, спускались под гору. Наступила та минута нравственного колебания, которая решает участь сражений: послушают эти расстроенные толпы солдат голоса своего командира или, оглянувшись на него, побегут дальше. Несмотря на отчаянный крик прежде столь грозного для солдат голоса полкового командира, несмотря на разъяренное, багровое, на себя непохожее лицо полкового командира и маханье шпагой, солдаты всё бежали, разговаривали, стреляли в воздух и не слушали команды. Нравственное колебание, решающее участь сражений, очевидно, разрешалось в пользу страха.

Генерал закашлялся от крика и порохового дыма и остановился в отчаянии. Все казалось потеряно, но в эту минуту французы, наступавшие на наших, вдруг, без видимой причины, побежали назад, скрылись из опушки леса, и в лесу показались русские стрелки. Это была рота Тимохина, которая одна в лесу удержалась в порядке и, засев в канаву у леса, неожиданно атаковала французов. Тимохин с таким отчаянным криком бросился на французов и с такою безумною и пьяною решительностью, с одной шпажкой, набежал на неприятеля, что французы, не успев опомниться, побросали оружие и побежали. Долохов, бежавший рядом с Тимохиным, в упор убил одного француза и первый взял за воротник сдавшегося офицера. Бегущие возвратились, батальоны собрались, и французы, разделившие было на две части войска левого фланга, на мгновение были оттеснены. Резервные части успели соединиться, и беглецы остановились. Полковой командир стоял с майором Экономовым у моста, пропуская мимо себя отступающие роты, когда к нему подошел солдат, взял его за стремя и почти прислонился к нему. На солдате была синеватая, фабричного сукна шинель, ранца и кивера не было, голова была повязана, и через плечо была надета французская зарядная сумка. Он в руках держал офицерскую шпагу. Солдат был бледен, голубые глаза его нагло смотрели в лицо полковому командиру, а рот улыбался. Несмотря на то, что полковой командир был занят отданием приказания майору

Экономову, он не мог не обратить внимания на этого солдата.

— Ваше превосходительство, вот два трофея, — сказал Долохов, указывая на французскую шпагу и сумку.— Мною взят в плен офицер. Я остановил роту. — Долохов тяжело дышал от усталости; он говорил с остановками.— Вся рота может свидетельствовать. Прошу запомнить, ваше превосходительство!

— Хорошо, хорошо, — сказал полковой командир и обратился к майору Экономову.

Но Долохов не отошел; он развязал платок, дернул его и показал запекшуюся в волосах кровь.

— Рана штыком, я остался во фронте. Попомните, ваше превосходительство.

Про батарею Тушина было забыто, и только в самом конце дела, продолжая слышать канонаду в центре, князь Багратион послал туда дежурного штаб-офицера и потом князя Андрея, чтобы велеть батарее отступать как можно скорее. Прикрытие, стоявшее подле пушек Тушина, ушло по чьему-то приказанию в середине дела; но батарея продолжала стрелять и не была взята французами только потому, что неприятель не мог предполагать дерзости стрельбы четырех никем не защищенных пушек. Напротив, по энергичному действию этой батареи он предполагал, что здесь, в центре, сосредоточены главные силы русских, и два раза пытался атаковать этот пункт, и оба раза был прогоняем картечными выстрелами одиноко стоявших на этом возвышении четырех пушек.

Скоро после отъезда князя Багратиона Тушину удалось зажечь Шенграбен.

— Вишь, засумятились! Горит! Вишь, дым-то! Ловко! Важно! Дым-то, дым-то! — заговорила прислуга, оживляясь.

Все орудия без приказания били в направлении пожара. Как будто подгоняя, подкрикивали солдаты к каждому выстрелу: «Ловко! Вот так-та̀к! Ишь ты... Важно!» Пожар, разносимый ветром, быстро распространялся. Французские колонны, выступившие за деревню, ушли назад, но, как бы в наказание за эту неудачу, неприятель выставил правее деревни десять орудий и стал бить из них по Тушину.

Из-за детской радости, возбужденной пожаром, и азарта удачной стрельбы по французам наши артиллеристы заметили эту батарею только тогда, когда два ядра и вслед за ними еще четыре ударили между орудиями и одно повалило двух лошадей, а другое оторвало ногу ящичному вожатому. Оживление, раз установившееся, однако, не ослабело, а только переменило настроение. Лошади были заменены другими из запасного лафета, раненые убраны, и четыре орудия повернуты против десятипушечной батареи. Офицер, товарищ Тушина, был убит в начале дела, и в продолжение часа из сорока человек прислуги выбыли семнадцать, но артиллеристы всё так же были веселы и оживлены. Два раза они замечали, что внизу, близко от них, показывались французы, и тогда они били по них картечью.

Маленький человек, с слабыми, неловкими движениями, требовал себе беспрестанно у денщика *еще трубочку за это,* как он говорил, и, рассыпая из нее огонь, выбегал вперед и из-под маленькой ручки смотрел на французов.

— Круши, ребята! — приговаривал он и сам подхватывал орудия за колеса и вывинчивал винты.

В дыму, оглушаемый беспрерывными выстрелами, заставлявшими его каждый раз вздрагивать, Тушин, не выпуская своей носогрелки, бегал от одного орудия к другому, то прицеливаясь, то считая заряды, то распоряжаясь переменой и перепряжкой убитых и раненых лошадей, и покрикивал своим слабым, тоненьким, нерешительным голоском. Лицо его все более и более оживлялось. Только когда убивали или ранили людей, он морщился и, отворачиваясь от убитого, сердито кричал на людей, как всегда мешкавших поднять раненого или тело. Солдаты, большею частью красивые молодцы (как и всегда в батарейной роте, на две головы выше своего офицера и вдвое шире его), все, как дети в затруднительном положении, смотрели на своего командира, и то выражение, которое было на его лице, неизменно отражалось на их лицах.

Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности, Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось все веселее и веселее. Ему казалось, что уже очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он увидел неприятеля и сделал

первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно знакомым, родственным местом. Несмотря на то, что он все помнил, все соображал, все делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении, он находился в состоянии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека.

Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свиста и ударов снарядов неприятеля, из-за вида вспотевшей, раскрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за вида крови людей и лошадей, из-за вида дымков неприятеля на той стороне (после которых всякий раз прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или в лошадь), — из-за вида этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту. Неприятельские пушки в его воображении были не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик.

— Вишь, пыхнул опять, — проговорил Тушин шепотом про себя, в то время как с горы выскакивал клуб дыма и влево полосой относился ветром, — теперь мячик жди — отсылать назад.

— Что прикажете, ваше благородие? — спросил фейерверкер, близко стоявший около него и слышавший, что он бормотал что-то.

— Ничего, гранату... — отвечал он.

«Ну-ка, наша Матвевна», — говорил он про себя. Матвевной представлялась в его воображении большая крайняя старинного литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавец и пьяница первый нумер второго орудия в его мире был *дядя;* Тушин чаще других смотрел на него и радовался на каждое его движение. Звук то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрелки под горою представлялся ему чьим-то дыханием. Он прислушивался к затиханью и разгоранью этих звуков.

«Ишь задышала опять, задышала», — говорил он про себя.

Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра.

— Ну, Матвевна, матушка, не выдавай! — говорил он, отходя от орудия, как над его головой раздался чуждый, незнакомый голос:

— Капитан Тушин! Капитан!

Тушин испуганно оглянулся. Это был тот штаб-офицер, который выгнал его из Грунта. Он запыхавшимся голосом кричал ему:

— Что вы, с ума сошли? Вам два раза приказано отступать, а вы...

«Ну, за что они меня?..» — думал про себя Тушин, со страхом глядя на начальника.

— Я.. ничего — проговорил он, приставляя два пальца к козырьку. — Я...

Но полковник не договорил всего, что хотел. Близко пролетевшее ядро заставило его, нырнув, согнуться на лошади. Он замолк и только что хотел сказать еще что-то, как еще ядро остановило его. Он поворотил лошадь и поскакал прочь.

— Отступать! Все отступать! — прокричал он издалека.

Солдаты засмеялись. Через минуту приехал адъютант с тем же приказанием.

Это был князь Андрей. Первое, что он увидел, выезжая на то пространство, которое занимали пушки Тушина, была отпряженная лошадь, с перебитою ногой, которая ржала около запряженных лошадей. Из ноги ее, как из ключа, лилась кровь. Между передками лежало несколько убитых. Одно ядро за другим пролетало над ним, в то время как он подъезжал, и он почувствовал, как нервическая дрожь пробежала по его спине. Но одна мысль о том, что он боится, снова подняла его. «Я не могу бояться», — подумал он и медленно слез с лошади между орудиями. Он передал приказание и не уехал с батареи. Он решил, что при себе снимет орудия с позиции и отведет их. Вместе с Тушиным, шагая через тела и под страшным огнем французов, он занялся уборкой орудия.

— А то приезжало сейчас начальство, так скорее дра̀ло, — сказал фейерверкер князю Андрею, — не так, как ваше благородие.

Князь Андрей ничего не говорил с Тушиным. Они оба были так заняты, что, казалось, и не видали друг друга. Когда, надев уцелевшие из четырех два орудия на передки, они двинулись под гору (одна разбитая пушка и единорог были оставлены), князь Андрей подъехал к Тушину.

— Ну, до свидания, — сказал князь Андрей, протягивая руку Тушину.

— До свидания, голубчик, — сказал Тушин, — милая душа! прощайте, голубчик, — сказал Тушин со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза.

XXI

Ветер стих, черные тучи низко нависли над местом сражения, сливаясь на горизонте с пороховым дымом. Становилось темно, и тем яснее обозначалось в двух местах зарево пожаров. Канонада стала слабее, но трескотня ружей сзади и справа слышалась еще чаще и ближе. Как только Тушин с своими орудиями, объезжая и наезжая на раненых, вышел из-под огня и спустился в овраг, его встретило начальство и адъютанты, в числе которых были и штаб-офицер и Жерков, два раза посланный и ни разу не доехавший до батареи Тушина. Все они, перебивая один другого, отдавали и передавали приказания, как и куда идти, и делали ему упреки и замечания. Тушин ничем не распоряжался и молча, боясь говорить, потому что при каждом слове он готов был, сам не зная отчего, заплакать, ехал сзади на своей артиллерийской кляче. Хотя раненых велено было бросать, много из них тащилось за войсками и просилось на орудия. Тот самый молодцеватый пехотный офицер, который перед сражением выскочил из шалаша Тушина, был, с пулей в животе, положен на лафет Матвевны. Под горой бледный гусарский юнкер, одною рукой поддерживая другую, подошел к Тушину и попросился сесть.

— Капитан, ради бога, я контужен в руку, — сказал он робко. — Ради бога, я не могу идти. Ради бога!

Видно было, что юнкер этот уже не раз просился где-нибудь сесть и везде получал отказы. Он просил нерешительным и жалким голосом:

— Прикажите посадить, ради бога.

— Посадите, посадите, — сказал Тушин. — Подложи шинель, ты, дядя, — обратился он к своему любимому солдату. — А где офицер раненый?

— Сложили, кончился, — ответил кто-то.

— Посадите. Садитесь, милый, садитесь. Подстели шинель, Антонов.

Юнкер был Ростов. Он держал одною рукой другую, был бледен, и нижняя челюсть тряслась от лихорадочной дрожи. Его посадили на Матвевну, на то самое орудие,

с которого сложили мертвого офицера. На подложенной шинели была кровь, в которой запачкались рейтузы и руки Ростова.

— Что, вы ранены, голубчик? — сказал Тушин, подходя к орудию, на котором сидел Ростов.

— Нет, контужен.

— Отчего же кровь-то на станине? — спросил Тушин.

— Это офицер, ваше благородие, окровенил, — отвечал солдат-артиллерист, обтирая кровь рукавом шинели и как будто извиняясь за нечистоту, в которой находилось орудие.

Насилу с помощью пехоты вывезли орудия в гору и, достигши деревни Гунтерсдорф, остановились. Стало уже так темно, что в десяти шагах нельзя было различить мундиров солдат, и перестрелка стала стихать. Вдруг близко с правой стороны послышались опять крики и пальба. От выстрелов уже блестело в темноте. Это была последняя атака французов, на которую отвечали солдаты, засевшие в домы деревни. Опять всё бросилось из деревни, но орудия Тушина не могли двинуться, и артиллеристы, Тушин и юнкер молча переглядывались, ожидая своей участи. Перестрелка стала стихать, и из боковой улицы высыпали оживленные говором солдаты.

— Цел, Петров? — спрашивал один.

— Задали, брат, жару. Теперь не сунутся, — говорил другой.

— Ничего не видать. Как они в своих-то зажарили? Не видать, темь, братцы. Нет ли напиться?

Французы последний раз были отбиты. И опять, в совершенном мраке, орудия Тушина, как рамой окруженные гудевшею пехотой, двинулись куда-то вперед.

В темноте как будто текла невидимая мрачная река, все в одном направлении, гудя шепотом, говором и звуками копыт и колес. В общем гуле из-за всех других звуков яснее всех были стоны и голоса раненых во мраке ночи. Их стоны, казалось, наполняли собой весь этот мрак, окружавший войска. Их стоны и мрак этой ночи — это было одно и то же. Через несколько времени в движущейся толпе произошло волнение. Кто-то проехал со свитой на белой лошади и что-то сказал, проезжая.

— Что сказал? Куда теперь? Стоять, что ль? Благодарил, что ли? — послышались жадные расспросы со всех сторон, и вся движущаяся масса стала напирать сама на себя (видно, передние остановились), и пронесся слух,

что велено остановиться. Все остановились, как шли, на середине грязной дороги.

Засветились огни, и слышнее стал говор. Капитан Тушин, распорядившись по роте, послал одного из солдат отыскивать перевязочный пункт или лекаря для юнкера и сел у огня, разложенного на дороге солдатами. Ростов перетащился тоже к огню. Лихорадочная дрожь от боли, холода и сырости трясла все его тело. Сон непреодолимо клонил его, но он не мог заснуть от мучительной боли в нывшей и не находившей положения руке. Он то закрывал глаза, то взглядывал на огонь, казавшийся ему горячо-красным, то на сутуловатую слабую фигурку Тушина, по-турецки сидевшего подле него. Большие добрые и умные глаза Тушина с сочувствием и состраданием устремлялись на него. Он видел, что Тушин всею душой хотел и ничем не мог помочь ему.

Со всех сторон слышны были шаги и говор проходивших, проезжавших и кругом размещавшейся пехоты. Звуки голосов, шагов и переставляемых в грязи лошадиных копыт, ближний и дальний треск дров сливались в один колеблющийся гул.

Теперь уже не текла, как прежде, во мраке, невидимая река, а будто после бури укладывалось и трепетало мрачное море. Ростов бессмысленно смотрел и слушал, что происходило перед ним и вокруг него. Пехотный солдат подошел к костру, присел на корточки, всунул руки в огонь и отвернул лицо.

— Ничего, ваше благородие? — сказал он, вопросительно обращаясь к Тушину. — Вот отбился от роты, ваше благородие; сам не знаю где. Беда!

Вместе с солдатом подошел к костру пехотный офицер с подвязанною щекой и, обращаясь к Тушину, просил приказать подвинуть крошечку орудия, чтобы провезти повозку. За ротным командиром набежали на костер два солдата. Они отчаянно ругались и дрались, выдергивая друг у друга какой-то сапог.

— Как же, ты поднял! Ишь ловок! — кричал один хриплым голосом.

Потом подошел худой, бледный солдат с шеей, обвязанной окровавленною подверткой, и сердитым голосом требовал воды у артиллеристов.

— Что ж, умирать, что ли, как собаке? — говорил он.

Тушин велел дать ему воды. Потом подбежал веселый солдат, прося огоньку в пехоту.

— Огоньку горяченького в пехоту! Счастливо оставаться, землячки, благодарим за огонек, мы назад с процентой отдадим, — говорил он, унося куда-то в темноту краснеющуюся головешку.

За этим солдатом четыре солдата, неся что-то тяжелое на шинели, прошли мимо костра. Один из них споткнулся.

— Ишь черти, на дороге дрова положили, — проворчал он.

— Кончился, что ж его носить? — сказал один из них.

— Ну, вас!

И они скрылись во мраке с своею ношей.

— Что? болит? — спросил Тушин шепотом у Ростова.

— Болит.

— Ваше благородие, к генералу. Здесь в избе стоят, — сказал фейерверкер, подходя к Тушину.

— Сейчас, голубчик.

Тушин встал и, застегивая шинель и оправляясь, отошел от костра...

Недалеко от костра артиллеристов, в приготовленной для него избе, сидел князь Багратион за обедом, разговаривая с некоторыми начальниками частей, собравшимися у него. Тут был старичок с полузакрытыми глазами, жадно обгладывавший баранью кость, и двадцатидвухлетний безупречный генерал, раскрасневшийся от рюмки водки и обеда, и штаб-офицер с именным перстнем, и Жерков, беспокойно оглядывавший всех, и князь Андрей, бледный, с поджатыми губами и лихорадочно блестящими глазами.

В избе стояло прислоненное в углу взятое французское знамя, и аудитор с наивным лицом щупал ткань знамени и, недоумевая, покачивал головой, может быть, оттого, что его и в самом деле интересовал вид знамени, а может быть, и оттого, что ему тяжело было голодному смотреть на обед, за которым ему недостало прибора. В соседней избе находился взятый в плен драгунами французский полковник. Около него толпились, рассматривая его, наши офицеры. Князь Багратион благодарил отдельных начальников и расспрашивал о подробностях дела и о потерях. Полковой командир, представлявшийся под Браунау, докладывал князю, что, как только началось дело, он отступил из леса, собрал дроворубов и, пропустив их мимо себя, с двумя батальонами ударил в штыки и опрокинул французов.

— Как я увидал, ваше сиятельство, что первый батальон расстроен, я стал на дороге и думаю: «Пропущу этих и встречу батальным огнем»; так и сделал.

Полковому командиру так хотелось сделать это, так он жалел, что не успел этого сделать, что ему казалось, что все это точно было. Да, может быть, и в самом деле было? Разве можно было разобрать в этой путанице, что было и чего не было?

— Причем, должен заметить, ваше сиятельство,— продолжал он, вспоминая о разговоре Долохова с Кутузовым и о последнем свидании своем с разжалованным, — что рядовой, разжалованный Долохов, на моих глазах взял в плен французского офицера и особенно отличился.

— Здесь-то я видел, ваше сиятельство, атаку павлоградцев, — беспокойно оглядываясь, вмешался Жерков, который вовсе не видал в этот день гусар, а только слышал о них от пехотного офицера. — Смяли два каре, ваше сиятельство.

На слова Жеркова некоторые улыбнулись, как и всегда ожидая от него шутки; но, заметив, что то, что он говорил, клонилось тоже к славе нашего оружия и нынешнего дня, приняли серьезное выражение, хотя многие очень хорошо знали, что то, что говорил Жерков, была ложь, ни на чем не основанная. Князь Багратион обратился к старичку полковнику.

— Благодарю всех, господа, все части действовали геройски: пехота, кавалерия и артиллерия. Каким образом в центре оставлены два орудия? — спросил он, ища кого-то глазами. (Князь Багратион не спрашивал про орудия левого фланга; он знал уже, что там в самом начале дела были брошены все пушки.) — Я вас, кажется, просил, — обратился он к дежурному штаб-офицеру.

— Одно было подбито, — отвечал дежурный штаб-офицер, — а другое, я не могу понять; я сам там все время был и распоряжался и только что отъехал... Жарко было, правда, — прибавил он скромно.

Кто-то сказал, что капитан Тушин стоит здесь у самой деревни и что за ним уже послано.

— Да вот вы были,— сказал князь Багратион, обращаясь к князю Андрею.

— Как же, мы вместе немного не съехались,— сказал дежурный штаб-офицер, приятно улыбаясь Болконскому.

— Я не имел удовольствия вас видеть,— холодно и отрывисто сказал князь Андрей.

Все помолчали. На пороге показался Тушин, робко пробиравшийся из-за спин генералов. Обходя генералов в тесной избе, сконфуженный, как и всегда, при виде начальства, Тушин не рассмотрел древка знамени и спотикнулся на него. Несколько голосов засмеялись.

— Каким образом орудие оставлено? — спросил Багратион, нахмурившись не столько на капитана, сколько на смеявшихся, в числе которых громче всех слышался голос Жеркова.

Тушину теперь только, при виде грозного начальства, во всем ужасе представилась его вина и позор в том, что он, оставшись жив, потерял два орудия. Он так был взволнован, что до сей минуты не успел подумать об этом. Смех офицеров еще больше сбил его с толку. Он стоял перед Багратионом с дрожащею нижнею челюстью и едва проговорил:

— Не знаю... ваше сиятельство... людей не было, ваше сиятельство.

— Вы бы могли из прикрытия взять!

Что прикрытия не было, этого не сказал Тушин, хотя это была сущая правда. Он боялся *подвести* этим другого начальника и молча, остановившимися глазами, смотрел прямо в лицо Багратиону, как смотрит сбившийся ученик в глаза экзаменатору.

Молчание было довольно продолжительно. Князь Багратион, видимо, не желая быть строгим, не находился, что сказать; остальные не смели вмешаться в разговор. Князь Андрей исподлобья смотрел на Тушина, и пальцы его рук нервически двигались.

— Ваше сиятельство,— прервал князь Андрей молчание своим резким голосом,— вы меня изволили послать к батарее капитана Тушина. Я был там и нашел две трети людей и лошадей перебитыми, два орудия исковерканными и прикрытия никакого.

Князь Багратион и Тушин одинаково упорно смотрели теперь на сдержанно и взволнованно говорившего Болконского.

— И ежели, ваше сиятельство, позволите мне высказать свое мнение, — продолжал он, — то успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой, — сказал князь

Андрей и, не ожидая ответа, тотчас же встал и отошел от стола.

Князь Багратион посмотрел на Тушина и, видимо, не желая выказать недоверия к резкому суждению Болконского и вместе с тем чувствуя себя не в состоянии вполне верить ему, наклонил голову и сказал Тушину, что он может идти. Князь Андрей вышел за ним.

— Вот спасибо, выручил, голубчик,— сказал ему Тушин.

Князь Андрей оглянул Тушина и, ничего не сказав, отошел от него. Князю Андрею было грустно и тяжело. Все это было так странно, так непохоже на то, чего он надеялся.

«Кто они? Зачем они? Что им нужно? И когда все это кончится?» — думал Ростов, глядя на переменявшиеся перед ним тени. Боль в руке становилась все мучительнее. Сон клонил непреодолимо, в глазах прыгали красные круги, и впечатление этих голосов и этих лиц и чувство одиночества сливались с чувством боли. Это они, эти солдаты, и раненые и нераненые, — это они-то и давили, и тяготили, и выворачивали жилы, и жгли мясо в его разломанной руке и плече. Чтоб избавиться от них, он закрыл глаза.

Он забылся на одну минуту, но в этот короткий промежуток забвения он видел во сне бесчисленное количество предметов: он видел свою мать и ее большую белую руку, видел худенькие плечи Сони, глаза и смех Наташи, и Денисова с его голосом и усами, и Телянина, и всю свою историю с Телянином и Богданычем. Вся эта история была одно и то же, что этот солдат с резким голосом, и эта-то вся история и этот-то солдат так мучительно, неотступно держали, давили и все в одну сторону тянули его руку. Он пытался устраниться от них, но они не отпускали ни на волос, ни на секунду его плечо. Оно бы не болело, оно было бы здорово, ежели бы они не тянули его; но нельзя было избавиться от них.

Он открыл глаза и поглядел вверх. Черный полог ночи на аршин висел над светом углей. В этом свете летали порошинки падавшего снега. Тушин не возвращался, лекарь не приходил. Он был один, только какой-то солдатик сидел теперь голый по другую сторону огня и грел свое худое желтое тело.

«Никому не нужен я! — думал Ростов.— Некому ни помочь, ни пожалеть. А был же и я когда-то дома, сильный, веселый, любимый». Он вздохнул и со вздохом невольно застонал.

— Ай болит что? — спросил солдатик, встряхивая свою рубаху над огнем, и, не дожидаясь ответа, крякнув, прибавил: — Мало ли за день народу попортили — страсть!

Ростов не слушал солдата. Он смотрел на порхавшие над огнем снежинки и вспоминал русскую зиму с теплым, светлым домом, пушистою шубой, быстрыми санями, здоровым телом и со всею любовью и заботою семьи. «И зачем я пошел сюда!» — думал он.

На другой день французы не возобновляли нападения, и остаток Багратионова отряда присоединился к армии Кутузова.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Князь Василий не обдумывал своих планов, он еще менее думал сделать людям зло для того, чтобы приобрести выгоду. Он был только светский человек, успевший в свете и сделавший привычку из этого успеха. У него постоянно, смотря по обстоятельствам, по сближениям с людьми, составлялись различные планы и соображения, в которых он сам не отдавал себе хорошенько отчета, но которые составляли весь интерес его жизни. Не один и не два таких плана и соображения бывало у него в ходу, а десятки, из которых одни только начинали представляться ему, другие достигались, третьи уничтожались. Он не говорил себе, например: «Вот этот человек теперь в силе, я должен приобрести его доверие и дружбу и через него устроить себе выдачу единовременного пособия», или он не говорил себе: «Вот Пьер богат, я должен заманить его жениться на дочери и занять нужные мне сорок тысяч»; но человек в силе встречался ему, и в ту же минуту инстинкт подсказывал ему, что этот человек может быть полезен, и князь Василий сближался с ним и при первой возможности, без приготовления, по инстинкту, льстил, делался фамильярен, говорил о том, о чем нужно было.

Пьер был у него под рукою в Москве, и князь Василий устроил для него назначение в камер-юнкеры, что тогда равнялось чину статского советника, и настоял на том, чтобы молодой человек с ним вместе ехал в Петербург и остановился в его доме. Как будто рассеянно и вместе с тем с несомненною уверенностью, что так должно быть, князь Василий делал все, что было нужно для того, чтобы женить Пьера на своей дочери. Ежели бы князь Василий обдумывал вперед свои планы, он не мог бы иметь такой естественности в обращении и такой простоты и фамильярности в сношениях со всеми людьми, выше и

ниже себя поставленными. Что-то влекло его постоянно к людям сильнее или богаче его, и он одарен был редким искусством ловить именно ту минуту, когда надо и можно было пользоваться людьми.

Пьер, сделавшись неожиданно богачом и графом Безуховым, после недавнего одиночества и беззаботности, почувствовал себя до такой степени окруженным, занятым, что ему только в постели удавалось остаться одному с самим собою. Ему нужно было подписывать бумаги, ведаться с присутственными местами, о значении которых он не имел ясного понятия, спрашивать о чем-то главного управляющего, ехать в подмосковное имение и принимать множество лиц, которые прежде не хотели и знать о его существовании, а теперь были бы обижены и огорчены, ежели бы он не захотел их видеть. Все эти разнообразные лица — деловые, родственники, знакомые — все были одинаково хорошо, ласково расположены к молодому наследнику; все они, очевидно и несомненно, были убеждены в высоких достоинствах Пьера. Беспрестанно он слышал слова: «С вашею необыкновенною добротой», или: «При вашем прекрасном сердце», или: «Вы сами так чисты, граф...», или: «Ежели бы он был так умен, как вы», и т. п., так что он искренно начинал верить своей необыкновенной доброте и своему необыкновенному уму, тем более что и всегда, в глубине души, ему казалось, что он действительно очень добр и очень умен. Даже люди, прежде бывшие злыми и очевидно враждебными, делались с ним нежными и любящими. Столь сердитая старшая из княжон, с длинною талией, с приглаженными, как у куклы, волосами, после похорон пришла в комнату Пьера. Опуская глаза и беспрестанно вспыхивая, она сказала ему, что очень жалеет о бывших между ними недоразумениях и что теперь не чувствует себя вправе ничего просить, разве только позволения, после постигшего ее удара, остаться на несколько недель в доме, который она так любила и где столько принесла жертв. Она не могла удержаться и заплакала при этих словах. Растроганный тем, что эта статуеобразная княжна могла так измениться, Пьер взял ее за руку и просил извинения, сам не зная за что. С этого дня княжна начала вязать полосатый шарф для Пьера и совершенно изменилась к нему.

— Сделай это для нее, mon cher; все-таки она много пострадала от покойника,— сказал ему князь Василий, давая подписать какую-то бумагу в пользу княжны.

Князь Василий решил, что эту кость, вексель в тридцать тысяч, надо было все-таки бросить бедной княжне с тем, чтобы ей не могло прийти в голову толковать об участии князя Василия в деле мозаикового портфеля. Пьер подписал вексель, и с тех пор княжна стала еще добрее. Младшие сестры стали также ласковы к нему, в особенности самая младшая, хорошенькая, с родинкой, часто смущала Пьера своими улыбками и смущением при виде его.

Пьеру так естественно казалось, что все его любят, так казалось бы неестественно, ежели бы кто-нибудь не полюбил его, что он не мог не верить в искренность людей, окружавших его. Притом ему не было времени спрашивать себя об искренности или неискренности этих людей. Ему постоянно было некогда, он постоянно чувствовал себя в состоянии кроткого и веселого опьянения. Он чувствовал себя центром какого-то важного общего движения; чувствовал, что от него что-то постоянно ожидается; что, не сделай он того-то, он огорчит многих и лишит их ожидаемого, а сделай то-то и то-то, все будет хорошо,— и он делал то, что требовали от него, но это что-то хорошее все оставалось впереди.

Более всех других в это первое время как делами Пьера, так и им самим овладел князь Василий. Со смерти графа Безухова он не выпускал из рук Пьера. Князь Василий имел вид человека, отягченного делами, усталого, измученного, но из сострадания не могущего, наконец, бросить на произвол судьбы и плутов этого беспомощного юношу, сына все-таки его друга, après tout[1], и с таким огромным состоянием. В те несколько дней, которые он пробыл в Москве после смерти графа Безухова, он призывал к себе Пьера или сам приходил к нему и предписывал ему то, что нужно было делать, таким тоном усталости и уверенности, как будто он всякий раз приговаривал:

Vous savez que je suis accablé d'affaires et que ce n'est que par pure charité, que je m'occupe de vous, et puis vous savez bien que ce que je vous propose est la seule chose faisable»[2].

---

[1] в конце концов.

[2] Ты знаешь, я завален делами; но было бы безжалостно покинуть тебя так; и ты знаешь, — то, что я тебе говорю, есть единственно возможное.

— Ну, мой друг, завтра мы едем наконец,— сказал он ему однажды, закрывая глаза, перебирая пальцами его локоть и таким тоном, как будто то, что он говорил, было давным-давно решено между ними и не могло быть решено иначе.

— Завтра мы едем, я тебе даю место в своей коляске. Я очень рад. Здесь у нас все важное покончено. А мне уж давно бы надо. Вот я получил от канцлера. Я его просил о тебе, и ты зачислен в дипломатический корпус и сделан камер-юнкером. Теперь дипломатическая дорога тебе открыта.

Несмотря на всю силу тона усталости и уверенности, с которой произнесены были эти слова, Пьер, так долго думавший о своей карьере, хотел было возражать. Но князь Василий перебил его тем воркующим, басистым тоном, который исключал возможность перебить его речь и который употреблялся им в случае необходимости крайнего убеждения.

— Mais, mon cher [1], я это сделал для себя, для своей совести, и меня благодарить нечего. Никогда никто не жаловался, что его слишком любили; а потом, ты свободен, хоть завтра брось. Вот ты все сам в Петербурге увидишь. И тебе давно пора удалиться от этих ужасных воспоминаний.— Князь Василий вздохнул.— Так-та̀к, моя душа. А мой камердинер пускай в твоей коляске едет. Ах да, я было и забыл,— прибавил еще князь Василий,— ты знаешь, mon cher [2], у нас были счеты с покойным, так с рязанских я получил и оставлю: тебе не нужно. Мы с тобой сочтемся.

То, что князь Василий называл «с рязанских», было несколько тысяч оброка, которые князь Василий оставил у себя.

В Петербурге, так же как и в Москве, атмосфера нежных, любящих людей окружила Пьера. Он не мог отказаться от места или, скорее, звания (потому что он ничего не делал), которое доставил ему князь Василий, а знакомств, зовов и общественных занятий было столько, что Пьер еще больше, чем в Москве, испытывал чувство отуманенности, торопливости и все наступающего, но не совершающегося какого-то блага.

---

[1] Но, милый мой.
[2] дружок.

Из прежнего его холостого общества многих не было в Петербурге. Гвардия ушла в поход, Долохов был разжалован, Анатоль находился в армии, в провинции, князь Андрей был за границей, и потому Пьеру не удавалось ни проводить ночей, как он любил проводить их прежде, ни отводить изредка душу в дружеской беседе с старшим, уважаемым другом. Все время его проходило на обедах, балах и преимущественно у князя Василия — в обществе старой толстой княгини, его жены, и красавицы Элен.

Анна Павловна Шерер, так же как и другие, выказала Пьеру перемену, происшедшую в общественном взгляде на него.

Прежде Пьер в присутствии Анны Павловны постоянно чувствовал, что то, что он говорит, неприлично, бестактно, не то, что нужно; что речи его, кажущиеся ему умными, пока он готовит их в своем воображении, делаются глупыми, как скоро он их громко выговорит, и что, напротив, самые тупые речи Ипполита выходят умными и милыми. Теперь все, что ни говорил он, все выходило charmant[1]. Ежели даже Анна Павловна не говорила этого, то он видел, что ей хотелось это сказать, и она только, в уважение его скромности, воздерживалась от этого.

В начале зимы с 1805 на 1806 год Пьер получил от Анны Павловны обычную розовую записку с приглашением, в котором было прибавлено: «Vous trouverez chez moi la belle Hélène, qu'on ne se lasse jamais voir»[2].

Читая это место, Пьер в первый раз почувствовал, что между ним и Элен образовалась какая-то связь, признаваемая другими людьми, и эта мысль в одно и то же время и испугала его, как будто на него накладывалось обязательство, которое он не мог сдержать, и вместе понравилась ему, как забавное предположение.

Вечер Анны Павловны был такой же, как и первый, только новинкой, которою угащивала Анна Павловна своих гостей, был теперь не Мортемар, а дипломат, приехавший из Берлина и привезший самые свежие подробности о пребывании государя Александра в Потсдаме и о том, как два высочайшие друга поклялись там в нераз-

---

[1] прелестно.

[2] У меня будет прекрасная Элен, на которую никогда не устанешь любоваться.

рывном союзе отстаивать правое дело против врага человеческого рода. Пьер был принят Анной Павловной с оттенком грусти, относившейся, очевидно, к свежей потере, постигшей молодого человека, к смерти графа Безухова (все постоянно считали долгом уверять Пьера, что он очень огорчен кончиною отца, которого он почти не знал),— и грусти точно такой же, как и та высочайшая грусть, которая выражалась при упоминаниях об августейшей императрице Марии Феодоровне. Пьер почувствовал себя польщенным этим. Анна Павловна с своим обычным искусством устроила кружки своей гостиной. Большой кружок, где были князь Василий и генералы, пользовался дипломатом. Другой кружок был у чайного столика. Пьер хотел присоединиться к первому, но Анна Павловна, находившаяся в раздраженном состоянии полководца на поле битвы, когда приходят тысячи новых блестящих мыслей, которые едва успеваешь приводить в исполнение, Анна Павловна, увидев Пьера, тронула его пальцем за рукав:

— Attendez, j'ai des vues sur vous pour ce soir [1]. — Она взглянула на Элен и улыбнулась ей.

— Ma bonne Hélène, il faut que vous soyez charitable pour ma pauvre tante, qui a une adoration pour vous. Allez lui tenir compagnie pour 10 minutes [2]. А чтоб вам не очень скучно было, вот вам милый граф, который не откажется за вами следовать.

Красавица направилась к тетушке, но Пьера Анна Павловна еще удержала подле себя, показывая вид, как будто ей надо сделать еще последнее необходимое распоряжение.

— Не правда ли, она восхитительна? — сказала она Пьеру, указывая на отплывающую величавую красавицу.— Et quelle tenue! [3] Для такой молодой девушки и такой такт, такое мастерское уменье держать себя! Это происходит от сердца! Счастлив будет тот, чьей она будет! С нею самый несветский муж будет невольно и без труда занимать блестящее место в свете! Не правда ли? Я только хотела знать ваше мнение,— и Анна Павловна отпустила Пьера.

---

[1] Погодите, у меня есть на вас виды на этот вечер.

[2] Моя милая Элен, надо, чтобы вы были добры к моей бедной тетке, которая питает к вам обожание. Побудьте с ней минут десять.

[3] И как держит себя!

Пьер с искренностью отвечал Анне Павловне утвердительно на вопрос ее об искусстве Элен держать себя. Ежели он когда-нибудь думал об Элен, то думал именно о ее красоте и о том необыкновенном ее спокойном уменье быть молчаливо-достойною в свете.

Тетушка приняла в свой уголок двух молодых людей, но, казалось, желала скрыть свое обожание к Элен и желала более выразить страх перед Анной Павловной. Она взглядывала на племянницу, как бы спрашивая, что ей делать с этими людьми. Отходя от них, Анна Павловна опять тронула пальчиком рукав Пьера и проговорила:

— J'espère que vous ne direz plus qu'on s'ennuie chez moi [1], — и взглянула на Элен.

Элен улыбнулась с таким видом, который говорил, что она не допускала возможности, чтобы кто-либо мог видеть ее и не быть восхищенным. Тетушка прокашлялась, проглотила слюни и по-французски сказала, что она очень рада видеть Элен; потом обратилась к Пьеру с тем же приветствием и с той же миной. В середине скучливого и спотыкающегося разговора Элен оглянулась на Пьера и улыбнулась ему той улыбкой, ясной, красивой, которой она улыбалась всем. Пьер так привык к этой улыбке, так мало она выражала для него, что он не обратил на нее никакого внимания. Тетушка говорила в это время о коллекции табакерок, которая была у покойного отца Пьера, графа Безухова, и показала свою табакерку. Княжна Элен попросила посмотреть портрет мужа тетушки, который был сделан на этой табакерке.

— Это, верно, делано Винесом,— сказал Пьер, называя известного миниатюриста, нагкбаясь к столу, чтоб взять в руки табакерку, и прислушиваясь к разговору за другим столом.

Он привстал, желая обойти, но тетушка подала табакерку прямо через Элен, позади ее. Элен нагнулась вперед, чтобы дать место, и, улыбаясь, оглянулась. Она была, как и всегда на вечерах, в весьма открытом по тогдашней моде спереди и сзади платье. Ее бюст, казавшийся всегда мраморным Пьеру, находился в таком близком расстоянии от его глаз, что он своими близорукими глазами невольно различал живую прелесть ее плеч и шеи, и так близко от его губ, что ему стоило немного нагнуться,

---

[1] Надеюсь, вы не скажете другой раз, что у меня скучают.

чтобы прикоснуться до нее. Он слышал тепло ее тела, запах духов и слышал скрып ее корсета при дыхании. Он видел не ее мраморную красоту, составлявшую одно целое с ее платьем, он видел и чувствовал всю прелесть ее тела, которое было закрыто только одеждой. И, раз увидав это, он не мог видеть иначе, как мы не можем возвратиться к раз объясненному обману.

Она оглянулась, взглянула прямо на него, блестя черными глазами, и улыбнулась.

«Так вы до сих пор не замечали, как я прекрасна? — как будто сказала Элен. — Вы не замечали, что я женщина? Да, я женщина, которая может принадлежать всякому и вам даже»,— сказал ее взгляд. И в ту же минуту Пьер почувствовал, что Элен не только могла, но должна быть его женою, что это не может быть иначе.

Он знал это в эту минуту так же верно, как бы он знал это, стоя под венцом с нею. Как это будет и когда, он не знал; не знал даже, хорошо ли это будет (ему даже чувствовалось, что это нехорошо почему-то), но он знал, что это будет.

Пьер опустил глаза, опять поднял их и снова хотел увидеть ее такою дальнею, чужою для себя красавицею, какою он видал ее каждый день прежде; но он не мог уже этого сделать. Не мог, как не может человек, прежде смотревший в тумане на былинку бурьяна и видевший в ней дерево, увидав былинку, снова увидеть в ней дерево. Она была страшно близка ему. Она имела уже власть над ним. И между ним и ею не было уже никаких преград, кроме преград его собственной воли.

— Bon, je vous laisse dans votre petit coin. Je vois que vous y êtes très bien [1], — сказал голос Анны Павловны.

И Пьер, со страхом вспоминая, не сделал ли он чего-нибудь предосудительного, краснея, оглянулся вокруг себя. Ему казалось, что все знают, так же как и он, про то, что с ним случилось.

Через несколько времени, когда он подошел к большому кружку, Анна Павловна сказала ему:

— On dit que vous embellissez votre maison de Pétersbourg [2].

---

[1] Хорошо, я вас оставлю в вашем уголке. Я вижу, вам там хорошо.

[2] Говорят, вы отделываете свой петербургский дом.

(Это была правда: архитектор сказал, что это нужно ему, и Пьер, сам не зная зачем, отделывал свой огромный дом в Петербурге.)

— C'est bien, mais ne déménagez pas de chez le prince Basile. Il est bon d'avoir un ami comme le prince, — сказала она, улыбаясь князю Василию. — J'en sais quelque chose. N'est-ce pas? [1] А вы еще так молоды. Вам нужны советы. Вы не сердитесь на меня, что я пользуюсь правами старух.— Она помолчала, как молчат всегда женщины, чего-то ожидая после того, как скажут про свои года.— Ежели вы женитесь, то другое дело.— И она соединила их в один взгляд. Пьер не смотрел на Элен, и она на него. Но она была все так же страшно близка ему. Он промычал что-то и покраснел.

Вернувшись домой, Пьер долго не мог заснуть, думая о том, что с ним случилось. Что же случилось с ним? Ничего. Он только понял, что женщина, которую он знал ребенком, про которую он рассеянно говорил: «Да, хороша», когда ему говорили, что Элен красавица, он понял, что эта женщина может принадлежать ему.

«Но она глупа, я сам говорил, что она глупа,— думал он.— Ведь это не любовь. Напротив, что-то гадкое есть в том чувстве, которое она возбудила во мне, что-то запрещенное. Мне говорили, что ее брат Анатоль был влюблен в нее, и она влюблена в него, что была целая история и что от этого услали Анатоля. Брат ее — Ипполит. Отец ее — князь Василий. Это нехорошо», — думал он; и в то же время, как он рассуждал так (еще рассуждения эти оставались неоконченными), он заставал себя улыбающимся и сознавал, что другой ряд рассуждений всплывал из-за первых, что он в одно и то же время думал о ее ничтожестве и мечтал о том, как она будет его женой, как она может полюбить его, как она может быть совсем другою и как все то, что он об ней думал и слышал, может быть неправдою. И он опять видел ее не какою-то дочерью князя Василья, а видел все ее тело, только прикрытое серым платьем. «Но нет, отчего же прежде не приходила мне в голову эта мысль?» И опять он говорил себе, что это невозможно, что что-то гадкое, противуестественное, как ему казалось, нечестное было бы в этом браке. Он вспоминал ее прежние слова, взгляды и слова и взгляды

---

[1] Это хорошо, но не переезжайте от князя Василия. Хорошо иметь такого друга. Я кое-что об этом знаю. Не правда ли?

тех, кто их видал вместе. Он вспомнил слова и взгляды Анны Павловны, когда она говорила ему о доме, вспомнил сотни таких же намеков со стороны князя Василья и других, и на него нашел ужас, не связал ли он себя уж чем-нибудь в исполнении такого дела, которое, очевидно, нехорошо и которое он не должен делать. Но в то время, как он сам себе выражал это решение, с другой стороны души всплывал ее образ со всею своей женственной красотою.

II

В ноябре месяце 1805 года князь Василий должен был ехать на ревизию в четыре губернии. Он устроил для себя это назначение с тем, чтобы побывать заодно в своих расстроенных имениях и, захватив с собой (в месте расположения его полка) сына Анатоля, с ним вместе заехать к князю Николаю Андреевичу Болконскому с тем, чтобы женить сына на дочери этого богатого старика. Но прежде отъезда и этих новых дел князю Василью нужно было решить дела с Пьером, который, правда, последнее время проводил целые дни дома, то есть у князя Василья, у которого он жил, и был смешон, взволнован и глуп (как должен быть влюбленный) в присутствии Элен, но все еще не делал предложения.

«Tout ça est bel et bon, mais il faut que ça finisse» [1],— сказал себе раз утром князь Василий со вздохом грусти, сознавая, что Пьер, стольким обязанный ему (ну, да Христос с ним!), не совсем хорошо поступает в этом деле. «Молодость... легкомыслие... ну, да бог с ним,— подумал князь Василий, с удовольствием чувствуя свою доброту,— mais il faut que ça finisse [2]. Послезавтра Лелины именины, я позову кое-кого, и ежели он не поймет, что он должен сделать, то уже это будет мое дело. Да, мое дело. Я — отец!»

Пьер полтора месяца после вечера Анны Павловны и последовавшей за ним бессонной, взволнованной ночи, в которую он решил, что женитьба на Элен была бы несчастием и что ему нужно избегать ее и уехать, Пьер после этого решения не переезжал от князя Василья и с ужасом чувствовал, что каждый день он больше и

---

[1] Все это прекрасно, но всему должен быть конец.
[2] надо, надо положить конец.

больше в глазах людей связывается с нею, что он не может никак возвратиться к своему прежнему взгляду на нее, что он не может и оторваться от нее, что это будет ужасно, но что он должен будет связать с нею свою судьбу. Может быть, он и мог бы воздержаться, но не проходило дня, чтоб у князя Василья (у которого редко бывал прием) не было бы вечера, на котором должен был быть Пьер, ежели он не хотел расстроить общее удовольствие и обмануть ожидания всех. Князь Василий в те редкие минуты, когда бывал дома, проходя мимо Пьера, дергал его за руку вниз, рассеянно подставлял ему для поцелуя выбритую морщинистую щеку и говорил или «до завтра», или «к обеду, а то я тебя не увижу», или «я для тебя остаюсь» и т. п. Но несмотря на то, что, когда князь Василий оставался для Пьера (как он это говорил), он не говорил с ним двух слов. Пьер не чувствовал себя в силах обмануть его ожидания. Он каждый день говорил себе все одно и одно: «Надо же, наконец, понять ее и дать себе отчет: кто она? Ошибался ли я прежде или теперь ошибаюсь? Нет, она не глупа; нет, она прекрасная девушка! — говорил он сам себе иногда. — Никогда ни в чем она не ошибается, никогда она ничего не сказала глупого. Она мало говорит, но то, что она скажет, всегда просто и ясно. Так она не глупа. Никогда она не смущалась и не смущается. Так она не дурная женщина!» Часто ему случалось с нею начинать рассуждать, думать вслух, и всякий раз она отвечала ему на это либо коротким, но кстати сказанным замечанием, показывавшим, что ее это не интересует, либо молчаливой улыбкой и взглядом, которые ощутительнее всего показывали Пьеру ее превосходство. Она была права, признавая все рассуждения вздором в сравнении с этой улыбкой.

Она обращалась к нему всегда с радостной, доверчивой, к нему одному относившейся улыбкой, в которой было что-то значительнее того, что было в общей улыбке, украшавшей всегда ее лицо. Пьер знал, что все ждут только того, чтобы он, наконец, сказал одно слово, переступил через известную черту, и он знал, что он рано или поздно переступит через нее; но какой-то непонятный ужас охватывал его при одной мысли об этом страшном шаге. Тысячи раз в продолжение этого полутора месяца, во время которого он чувствовал себя все дальше и дальше втягиваемым в ту страшившую его пропасть,

Пьер говорил себе: «Да что ж это? Нужна решимость! Разве нет у меня ее?»

Он хотел решиться, но с ужасом чувствовал, что не было у него в этом случае той решимости, которую он знал в себе и которая действительно была в нем. Пьер принадлежал к числу тех людей, которые сильны только тогда, когда они чувствуют себя вполне чистыми. А с того дня, как им овладело то чувство желания, которое он испытал над табакеркой у Анны Павловны, несознанное чувство виноватости этого стремления парализировало его решимость.

В день именин Элен у князя Василья ужинало маленькое общество людей самых близких, как говорила княгиня,— родные и друзья. Всем этим родным и друзьям дано было чувствовать, что в этот день должна решиться участь именинницы. Гости сидели за ужином. Княгиня Курагина, массивная, когда-то красивая, представительная женщина, сидела на хозяйском месте. По обеим сторонам ее сидели почетнейшие гости — старый генерал, его жена, Анна Павловна Шерер; в конце стола сидели менее пожилые и почетные гости, и там же сидели как домашние Пьер и Элен — рядом. Князь Василий не ужинал: он похаживал вокруг стола, в веселом расположении духа подсаживаясь то к тому, то к другому из гостей. Каждому он говорил небрежное и приятное слово, исключая Пьера и Элен, которых присутствия он не замечал, казалось. Князь Василий оживлял всех. Ярко горели восковые свечи, блестели серебро и хрусталь посуды, наряды дам и золото и серебро эполет; вокруг стола сновали слуги в красных кафтанах; слышались звуки ножей, стаканов, тарелок и звуки оживленного говора нескольких разговоров вокруг этого стола. Слышно было, как старый камергер в одном конце уверял старушку баронессу в своей пламенной любви к ней и ее смех; с другой — рассказ о неуспехе какой-то Марьи Викторовны. У середины стола князь Василий сосредоточил вокруг себя слушателей. Он рассказывал дамам с шутливой улыбкой на губах последнее — в середу — заседание государственного совета, на котором был получен и читался Сергеем Кузьмичом Вязмитиновым, новым петербургским военным генерал-губернатором, знаменитый тогда рескрипт государя Александра Павловича из армии, в котором государь, обращаясь к Сергею Кузьмичу, говорил, что со всех сторон получает он заявления о преданности народа и что

заявление Петербурга особенно приятно ему, что он гордится честью быть главою такой нации и постарается быть ее достойным. Рескрипт этот начинался словами: *Сергей Кузьмич! Со всех сторон доходят до меня слухи* и т. д.

— Так-таки и не пошло дальше, чем «Сергей Кузьмич»? — спрашивала одна дама.

— Да, да, ни на волос,— отвечал, смеясь, князь Василий.— «Сергей Кузьмич... со всех сторон... Со всех сторон, Сергей Кузьмич...» Бедный Вязмитинов никак не мог пойти далее. Несколько раз он принимался снова за письмо, но только что скажет *Сергей...* всхлипывания... *Ку... зьми... ч* — слезы... *и со всех сторон* заглушаются рыданиями, и дальше он не мог. И опять платок, и опять «Сергей Кузьмич, со всех сторон», и слезы... так что уже попросили прочесть другого.

— Кузьмич... со всех сторон... и слезы... — повторил кто-то, смеясь.

— Не будьте злы,— погрозив пальцем, с другого конца стола проговорила Анна Павловна, — c'est un si brave et excellent homme, notre bon Viasmitinoff... [1]

Все очень смеялись. На верхнем, почетном конце стола все были, казалось, веселы и под влиянием самых различных оживленных настроений; только Пьер и Элен молча сидели рядом почти на нижнем конце стола; на лицах обоих сдерживалась сияющая улыбка, не зависящая от Сергея Кузьмича,— улыбка стыдливости перед своими чувствами. Что бы ни говорили и как бы ни смеялись и шутили другие, как бы аппетитно ни кушали и рейнвейн, и соте, и мороженое, как бы ни избегали взглядом эту чету, как бы ни казались равнодушны, невнимательны к ней, чувствовалось почему-то, по изредка бросаемым на них взглядам, что и анекдот о Сергее Кузьмиче, и смех, и кушанье — все было притворно, а все силы внимания всего этого общества были обращены только на эту пару — Пьера и Элен. Князь Василий представлял всхлипыванья Сергея Кузьмича и в это время обегал взглядом дочь; и в то время как он смеялся, выражение его лица говорило: «Так, так, все хорошо идет; нынче все решится». Анна Павловна грозила ему за notre bon Viasmitinoff, а в глазах ее, которые мельком блеснули в этот момент на Пьера, князь Василий читал поздравление с бу-

---

[1] он такой славный человек, наш добрый Вязмитинов...

дущим зятем и счастием дочери. Старая княгиня, предлагая с грустным вздохом вина своей соседке и сердито взглянув на дочь, этим вздохом как будто говорила: «Да, теперь нам с вами ничего больше не осталось, как пить сладкое вино, моя милая; теперь время этой молодежи быть так дерзко вызывающе-счастливой». «И что за глупость все то, что я рассказываю, как будто это меня интересует,— думал дипломат, взглядывая на счастливые лица любовников,— вот это счастие!»

Среди тех ничтожно мелких, искусственных интересов, которые связывали это общество, попало простое чувство стремления красивых и здоровых молодых мужчины и женщины друг к другу. И это человеческое чувство подавило все и парило над всем их искусственным лепетом. Шутки были невеселы, новости не интересны, оживление — очевидно поддельно. Не только они, но лакеи, служившие за столом, казалось, чувствовали то же и забывали порядок службы, заглядываясь на красавицу Элен с ее сияющим лицом и на это красное, толстое, счастливое и беспокойное лицо Пьера. Казалось, и огни свечей сосредоточены были только на этих двух счастливых лицах.

Пьер чувствовал, что он был центром всего, и это положение и радовало и стесняло его. Он находился в состоянии человека, углубленного в какое-нибудь занятие. Он ничего ясно не видел, не понимал и не слыхал. Только изредка, неожиданно, мелькали в его душе отрывочные мысли и впечатления из действительности.

«Так уж все кончено! — думал он. — И как это все сделалось? Так быстро! Теперь я знаю, что не для нее одной, не для себя одного, но и для всех *это* должно неизбежно свершиться. Они все так ждут *этого,* так уверены, что это будет, что я не могу, не могу обмануть их. Но как это будет? Не знаю; а будет, непременно будет!» — думал Пьер, взглядывая на эти плечи, блестевшие подле самых глаз его.

То вдруг ему становилось стыдно чего-то. Ему неловко было, что он один занимает внимание всех, что он счастливец в глазах других, что он, с своим некрасивым лицом, какой-то Парис, обладающий Еленой. «Но, верно, это всегда так бывает и так надо,— утешал он себя.— И, впрочем, что же я сделал для этого? Когда это началось? Из Москвы я поехал вместе с князем Васильем. Тут еще ничего не было. Потом, отчего же мне было у него не

остановиться? Потом я играл с ней в карты и поднял ее ридикюль, ездил с ней кататься. Когда же это началось, когда это все сделалось?» И вот он сидит подле нее женихом; слышит, видит, чувствует ее близость, ее дыхание, ее движения, ее красоту. То вдруг ему кажется, что это не она, а он сам так необыкновенно красив, что оттого-то и смотрят так на него, и он, счастливый общим удивлением, выпрямляет грудь, поднимает голову и радуется своему счастию. Вдруг какой-то голос, чей-то знакомый голос, слышится и говорит ему что-то другой раз. Но Пьер так занят, что не понимает того, что говорят ему.

— Я спрашиваю у тебя, когда ты получил письмо от Болконского,— повторяет третий раз князь Василий.— Как ты рассеян, мой милый.

Князь Василий улыбается, и Пьер видит, что все, все улыбаются на него и на Элен. «Ну, что ж, коли вы все знаете,— говорит сам себе Пьер.— Ну, что ж? это правда», — и он сам улыбается своею кроткой, детской улыбкой, и Элен улыбается.

— Когда же ты получил? Из Ольмюца? — повторяет князь Василий, которому будто нужно это знать для решения спора.

«И можно ли говорить и думать о таких пустяках?» — думает Пьер.

— Да, из Ольмюца,— отвечает он со вздохом.

От ужина Пьер повел свою даму за другими в гостиную. Гости стали разъезжаться, и некоторые уезжали, не простившись с Элен. Как будто не желая отрывать ее от ее серьезного занятия, некоторые подходили на минуту и скорее отходили, запрещая ей провожать себя. Дипломат грустно молчал, выходя из гостиной. Ему представлялась вся тщета его дипломатической карьеры в сравнении с счастием Пьера. Старый генерал сердито проворчал на свою жену, когда она спросила его о состоянии его ноги. «Эка, старая дура,— подумал он.— Вот Елена Васильевна, так та и в пятьдесят лет красавица будет».

— Кажется, что я могу вас поздравить,— прошептала Анна Павловна княгине и крепко поцеловала ее.— Ежели бы не мигрень, я бы осталась.

Княгиня ничего не отвечала; ее мучила зависть к счастию своей дочери.

Пьер во время проводов гостей долго оставался один с Элен в маленькой гостиной, где они сели. Он часто и

прежде, в последние полтора месяца, оставался один с Элен, но никогда не говорил ей о любви. Теперь он чувствовал, что это было необходимо, но он никак не мог решиться на этот последний шаг. Ему было стыдно; ему казалось, что тут, подле Элен, он занимает чье-то чужое место. «Не для тебя это счастье,— говорил ему какой-то внутренний голос.— Это счастье для тех, у кого нет того, что есть у тебя». Но надо было сказать что-нибудь, и он заговорил. Он спросил у нее, довольна ли она нынешним вечером? Она, как и всегда, с простотой своей отвечала, что нынешние именины были для нее одними из самых приятных.

Кое-кто из ближайших родных еще оставались. Они сидели в большой гостиной. Князь Василий ленивыми шагами подошел к Пьеру. Пьер встал и сказал, что уже поздно. Князь Василий строго-вопросительно посмотрел на него, как будто то, что он сказал, было так странно, что нельзя было и расслышать. Но вслед за тем выражение строгости изменилось, и князь Василий дернул Пьера вниз за руку, посадил его и ласково улыбнулся.

— Ну, что, Леля? — обратился он тотчас же к дочери с тем небрежным тоном привычной нежности, который усвоивается родителями, с детства ласкающими своих детей, но который князем Васильем был только угадан посредством подражания другим родителям.

И опять обратился к Пьеру.

— *Сергей Кузьмич, со всех сторон,*— проговорил он, расстегивая верхнюю пуговицу жилета.

Пьер улыбнулся, но по его улыбке видно было, что он понимал, что не анекдот Сергея Кузьмича интересовал в это время князя Василья; и князь Василий понял, что Пьер понимал это. Князь Василий вдруг пробурлил что-то и вышел. Пьеру показалось, что даже князь Василий был смущен. Вид смущения этого старого светского человека тронул Пьера; он оглянулся на Элен — и она, казалось, была смущена и взглядом говорила: «Что ж, вы сами виноваты».

«Надо, неизбежно перешагнуть, но не могу, я не могу»,— думал Пьер и заговорил опять о постороннем, о Сергее Кузьмиче, спрашивая, в чем состоял этот анекдот, так как он его не расслышал. Элен с улыбкой отвечала, что она тоже не знает.

Когда князь Василий вошел в гостиную, княгиня тихо говорила с пожилой дамой о Пьере.

— Конечно, c'est un parti très brillant, mais le bonheur, ma chère...

— Les mariages se font dans les cieux [1], — отвечала пожилая дама.

Князь Василий, как бы не слушая дам, прошел в дальний угол и сел на диван. Он закрыл глаза и как будто дремал. Голова его было упала, и он очнулся.

— Aline, — сказал он жене, — allez voir ce qu'ils font [2].

Княгиня подошла к двери, прошлась мимо нее с значительным, равнодушным видом и заглянула в гостиную. Пьер и Элен так же сидели и разговаривали.

— Все то же,— отвечала она мужу.

Князь Василий нахмурился, сморщил рот на сторону, щеки его запрыгали с свойственным ему неприятным, грубым выражением; он, встряхнувшись, встал, закинул назад голову и решительными шагами, мимо дам, прошел в маленькую гостиную. Он скорыми шагами, радостно подошел к Пьеру. Лицо князя было так необыкновенно-торжественно, что Пьер испуганно встал, увидав его.

— Слава богу! — сказал он. — Жена мне все сказала! — Он обнял одною рукой Пьера, другою — дочь.— Друг мой Леля! Я очень, очень рад.— Голос его задрожал.— Я любил твоего отца... и она будет тебе хорошая жена... бог да благословит вас!..

Он обнял дочь, потом опять Пьера и поцеловал его своим старческим ртом. Слезы действительно омочили его щеки.

— Княгиня, иди же сюда,— прокричал он.

Княгиня вышла и заплакала тоже. Пожилая дама тоже утиралась платком. Пьера целовали, и он несколько раз целовал руку прекрасной Элен. Через несколько времени их опять оставили одних.

«Все это так должно было быть и не могло быть иначе, — думал Пьер, — поэтому нечего спрашивать, хорошо ли это или дурно? Хорошо, потому что определенно, и нет прежнего мучительного сомнения». Пьер молча держал руку своей невесты и смотрел на ее поднимающуюся и опускающуюся прекрасную грудь.

— Элен! — сказал он вслух и остановился.

«Что-то такое особенное говорят в этих случаях», —

---

[1] Конечно, это очень блестящая партия, но счастье, моя милая... — Браки совершаются на небесах.

[2] Алина, посмотри, что они делают.

думал он, но никак не мог вспомнить, что такое именно говорят в этих случаях. Он взглянул в ее лицо. Она придвинулась к нему ближе. Лицо ее зарумянилось.

— Ах, снимите эти... как эти... — она указывала на очки.

Пьер снял очки, и глаза его сверх общей странности глаз людей, снявших очки, глаза его смотрели испуганно-вопросительно. Он хотел нагнуться над ее рукой и поцеловать ее; но она быстрым и грубым движением головы перехватила его губы и свела их с своими. Лицо ее поразило Пьера своим изменившимся, неприятно-растерянным выражением.

«Теперь уж поздно, все кончено; да и я люблю ее», — подумал Пьер.

— Je vous aime! [1] — сказал он, вспомнив то, что нужно было говорить в этих случаях; но слова эти прозвучали так бедно, что ему стало стыдно за себя.

Через полтора месяца он был обвенчан и поселился, как говорили, счастливым обладателем красавицы жены и миллионов в большом петербургском, заново отделанном доме графов Безуховых.

III

Старый князь Николай Андреич Болконский в декабре 1805 года получил письмо от князя Василья, извещавшего его о своем приезде вместе с сыном. («Я еду на ревизию, и, разумеется, мне сто верст не крюк, чтобы посетить вас, многоуважаемый благодетель,— писал он,— и Анатоль мой провожает меня и едет в армию; и я надеюсь, что вы позволите ему лично выразить вам то глубокое уважение, которое он, подражая отцу, питает к вам».)

— Вот Мари и вывозить не нужно: женихи сами к нам едут,— неосторожно сказала маленькая княгиня, услыхав про это.

Князь Николай Андреич поморщился и ничего не сказал.

Через две недели после получения письма, вечером, приехали вперед люди князя Василья, а на другой день приехал и он сам с сыном.

Старый Болконский всегда был невысокого мнения о характере князя Василья, и тем более в последнее

---

[1] Я вас люблю!

время, когда князь Василий в новые царствования при Павле и Александре далеко пошел в чинах и почестях. Теперь же, по намекам письма и маленькой княгини, он понял, в чем дело, и невысокое мнение о князе Василье перешло в душе князя Николая Андреича в чувство недоброжелательного презрения. Он постоянно фыркал, говоря про него. В тот день, как приехать князю Василью, князь Николай Андреич был особенно недоволен и не в духе. Оттого ли он был не в духе, что приезжал князь Василий, или оттого он был особенно недоволен приездом князя Василья, что был не в духе, но он был не в духе, и Тихон еще утром отсоветовал архитектору входить с докладом к князю.

— Слышите, как изволят ходить,— сказал Тихон, обращая внимание архитектора на звуки шагов князя.— На всю пятку ступают — уж мы знаем...

Однако, как обыкновенно, в девятом часу князь вышел гулять в своей бархатной шубке с собольим воротником и такой же шапке. Накануне выпал снег. Дорожка, по которой хаживал князь Николай Андреич в оранжереи, была расчищена, следы метлы виднелись на разметанном снегу, и лопата была воткнута в рыхлую насыпь снега, шедшую с обеих сторон дорожки. Князь прошел по оранжереям, по дворне и постройкам, нахмуренный и молчаливый.

— А проехать в санях можно? — спросил он провожавшего его до дома почтенного, похожего лицом и манерами на хозяина, управляющего.

— Глубок снег, ваше сиятельство. Я уже по прешпекту разметать велел.

Князь наклонил голову и подошел к крыльцу. «Слава тебе, господи, — подумал управляющий, — пронеслась туча!»

— Проехать трудно было, ваше сиятельство,— прибавил управляющий.— Как слышно было, ваше сиятельство, что министр пожалуют к вашему сиятельству?

Князь повернулся к управляющему и нахмуренными глазами уставился на него.

— Что? Министр? Какой министр? Кто велел? — заговорил он своим пронзительно-жестким голосом.— Для княжны, моей дочери, не расчистили, а для министра! У меня нет министров!

— Ваше сиятельство, я полагал...

— Ты полагал! — закричал князь, все поспешнее и несвязнее выговаривая слова.— Ты полагал... Разбойники!

прохвосты!.. Я тебя научу полагать.— И, подняв палку, он замахнулся ею на Алпатыча и ударил бы, ежели бы управляющий невольно не отклонился от удара.— Полагал!.. Прохвосты!.. — торопливо кричал он. Но, несмотря на то, что Алпатыч, сам испугавшийся своей дерзости — отклониться от удара, приблизился к князю, опустив перед ним покорно свою плешивую голову, или, может быть, именно от этого, князь, продолжая кричать: «Прохвосты!.. закидать дорогу!», не поднял другой раз палки и вбежал в комнаты.

Перед обедом княжна и m-lle Bourienne, знавшие, что князь не в духе, стояли, ожидая его: m-lle Bourienne с сияющим лицом, которое говорило: «Я ничего не знаю, я такая же, как всегда», и княжна Марья — бледная, испуганная, с опущенными глазами. Тяжелее всего для княжны Марьи было то, что она знала, что в этих случаях надо поступать, как m-lle Bourienne, но не могла этого сделать. Ей казалось: «Сделаю я так, как будто не замечаю, он подумает, что у меня нет к нему сочувствия; сделаю я так, что я сама скучна и не в духе, он скажет (как это и бывало), что я нос повесила», и т. п.

Князь взглянул на испуганное лицо дочери и фыркнул.

— Др... или дура!.. — проговорил он.

«И той нет! уж и ей насплетничали»,— подумал он про маленькую княгиню, которой не было в столовой.

— А княгиня где? — спросил он.— Прячется?..

— Она не совсем здорова,— весело улыбаясь, отвечала m-lle Bourienne,— она не выйдет. Это так понятно в ее положении.

— Гм! гм! кх! кх! — проговорил князь и сел за стол.

Тарелка ему показалась не чиста; он указал на пятно и бросил ее. Тихон подхватил ее и передал буфетчику. Маленькая княгиня не была нездорова; но она до такой степени непреодолимо боялась князя, что, услыхав о том, как он не в духе, она решила не выходить.

— Я боюсь за ребенка,— говорила она m-lle Bourienne,— бог знает, что может сделаться от испуга.

Вообще маленькая княгиня жила в Лысых Горах постоянно под чувством страха и антипатии к старому князю, которой она не сознавала, потому что страх так преобладал, что она не могла ее чувствовать. Со стороны князя тоже была антипатия, но она заглушалась презрением. Княгиня, обжившись в Лысых Горах, полюбила особенно m-lle Bourienne, проводила с нею дни, просила

ее ночевать с собой и с нею часто говорила о свекоре, судила его.

— Il nous arrive du monde, mon prince [1],— сказала m-lle Bourienne, своими розовенькими руками развертывая белую салфетку.— Son excellence le prince Kouraguine avec son fils, à ce que j'ai entendu dire? [2] — вопросительно сказала она.

— Гм! эта excellence — мальчишка... я его определил в коллегию, — оскорбленно сказал князь.— А сын зачем, не могу понять. Княгиня Лизавета Карловна и княжна Марья, может, знают; я не знаю, к чему он везет этого сына сюда. Мне не нужно.— И он посмотрел на покрасневшую дочь.

— Нездорова, что ли? От страха министра? как нынче этот болван Алпатыч сказал.

— Нет, mon père [3].

Как ни неудачно попала m-lle Bourienne на предмет разговора, она не остановилась и болтала об оранжереях, о красоте нового распустившегося цветка, и князь после супа смягчился.

После обеда он прошел к невестке. Маленькая княгиня сидела за маленьким столиком и болтала с Машей, горничной. Она побледнела, увидав свекора.

Маленькая княгиня очень переменилась. Она скорее была дурна, нежели хороша, теперь. Щеки опустились, губа поднялась кверху, глаза были обтянуты книзу.

— Да, тяжесть какая-то,— отвечала она на вопрос князя, что она чувствует.

— Не нужно ли чего?

— Нет, merci, mon père [4].

— Ну, хорошо, хорошо.

Он вышел и дошел до официантской. Алпатыч, нагнув голову, стоял в официантской.

— Закидана дорога?

— Закидана, ваше сиятельство; простите, ради бога, по одной глупости.

Князь перебил его и засмеялся своим неестественным смехом.

— Ну, хорошо, хорошо.

---

[1] К нам едут гости, князь.
[2] Его сиятельство князь Курагин с сыном, сколько я слышала?
[3] батюшка.
[4] благодарю, батюшка.

Он протянул руку, которую поцеловал Алпатыч, и прошел в кабинет.

Вечером приехал князь Василий. Его встретили на *прешпекте* (так назывался проспект) кучера̀ и официанты, с криком провезли его возки и сани к флигелю по нарочно засыпанной снегом дороге.

Князю Василью и Анатолю были отведены отдельные комнаты.

Анатоль сидел, сняв камзол и подпершись руками в бока, перед столом, на угол которого он, улыбаясь, пристально и рассеянно устремил свои прекрасные большие глаза. На всю жизнь свою он смотрел как на непрерывное увеселение, которое кто-то такой почему-то обязался устроить для него. Так же и теперь он смотрел на свою поездку к злому старику и к богатой уродливой наследнице. Все это могло выйти, по его предположению, очень хорошо и забавно. «А отчего же не жениться, коли она очень богата? Это никогда не мешает», — думал Анатоль.

Он выбрился, надушился с тщательностью и щегольством, сделавшимися его привычкою, и с прирожденным ему добродушно-победительным выражением, высоко неся красивую голову, вошел в комнату к отцу. Около князя Василья хлопотали его два камердинера, одевая его; он сам оживленно оглядывался вокруг себя и весело кивнул входившему сыну, как будто он говорил: «Так, таким мне тебя и надо!»

— Нет, без шуток, батюшка, она очень уродлива? А? — по-французски спросил он, как бы продолжая разговор, не раз веденный во время путешествия.

— Полно, глупости! Главное дело — старайся быть почтителен и благоразумен с старым князем.

— Ежели он будет браниться, я уйду,— сказал Анатоль.— Я этих стариков терпеть не могу. А?

— Помни, что для тебя от этого зависит все.

В это время в девичьей не только был известен приезд министра с сыном, но внешний вид их обоих был уже подробно описан. Княжна Марья сидела одна в своей комнате и тщетно пыталась преодолеть свое внутреннее волнение.

«Зачем они писали, зачем Лиза говорила мне про это? Ведь этого не может быть! — говорила она себе, взглядывая в зеркало.— Как я выйду в гостиную? Ежели бы он даже мне понравился, я бы не могла быть теперь с ним

сама собою». Одна мысль о взгляде ее отца приводила ее в ужас.

Маленькая княгиня и m-lle Bourienne получили уже все нужные сведения от горничной Маши о том, какой румяный, чернобровый красавец был министерский сын, и о том, как папенька их насилу ноги проволок на лестницу, а он, как орел, шагая по три ступеньки, пробежал за ним. Получив эти сведения, маленькая княгиня с m-lle Bourienne, еще из коридора слышные своими оживленно переговаривавшимися голосами, вошли в комнату княжны.

— Ils sont arrivés, Marie [1], вы знаете? — сказала маленькая княгиня, переваливаясь своим животом и тяжело опускаясь на кресло.

Она уже не была в той блузе, в которой сидела поутру, а на ней было одно из лучших ее платьев; голова ее была тщательно убрана, и на лице ее было оживление, не скрывавшее, однако, опустившихся и помертвевших очертаний лица. В том наряде, в котором она бывала обыкновенно в обществах в Петербурге, еще заметнее было, как много она подурнела. На m-lle Bourienne тоже появилось уже незаметно какое-то усовершенствование наряда, которое придавало ее хорошенькому, свеженькому лицу еще более привлекательности.

— Eh bien, et vous restez comme vous êtes, chère princesse? — заговорила она.— On va venir annoncer que ces messieurs sont au salon; il faudra descendre, et vous ne faites pas un petit brin de toilette! [2]

Маленькая княгиня поднялась с кресла, позвонила горничную и поспешно и весело принялась придумывать наряд для княжны Марьи и приводить его в исполнение. Княжна Марья чувствовала себя оскорбленной в чувстве собственного достоинства тем, что приезд обещанного ей жениха волновал ее, и еще более она была оскорблена тем, что обе ее подруги и не предполагали, чтобы это могло быть иначе. Сказать им, как ей совестно было за себя и за них, это значило выдать свое волнение; кроме того, отказаться от наряжания, которое предлагали ей, повело бы к продолжительным шуткам и настаиваниям. Она вспыхнула, прекрасные глаза ее потухли, лицо ее покрылось пятнами, и с тем некрасивым выражением

---

[1] Они приехали, Мари.

[2] Ну, а вы остаетесь, в чем были? Сейчас придут сказать, что они вышли. Надо будет идти вниз, а вы хоть бы чуть-чуть принарядились!

жертвы, чаще всего останавливавшимся на ее лице, она отдалась во власть m-lle Bourienne и Лизы. Обе женщины заботились *совершенно искренно* о том, чтобы сделать ее красивою. Она была так дурна, что ни одной из них не могла прийти мысль о соперничестве с нею; поэтому они совершенно искренно, с тем наивным и твердым убеждением женщин, что наряд может сделать лицо красивым, принялись за ее одеванье.

— Нет, право, ma bonne amie [1], это платье нехорошо,— говорила Лиза, издалека боком взглядывая на княжну,— вели подать, у тебя там есть масака̀! Право! Что ж, ведь это, может быть, судьба жизни решается. А это слишком светло, нехорошо, нет, нехорошо!

Нехорошо было не платье, но лицо и вся фигура княжны, но этого не чувствовали m-lle Bourienne и маленькая княгиня; им все казалось, что ежели приложить голубую ленту к волосам, зачесанным кверху, и спустить голубой шарф с коричневого платья и т. п., то все будет хорошо. Они забывали, что испуганное лицо и фигуру нельзя было изменить, и потому, как они ни видоизменяли раму и украшение этого лица, само лицо оставалось жалко и некрасиво. После двух или трех перемен, которым покорно подчинялась княжна Марья, в ту минуту, как она была зачесана кверху (прическа, совершенно изменявшая и портившая ее лицо), в голубом шарфе и масака̀ нарядном платье, маленькая княгиня раза два обошла кругом нее, маленькой ручкой оправила тут складку платья, там подернула шарф и посмотрела, склонив голову, то с той, то с другой стороны.

— Нет, это нельзя,— сказала она решительно, всплеснув руками. — Non, Marie, décidément ça ne vous va pas. Je vous aime mieux dans votre petite robe grise de tous les jours. Non, de grâce, faites cela pour moi [2]. Катя,— сказала она горничной,— принеси княжне серенькое платье, и посмотрите, m-lle Bourienne, как я это устрою,— сказала она с улыбкой предвкушения артистической радости.

Но когда Катя принесла требуемое платье, княжна Марья неподвижно все сидела перед зеркалом, глядя на свое лицо, и в зеркале увидала, что в глазах ее стоят слезы и что рот ее дрожит, приготовляясь к рыданиям.

---

[1] мой дружок .

[2] Нет, Мари, решительно это не идет к вам. Я вас лучше люблю в вашем сереньком ежедневном платьице; пожалуйста, сделайте это для меня.

— Voyons, chère princesse,— сказала m-lle Bourienne,— encore un petit effort[1].

Маленькая княгиня, взяв платье из рук горничной, подходила к княжне Марье.

— Нет, теперь мы это сделаем просто, мило,— говорила она.

Голоса ее, m-lle Bourienne и Кати, которая о чем-то засмеялась, сливались в веселое лепетанье, похожее на пение птиц.

— Non, laissez-moi[2], — сказала княжна.

И голос ее звучал такой серьезностью и страданием, что лепетанье птиц тотчас же замолкло. Они посмотрели на большие, прекрасные глаза, полные слез и мысли, ясно и умоляюще смотревшие на них, и поняли, что настаивать бесполезно и даже жестоко.

— Au moins, changez de coiffure,— сказала маленькая княгиня. — Je vous disais, — с упреком сказала она, обращаясь к m-lle Bourienne,— Marie a une de ces figures auxquelles ce genre de coiffure ne va pas du tout. Mais du tout, du tout. Changez de grâce[3].

— Laissez-moi, laissez-moi, tout ça m'est parfaitement égal[4],— отвечал голос, едва удерживающий слезы.

M-lle Bourienne и маленькая княгиня должны были признаться самим себе, что княжна Марья в этом виде была очень дурна, хуже, чем всегда; но было уже поздно. Она смотрела на них с тем выражением, которое они знали, выражением мысли и грусти. Выражение это не внушало им страха к княжне Марье. (Этого чувства она никому не внушала.) Но они знали, что когда на ее лице появлялось это выражение, она была молчалива и непоколебима в своих решениях.

— Vous changerez, n'est-ce pas?[5] — сказала Лиза, и когда княжна Марья ничего не ответила, Лиза вышла из комнаты.

Княжна Марья осталась одна. Она не исполнила желания Лизы и не только не переменила прически, но и не взглянула на себя в зеркало. Она, бессильно опустив

---

[1] Ну, княжна, еще маленькое усилие.

[2] Нет, оставьте меня.

[3] По крайней мере, перемените прическу. Я вам говорила, что у Мари одно из тех лиц, которым этот род прически совсем нейдет. Перемените, пожалуйста.

[4] Оставьте меня, мне все равно.

[5] Вы перемените, не правда ли?

глаза и руки, молча сидела и думала. Ей представлялся муж, мужчина, сильное, преобладающее и непонятно-привлекательное существо, переносящее ее вдруг в свой, совершенно другой, счастливый мир. Ребенок *свой,* такой, какого она видела вчера у дочери кормилицы,— представлялся ей у своей собственной груди. Муж стоит и нежно смотрит на нее и ребенка. «Но нет, это невозможно, я слишком дурна», — думала она.

— Пожалуйте к чаю. Князь сейчас выйдут,— сказал из-за двери голос горничной.

Она очнулась и ужаснулась тому, о чем она думала. И прежде чем идти вниз, она встала, вошла в образную и, устремив на освещенный лампадкой черный лик большого образа спасителя, простояла перед ним несколько минут с сложенными руками. В душе княжны Марьи было мучительное сомненье. Возможна ли для нее радость любви, земной любви к мужчине? В помышлениях о браке княжне Марье мечталось и семейное счастие, и дети, но главною, сильнейшею и затаенною ее мечтой была любовь земная. Чувство было тем сильнее, чем более она старалась скрывать его от других и даже от самой себя. «Боже мой,— говорила она,— как мне подавить в сердце своем эти мысли дьявола? Как мне отказаться так, навсегда от злых помыслов, чтобы спокойно исполнять твою волю?» И едва она сделала этот вопрос, как бог уже отвечал ей в ее собственном сердце: «Не желай ничего для себя; не ищи, не волнуйся, не завидуй. Будущее людей и твоя судьба должна быть неизвестна тебе; но живи так, чтобы быть готовой ко всему. Если богу угодно будет испытать тебя в обязанностях брака, будь готова исполнить его волю». С этою успокоительною мыслью (но все-таки с надеждой на исполнение своей запрещенной земной мечты) княжна Марья, вздохнув, перекрестилась и сошла вниз, не думая ни о своем платье, ни о прическе, ни о том, как она войдет и что скажет. Что могло все это значить в сравнении с предопределением бога, без воли которого не падет ни один волос с головы человеческой.

IV

Когда княжна Марья взошла в комнату, князь Василий с сыном уже были в гостиной, разговаривая с маленькой княгиней и m-lle Bourienne. Когда она вошла своей

тяжелой походкой, ступая на пятки, мужчины и m-lle Bourienne приподнялись, и маленькая княгиня, указывая на нее мужчинам, сказала: «Voilà Marie!» [1] Княжна Марья видела всех, и подробно видела. Она видела лицо князя Василья, на мгновенье серьезно остановившееся при виде княжны и тотчас же улыбнувшееся, и лицо маленькой княгини, читавшей с любопытством на лицах гостей впечатление, которое произведет на них Marie. Она видела и m-lle Bourienne с ее лентой и красивым лицом и оживленным, как никогда, взглядом, устремленным на *него*; но она не могла видеть *его*, она видела только что-то большое, яркое и прекрасное, подвинувшееся к ней, когда она вошла в комнату. Сначала к ней подошел князь Василий, и она поцеловала плешивую голову, наклонившуюся над ее рукой, и отвечала на его слова, что она, напротив, очень хорошо помнит его. Потом к ней подошел Анатоль. Она все еще не видала его. Она только почувствовала нежную руку, твердо взявшую ее руку, и чуть дотронулась до белого лба, над которым были припомажены прекрасные русые волосы. Когда она взглянула на него, красота его поразила ее. Анатоль, заложив большой палец правой руки за застегнутую пуговицу мундира, с выгнутой вперед грудью, а назад — спиною, покачивая одной отставленной ногой и слегка склонив голову, молча, весело глядел на княжну, видимо, совершенно о ней не думая. Анатоль был не находчив, не быстр и не красноречив в разговорах, но у него зато была драгоценная для света способность спокойствия и ничем не изменяемая уверенность. Замолчи при первом знакомстве несамоуверенный человек и выкажи сознание неприличности этого молчания и желание найти что-нибудь, и будет нехорошо; но Анатоль молчал, покачивал ногой, весело наблюдая прическу княжны. Видно было, что он так спокойно мог молчать очень долго. «Ежели кому неловко от молчания, так разговаривайте, а мне не хочется», как будто говорил его вид. Кроме того, в обращении с женщинами у Анатоля была та манера, которая более всего внушает в женщинах любопытство, страх и даже любовь, — манера презрительного сознания своего превосходства. Как будто он говорил им своим видом: «Знаю вас, знаю, да что с вами возиться? А уж вы бы рады!» Может быть, что он этого не думал, встречаясь с женщинами (и даже вероятно, что нет,

[1] Вот Мари!

потому что он вообще мало думал), но такой у него был вид и такая манера. Княжна почувствовала это и, как будто желая ему показать, что она и не смеет думать о том, чтобы занять его, обратилась к старому князю. Разговор шел общий и оживленный благодаря голоску и губке с усиками, поднимавшейся над белыми зубами маленькой княгини. Она встретила князя Василья с тем приемом шуточки, который часто употребляется болтливо-веселыми людьми и который состоит в том, что между человеком, с которым так обращаются, и собой предполагают какие-то давно установившиеся шуточки и веселые, отчасти не всем известные, забавные воспоминания, тогда как никаких таких воспоминаний нет, как их и не было между маленькой княгиней и князем Васильем. Князь Василий охотно поддался этому тону; маленькая княгиня вовлекла в это воспоминание никогда не бывших смешных происшествий и Анатоля, которого она почти не знала. M-lle Bourienne тоже разделила эти общие воспоминания, и даже княжна Марья с удовольствием почувствовала и себя втянутою в это веселое воспоминание.

— Вот, по крайней мере, мы вами теперь вполне воспользуемся, милый князь,— говорила маленькая княгиня, разумеется, по-французски, князю Василью, — это не так, как на наших вечерах у Annette, где вы всегда убежите. Помните cette chère Annette! [1]

— А, да вы мне не *подите говорить* про политику, как Annette!

— А наш чайный столик?

— О да!

— Отчего вы никогда не бывали у Annette? — спросила маленькая княгиня у Анатоля.— А! я знаю, знаю,— сказала она, подмигнув, — ваш брат Ипполит мне рассказывал про ваши дела. О! — Она погрозила ему пальчиком.— Еще в Париже ваши проказы знаю!

— А он, Ипполит, тебе не говорил? — сказал князь Василий, обращаясь к сыну и хватая за руку княгиню, как будто она хотела убежать, а он едва успел удержать ее, — а он тебе не говорил, как он сам, Ипполит, иссыхал по милой княгине и как она le mettait à la porte? [2]

— Oh! C'est la perle des femmes, princesse! [3] — обратился он к княжне.

---

[1] эта милая Аннет!
[2] выгоняла его из дома?
[3] Ах! это перл женщин, княжна!

С своей стороны m-lle Bourienne не упустила случая при слове Париж вступить тоже в общий разговор воспоминаний.

Она позволила себе спросить, давно ли Анатоль оставил Париж и как понравился ему этот город. Анатоль весьма охотно отвечал француженке и, улыбаясь, глядя на нее, разговаривал с ней про ее отечество. Увидав хорошенькую Bourienne, Анатоль решил, что и здесь, в Лысых Горах, будет нескучно. «Очень недурна! — думал он, оглядывая ее. — Очень недурна эта demoiselle de compagnie [1]. Надеюсь, что она возьмет ее с собой, когда выйдет за меня, — подумал он, — la petite est gentille» [2].

Старый князь неторопливо одевался в кабинете, хмурясь и обдумывая то, что ему делать. Приезд этих гостей сердил его. «Что мне князь Василий и его сынок? Князь Василий болтунишка, пустой, ну и сын хорош должен быть»,— ворчал он про себя. Его сердило то, что приезд этих гостей поднимал в его душе нерешенный, постоянно заглушаемый вопрос,— вопрос, насчет которого старый князь всегда сам себя обманывал. Вопрос состоял в том, решится ли он когда-либо расстаться с кяжной Марьей и отдать ее мужу. Князь никогда прямо не решался задавать себе этот вопрос, зная вперед, что он ответил бы по справедливости, а справедливость противоречила больше чем чувству, а всей возможности его жизни. Жизнь без княжны Марьи князю Николаю Андреевичу, несмотря на то, что он, казалось, мало дорожил ею, была немыслима. «И к чему ей выходить замуж? — думал он.— Наверно, быть несчастною. Вон Лиза за Андреем (лучше мужа теперь, кажется, трудно найти), а разве она довольна своей судьбой? И кто ее возьмет из любви? Дурна, неловка. Возьмут за связи, за богатство. И разве не живут в девках? Еще счастливее!» Так думал, одеваясь, князь Николай Андреевич, а вместе с тем все откладываемый вопрос требовал немедленного решения. Князь Василий привез своего сына, очевидно, с намерением сделать предложение и, вероятно, нынче или завтра потребует прямого ответа. Имя, положение в свете приличное. «Что ж, я не прочь,— говорил сам себе князь,— но пусть он будет стоить ее. Вот это-то мы и посмотрим».

---

[1] компаньонка.
[2] очень, очень недурна.

— Это-то мы и посмотрим, — проговорил он вслух. — Это-то мы и посмотрим.

И он, как всегда, бодрыми шагами вошел в гостиную, быстро окинул глазами всех, заметил и перемену платья маленькой княгини, и ленточку Bourienne, и уродливую прическу княжны Марьи, и улыбки Bourienne и Анатоля, и одиночество своей княжны в общем разговоре. «Убралась, как дура! — подумал он, злобно взглянув на дочь.— Стыда нет! А он ее и знать не хочет!»

Он подошел к князю Василью.

— Ну, здравствуй, здравствуй, рад видеть.

— Для мила дружка семь верст не околица, — заговорил князь Василий, как всегда, быстро, самоуверенно и фамильярно.— Вот мой второй, прошу любить и жаловать.

Князь Николай Андреевич оглядел Анатоля.

— Молодец, молодец! — сказал он.— Ну, поди поцелуй.— И он подставил ему щеку.

Анатоль поцеловал старика и любопытно и совершенно спокойно смотрел на него, ожидая, скоро ли произойдет от него обещанное отцом чудацкое.

Князь Николай Андреевич сел на свое обычное место, в угол дивана, подвинул к себе кресло для князя Василья, указал на него и стал расспрашивать о политических делах и новостях. Он слушал как будто со вниманием рассказ князя Василья, но беспрестанно взглядывал на княжну Марью.

— Так уж из Потсдама пишут? — повторил он последние слова князя Василья и вдруг, встав, подошел к дочери.

— Это ты для гостей так убралась, а? — сказал он.— Хороша, очень хороша. Ты при гостях причесана по-новому, а я при гостях тебе говорю, что вперед не смей ты переодеваться без моего спроса.

— Это я, mon père [1], виновата,— краснея, заступилась маленькая княгиня.

— Вам полная воля-с,— сказал князь Николай Андреевич, расшаркиваясь перед невесткой,— а ей уродовать себя нечего — и так дурна.

И он опять сел на место, не обращая более внимания на до слез доведенную дочь.

— Напротив, эта прическа очень идет княжне,— сказал князь Василий.

[1] батюшка.

— Ну, батюшка, молодой князь, как его зовут? — сказал князь Николай Андреевич, обращаясь к Анатолю,— поди сюда, поговорим, познакомимся.

«Вот когда начинается потеха»,— подумал Анатоль и с улыбкой подсел к старому князю.

— Ну, вот что: вы, мой милый, говорят, за границей воспитывались. Не так, как нас с твоим отцом дьячок грамоте учил. Скажите мне, мой милый, вы теперь служите в конной гвардии? — спросил старик, близко и пристально глядя на Анатоля.

— Нет, я перешел в армию,— отвечал Анатоль, едва удерживаясь от смеха.

— А! хорошее дело. Что ж, хотите, мой милый, послужить царю и отечеству? Время военное. Такому молодцу служить надо, служить надо. Что ж, во фронте?

— Нет, князь. Полк наш выступил. А я числюсь. При чем я числюсь, папа? — обратился Анатоль со смехом к отцу.

— Славно служит, славно. При чем я числюсь! Ха-ха-ха! — засмеялся князь Николай Андреевич.

И Анатоль засмеялся еще громче. Вдруг князь Николай Андреевич нахмурился.

— Ну, ступай,— сказал он Анатолю.

Анатоль с улыбкой подошел опять к дамам.

— Ведь ты их там за границей воспитывал, князь Василий? А? — обратился старый князь к князю Василью.

— Я делал, что мог; и я вам скажу, что тамошнее воспитание гораздо лучше нашего.

— Да, нынче все другое, все по-новому. Молодец малый! молодец! Ну, пойдем ко мне.

Он взял князя Василья под руку и повел в кабинет.

Князь Василий, оставшись один на один с князем, тотчас же объявил ему о своем желании и надеждах.

— Что ж ты думаешь,— сердито сказал старый князь,— что я ее держу, не могу расстаться? Вообразят себе! — проговорил он сердито.— Мне хоть завтра! Только скажу тебе, что я своего зятя знать хочу лучше. Ты знаешь мои правила: все открыто! Я завтра при тебе спрошу: хочет она, тогда пусть он поживет. Пускай поживет, я посмотрю. — Князь фыркнул. — Пускай выходит, мне все равно, — закричал он тем пронзительным голосом, которым он кричал при прощанье с сыном.

— Я вам прямо скажу,— сказал князь Василий тоном хитрого человека, убедившегося в ненужности хитрить перед проницательностью собеседника. — Вы ведь насквозь людей видите. Анатоль не гений, но честный, добрый малый, прекрасный сын и родной.

— Ну, ну, хорошо, увидим.

Как это всегда бывает для одиноких женщин, долго проживших без мужского общества, при появлении Анатоля все три женщины в доме князя Николая Андреевича одинаково почувствовали, что жизнь их была не жизнью до этого времени. Сила мыслить, чувствовать, наблюдать мгновенно удесятерилась во всех их, и как будто их жизнь, до сих пор происходившая во мраке, вдруг осветилась новым, полным значения светом.

Княжна Марья вовсе не думала и не помнила о своем лице и прическе. Красивое, открытое лицо человека, который, может быть, будет ее мужем, поглощало все ее внимание. Он ей казался добр, храбр, решителен, мужествен и великодушен. Она была убеждена в этом. Тысячи мечтаний о будущей семейной жизни беспрестанно возникали в ее воображении. Она отгоняла и старалась скрыть их.

«Но не слишком ли я холодна с ним? — думала княжна Марья.— Я стараюсь сдерживать себя, потому что в глубине души чувствую себя к нему уже слишком близкою; но ведь он не знает всего того, что я о нем думаю, и может вообразить себе, что он мне неприятен».

И княжна Марья старалась и не умела быть любезной с новым гостем.

«La pauvre fille! Elle est diablement laide» [1],— думал про нее Анатоль.

M-lle Bourienne, взведенная тоже приездом Анатоля на высокую степень возбуждения, думала в другом роде. Конечно, красивая молодая девушка без определенного положения в свете, без родных и друзей и даже родины не думала посвятить свою жизнь услугам князю Николаю Андреевичу, чтению ему книг и дружбе к княжне Марье. M-lle Bourienne давно ждала того русского князя, который сразу сумеет оценить ее превосходство над русскими, дурными, дурно одетыми, неловкими княжнами, влюбится в нее и увезет ее; и вот этот русский князь, наконец, приехал. У m-lle Bourienne была история, слышанная ею

[1] Бедняга! Чертовски дурна.

от тетки, доконченная ею самою, которую она любила повторять в своем воображении. Это была история о том, как соблазненной девушке представлялась ее бедная мать, «sa pauvre mère», и упрекала ее за то, что она без брака отдалась мужчине. M-lle Bourienne часто трогалась до слез, в воображении своем рассказывая *ему*, соблазнителю, эту историю. Теперь этот *он*, настоящий русский князь, явился. Он увезет ее, потом явится ma pauvre mère[1], и он женится на ней. Так складывалась в голове m-lle Bourienne вся ее будущая история в самое то время, как она разговаривала с ним о Париже. Не расчеты руководили m-lle Bourienne (она даже ни минуты не обдумывала того, что ей делать), но все это уже давно было готово в ней и теперь только сгруппировалось около появившегося Анатоля, которому она желала и старалась как можно больше нравиться.

Маленькая княгиня, как старая полковая лошадь, услыхав звук трубы, бессознательно и забывая свое положение, готовилась к привычному галопу кокетства, без всякой задней мысли или борьбы, а с наивным, легкомысленным весельем.

Несмотря на то, что Анатоль в женском обществе ставил себя обыкновенно в положение человека, которому надоела беготня за ним женщин, он чувствовал тщеславное удовольствие, видя свое влияние на этих трех женщин. Кроме того, он начинал испытывать к хорошенькой и вызывающей Bourienne то страстное, зверское чувство, которое на него находило с чрезвычайною быстротой и побуждало его к самым грубым и смелым поступкам.

Общество после чая перешло в диванную, и княжну попросили поиграть на клавикордах. Анатоль облокотился перед ней подле m-lle Bourienne, и глаза его, смеясь и радуясь, смотрели на княжну Марью. Княжна Марья с мучительным и радостным волнением чувствовала на себе его взгляд. Любимая соната переносила ее в самый задушевно-поэтический мир, а чувствуемый на себе взгляд придавал этому миру еще большую поэтичность. Взгляд же Анатоля, хотя и был устремлен на нее, относился не к ней, а к движениям ножки m-lle Bourienne, которую он в это время трогал своею ногой под фортепиано. M-lle Bourienne смотрела тоже на княжну, и в ее

---

[1] моя бедная мать.

прекрасных глазах было тоже новое для княжны Марьи выражение испуганной радости и надежды.

«Как она меня любит! — думала княжна Марья.— Как я счастлива теперь и как могу быть счастлива с таким другом и таким мужем! Неужели мужем?» — думала она, не смея взглянуть на его лицо, чувствуя все тот же взгляд, устремленный на себя.

Ввечеру, когда после ужина стали расходиться, Анатоль поцеловал руку княжны. Она сама не знала, как у ней достало смелости, но она прямо взглянула на приблизившееся к ее близоруким глазам прекрасное лицо. После княжны он подошел к руке m-lle Bourienne (это было неприлично, но он делал все так уверенно и просто), и m-lle Bourienne вспыхнула и взглянула испуганно на княжну.

«Quelle délicatesse[1],— подумала княжна.— Неужели Amélie (так звали m-lle Bourienne) думает, что я могу ревновать ее и не ценить ее чистую нежность и преданность ко мне?» Она подошла к m-lle Bourienne и крепко ее поцеловала. Анатоль подошел к руке маленькой княгини.

— Non, non, non! Quand votre père m'écrira que vous vous conduisez bien, je vous donnerai ma main à baiser. Pas avant[2].

И, подняв пальчик и улыбаясь, она вышла из комнаты.

V

Все разошлись, и, кроме Анатоля, который заснул тотчас же, как лег на постель, никто долго не спал эту ночь.

«Неужели он мой муж, именно этот чужой, красивый, добрый мужчина; главное — добрый»,— думала княжна Марья, и страх, который почти никогда не приходил к ней, нашел на нее. Она боялась оглянуться; ей чудилось, что кто-то стоит тут за ширмами, в темном углу. И этот кто-то был он — дьявол, и он — этот мужчина с белым лбом, черными бровями и румяным ртом.

Она позвонила горничную и попросила ее лечь в ее комнате.

---

[1] Какая деликатность.

[2] Нет, нет, нет! Когда отец ваш напишет мне, что вы себя ведете хорошо, тогда я дам вам поцеловать руку. Не прежде.

M-lle Bourienne в этот вечер долго ходила по зимнему саду, тщетно ожидая кого-то и то улыбаясь кому-то, то до слез трогаясь воображаемыми словами pauvre mère, упрекающей ее за ее падение.

Маленькая княгиня ворчала на горничную за то, что постель была нехороша. Нельзя было ей лечь ни на бок, ни на грудь. Все было тяжело и неловко. Живот ее мешал ей. Он мешал ей больше, чем когда-нибудь, именно нынче, потому что присутствие Анатоля перенесло ее живее в другое время, когда этого не было и ей было все легко и весело. Она сидела в кофточке и чепце на кресле. Катя, сонная и с спутанною косой, в третий раз перебивала и переворачивала тяжелую перину, что-то приговаривая.

— Я тебе говорила, что все буграми и ямами,— твердила маленькая княгиня,— я бы сама рада была заснуть; стало быть, я не виновата.— И голос ее задрожал, как у собирающегося плакать ребенка.

Старый князь тоже не спал. Тихон сквозь сон слышал, как он сердито шагал и фыркал носом. Старому князю казалось, что он был оскорблен за свою дочь. Оскорбление самое больное, потому что оно относилось не к нему, а к другому, к дочери, которую он любит больше себя. Он сказал себе, что он передумает все это дело и найдет то, что справедливо и должно сделать, но вместо того он только больше раздражал себя.

«Первый встречный показался — и отец и все забыто, и бежит, кверху чешется и хвостом винтит, и сама на себя не похожа! Рада бросить отца! И знала, что я замечу... Фр... фр... фр... И разве я не вижу, что этот дурень смотрит только на Бурьенку (надо ее прогнать)! И как гордости настолько нет, чтоб понять это! Хотя не для себя, коли нет гордости, так для меня, по крайней мере. Надо ей показать, что этот болван о ней и не думает, а только смотрит на Bourienne. Нет у ней гордости, но я покажу ей это...»

Сказав дочери, что она заблуждается, что Анатоль намерен ухаживать за Bourienne, старый князь знал, что он раздражит самолюбие княжны Марьи, и его дело (желание не разлучаться с дочерью) будет выиграно, и потому успокоился на этом. Он кликнул Тихона и стал раздеваться.

«И черт их принес! — думал он в то время, как Тихон накрывал ночной рубашкой его сухое, старческое тело, обросшее на груди седыми волосами.— Я их не звал.

Приехали расстраивать мою жизнь. И немного ее осталось».

— К черту! — проговорил он в то время, как голова его еще была покрыта рубашкой.

Тихон знал привычку князя иногда вслух выражать свои мысли, а потому с неизменным лицом встретил вопросительно-сердитый взгляд лица, появившегося из-под рубашки.

— Легли? — спросил князь.

Тихон, как и все хорошие лакеи, знал чутьем направление мыслей барина. Он угадал, что спрашивали о князе Василье с сыном.

— Изволили лечь и огонь потушили, ваше сиятельство.

— Не за чем, не за чем... — быстро проговорил князь и, всунув ноги в туфли и руки в халат, пошел к дивану, на котором он спал.

Несмотря на то, что между Анатолем и m-lle Bourienne ничего не было сказано, они совершенно поняли друг друга в отношении первой части романа, до появления pauvre mère, поняли, что им нужно много сказать друг другу тайно, и потому с утра оба искали случая увидаться наедине. В то время как княжна прошла в обычный час к отцу, m-lle Bourienne сошлась с Анатолем в зимнем саду.

Княжна Марья подходила в тот день с особенным трепетом к двери кабинета. Ей казалось, что не только все знают, что нынче совершится решение ее судьбы, но что и знают то, что она об этом думает. Она читала это выражение и в лице Тихона, и в лице камердинера князя Василья, который с горячей водой встретился в коридоре и низко поклонился ей.

Старый князь в это утро был чрезвычайно ласков и старателен в своем обращении с дочерью. Это выражение старательности хорошо знала у отца княжна Марья. Это было то выражение, которое бывало на его лице в те минуты, когда сухие руки его сжимались в кулак от досады за то, что княжна Марья не понимала арифметической задачи, и он, вставая, отходил от нее и тихим голосом повторял несколько раз одни и те же слова.

Он тотчас же приступил к делу и начал разговор, говоря «вы».

— Мне сделали пропозицию насчет вас,— сказал он, неестественно улыбаясь.— Вы, я думаю, догадались,—

продолжал он,— что князь Василий приехал сюда и привез с собой своего воспитанника (почему-то князь Николай Андреич называл Анатоля воспитанником) не для моих прекрасных глаз. Мне вчера сделали пропозицию насчет вас. А так как вы знаете мои правила, я отнесся к вам.

— Как мне вас понимать, mon père? — проговорила княжна, бледнея и краснея.

— Как понимать! — сердито крикнул отец.— Князь Василий находит тебя по своему вкусу для невестки и делает тебе пропозицию за своего воспитанника. Вот как понимать. Как понимать?! А я у тебя спрашиваю.

— Я не знаю, как вы, mon père,— шепотом проговорила княжна.

— Я? я? что́ ж я-то? меня-то оставьте в стороне. Не я пойду замуж. Что *вы?* вот это желательно знать.

Княжна видела, что отец недоброжелательно смотрел на это дело, но ей в ту же минуту пришла мысль, что теперь или никогда решится судьба ее жизни. Она опустила глаза, чтобы не видеть взгляда, под влиянием которого она чувствовала, что не могла думать, а могла по привычке только повиноваться, и сказала:

— Я желаю только одного — исполнить вашу волю,— сказала она, — но ежели бы мое желание нужно было выразить...

Она не успела договорить. Князь перебил ее.

— И прекрасно! — закричал он.— Он тебя возьмет с приданым да кстати захватит mademoiselle Bourienne. Та будет женой, а ты...

Князь остановился. Он заметил впечатление, произведенное этими словами на дочь. Она опустила голову и собиралась плакать.

— Ну, ну, шучу, шучу,— сказал он.— Помни одно, княжна: я держусь тех правил, что девица имеет полное право выбирать. И даю тебе свободу. Помни одно: от твоего решения зависит счастье жизни твоей. Обо мне нечего говорить.

— Да я не знаю... mon père.

— Нечего говорить! Ему велят, он не только на тебе, на ком хочешь женится; а ты свободна выбирать... Поди к себе, обдумай и через час приди ко мне и при нем скажи: да или нет. Я знаю, ты станешь молиться. Ну, пожалуй, молись. Только лучше подумай. Ступай.

— Да или нет, да или нет, да или нет! — кричал он еще в то время, как княжна, как в тумане, шатаясь, уже вышла из кабинета.

Судьба ее решилась, и решилась счастливо. Но что отец сказал о m-lle Bourienne,— этот намек был ужасен. Неправда, положим, но все-таки это было ужасно, она не могла не думать об этом. Она шла прямо перед собой через зимний сад, ничего не видя и не слыша, как вдруг знакомый шепот m-lle Bourienne разбудил ее. Она подняла глаза и в двух шагах от себя увидала Анатоля, который обнимал француженку и что-то шептал ей. Анатоль с страшным выражением на красивом лице оглянулся на княжну Марью и не выпустил в первую секунду талии m-lle Bourienne, которая не видала ее.

«Кто тут? Зачем? Подождите!» — как будто говорило лицо Анатоля. Княжна Марья молча глядела на них. Она не могла понять этого. Наконец m-lle Bourienne вскрикнула и убежала. Анатоль с веселой улыбкой поклонился княжне Марье, как будто приглашая ее посмеяться над этим странным случаем, и, пожав плечами, прошел в дверь, ведшую на его половину.

Через час Тихон пришел звать княжну Марью. Он звал ее к князю и прибавил, что и князь Василий Сергеич там. Княжна, в то время как пришел Тихон, сидела на диване в своей комнате и держала в своих объятиях плачущую m-lle Bourienne. Княжна Марья тихо гладила ее по голове. Прекрасные глаза княжны, со всем своим прежним спокойствием и лучистостью, смотрели с нежной любовью и сожалением на хорошенькое личико m-lle Bourienne.

— Non, princesse, je suis perdue pour toujours dans votre cœur [1],— говорила m-lle Bourienne.

— Pourquoi? Je vous aime plus que jamais,— говорила княжна Марья, — et je tâcherai de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour votre bonheur [2].

— Mais vous me méprisez, vous si pure, vous ne comprendrez jamais cet égarement de la passion. Ah, ce n'est que ma pauvre mère... [3]

---

[1] Нет, княжна, я навсегда утратила ваше расположение.

[2] Почему же? Я вас люблю больше, чем когда-либо, и постараюсь сделать для вашего счастья все, что в моей власти.

[3] Но вы презираете меня; вы, столь чистая, должны презирать меня, вы никогда не поймете этого увлечения страсти. Ах, моя бедная мать...

— Je comprends tout[1], — отвечала княжна Марья, грустно улыбаясь.— Успокойтесь, мой друг. Я пойду к отцу,— сказала она и вышла.

Князь Василий, загнув высоко ногу, с табакеркой в руках и как бы расчувствованный донельзя, как бы сам сожалея и смеясь над своею чувствительностью, сидел с улыбкой умиления на лице. Когда вошла княжна Марья, он поспешно поднес щепоть табаку к носу.

— Ah, ma bonne, ma bonne[2], — сказал он, встав и взяв ее за обе руки. Он вздохнул и прибавил: — Le sort de mon fils est en vos mains. Décidez, ma bonne, ma chère, ma douce Marie, qui j'ai toujours aimée, comme ma fille[3].

Он отошел. Действительная слеза показалась на его глазах.

— Фр... фр... — фыркал князь Николай Андреич.

— Князь от имени своего воспитанника... сына, тебе делает пропозицию. Хочешь ты или нет быть женою князя Анатоля Курагина? Ты говори: да или нет! — закричал он, — а потом я удерживаю за собой право сказать и свое мнение. Да, мое мнение и только свое мнение, — прибавил князь Николай Андреич, обращаясь к князю Василью и отвечая на его умоляющее выражение. — Да или нет? Ну?

— Мое желание, mon père, никогда не покидать вас, никогда не разделять своей жизни с вашею. Я не хочу выходить замуж, — сказала она решительно, взглянув своими прекрасными глазами на князя Василья и на отца.

— Вздор, глупости! Вздор, вздор, вздор! — нахмурившись, закричал князь Николай Андреич, взял дочь за руку, пригнул к себе и не поцеловал, но только, пригнув свой лоб к ее лбу, дотронулся до нее и так сжал руку, которую он держал, что она поморщилась и вскрикнула.

Князь Василий встал.

— Ma chère, je vous dirai que c'est un moment que je n'oublierai jamais, jamais; mais, ma bonne, est-ce que vous ne nous donnerez pas un peu d'espérance de toucher ce cœur si bon, si généreux. Dites que peut-être... L'avenir est si grand. Dites: peut-être[4].

---

[1] Я все понимаю.

[2] Ах, милая, милая.

[3] Судьба моего сына в ваших руках. Решите, моя милая, моя дорогая, моя нежная Мари, которую я всегда любил, как дочь.

[4] Моя милая, я вам скажу, что этой минуты я никогда не забуду, но, моя добрейшая, дайте нам хоть малую надежду тронуть это сердце, столь доброе и великодушное. Скажите: может быть... Будущее так велико. Скажите: может быть.

— Князь, то, что я сказала, есть все, что есть в моем сердце. Я благодарю за честь, но никогда не буду женой вашего сына.

— Ну, и кончено, мой милый. Очень рад тебя видеть, очень рад тебя видеть. Поди к себе, княжна, поди, — говорил старый князь. — Очень, очень рад тебя видеть, — повторял он, обнимая князя Василья.

«Мое призвание другое, — думала про себя княжна Марья, — мое призвание — быть счастливой другим счастием, счастьем любви и самопожертвования. И чего бы мне это ни стоило, я сделаю счастие бедной Amélie. Она так страстно его любит. Она так страстно раскаивается. Я все сделаю, чтоб устроить ее брак с ним. Ежели он не богат, я дам ей средства, я попрошу отца, попрошу Андрея. Я так буду счастлива, когда она будет его женою. Она так несчастлива, чужая, одинокая, без помощи! И боже мой, как страстно она его любит, ежели она так могла забыть себя. Может быть, и я сделала бы то же!..» — думала княжна Марья.

VI

Долго Ростовы не имели известий о Николушке; только в середине зимы графу было передано письмо, на адресе которого он узнал руку сына. Получив письмо, граф испуганно и поспешно, стараясь не быть замеченным, на цыпочках пробежал в свой кабинет, заперся и стал читать. Анна Михайловна, узнав (как она и все знала, что делалось в доме) о получении письма, тихими шагами вошла к графу и застала его с письмом в руках рыдающим и вместе смеющимся.

Анна Михайловна, несмотря на поправившиеся дела, продолжала жить у Ростовых.

— Mon bon ami? [1] — вопросительно-грустно и с готовностью всякого участия произнесла Анна Михайловна.

Граф зарыдал еще больше.

— Николушка... письмо... ранен... бы... был... ma chère... ранен... голубчик мой... графинюшка... в офицеры произведен... слава богу... Графинюшке как сказать?..

Анна Михайловна подсела к нему, отерла своим платком слезы с его глаз, с письма, закапанного ими, и свои слезы, прочла письмо, успокоила графа и решила, что за

---

[1] Мой добрый друг?

обедом и до чая она приготовит графиню, а после чаю объявит все, коли бог ей поможет.

Все время обеда Анна Михайловна говорила о слухах войны, о Николушке; спросила два раза, когда получено было последнее письмо от него, хотя знала это и прежде, и заметила, что очень легко, может быть, и нынче получится письмо. Всякий раз, как при этих намеках графиня начинала беспокоиться и тревожно взглядывать то на графа, то на Анну Михайловну, Анна Михайловна самым незаметным образом сводила разговор на незначительные предметы. Наташа, из всего семейства более всех одаренная способностью чувствовать оттенки интонаций, взглядов и выражений лиц, с начала обеда насторожила уши и знала, что что-нибудь есть между ее отцом и Анной Михайловной и что-нибудь касающееся брата и что Анна Михайловна приготавливает. Несмотря на всю свою смелость (Наташа знала, как чувствительна была ее мать ко всему, что касалось известий о Николушке), она не решилась за обедом сделать вопрос и от беспокойства за обедом ничего не ела и вертелась на стуле, не слушая замечаний своей гувернантки. После обеда она стремглав бросилась догонять Анну Михайловну и в диванной с разбега бросилась ей на шею.

— Тетенька, голубушка, скажите, что такое?

— Ничего, мой друг.

— Нет, душенька, голубчик, милая, персик, я не отстану, я знаю, что вы знаете.

Анна Михайловна покачала головой.

— Vous êtes une fine mouche, mon enfant [1], — сказала она.

— От Николеньки письмо? Наверно! — вскрикнула Наташа, прочтя утвердительный ответ в лице Анны Михайловны.

— Но ради бога, будь осторожнее: ты знаешь, как это может поразить твою maman.

— Буду, буду, но расскажите. Не расскажете? Ну, так я сейчас пойду скажу.

Анна Михайловна в коротких словах рассказала Наташе содержание письма, с условием не говорить никому.

— Честное, благородное слово, — крестясь, говорила Наташа, — никому не скажу, — и тотчас же побежала к Соне.

---

[1] Ах, плутовка.

— Николенька... ранен... письмо... — проговорила она торжественно и радостно.

— Nicolas! — только выговорила Соня, мгновенно бледнея.

Наташа, увидав впечатление, произведенное на Соню известием о ране брата, в первый раз почувствовала всю горестную сторону этого известия.

Она бросилась к Соне, обняла ее и заплакала.

— Немножко ранен, но произведен в офицеры; он теперь здоров, он сам пишет, — говорила она сквозь слезы.

— Вот видно, что все вы, женщины, — плаксы, — сказал Петя, решительными большими шагами прохаживаясь по комнате. — Я так очень рад и, право, очень рад, что брат так отличился. Все вы нюни! Ничего не понимаете.

Наташа улыбнулась сквозь слезы.

— Ты не читала письма? — спрашивала Соня.

— Не читала, но она сказала, что все прошло и что он уже офицер...

— Слава богу, — сказала Соня, крестясь. — Но, может быть, она обманула тебя? Пойдем к maman.

Петя молча ходил по комнате.

— Кабы я был на месте Николушки, я бы еще больше этих французов убил, — сказал он, — такие они мерзкие! Я бы их побил столько, что кучу из них сделали бы, — продолжал Петя.

— Молчи, Петя, какой ты дурак!..

— Не я дурак, а дуры те, кто от пустяков плачут, — сказал Петя.

— Ты его помнишь? — после минутного молчания вдруг спросила Наташа. Соня улыбнулась.

— Помню ли Nicolas?

— Нет, Соня, ты помнишь ли его так, чтобы хорошо помнить, чтобы все помнить, — с старательным жестом сказала Наташа, видимо, желая придать своим словам самое серьезное значение. — И я помню Николеньку, я помню, — сказала она. — А Бориса не помню. Совсем не помню...

— Как? Не помнишь Бориса? — спросила Соня с удивлением.

— Не то что не помню, — я знаю, какой он, но не так помню, как Николеньку. Его, я закрою глаза и помню, а Бориса нет (она закрыла глаза), так, нет — ничего!

— Ах, Наташа! — сказала Соня восторженно и серьезно, не глядя на свою подругу, как будто она считала ее

недостойною слышать то, что она намерена была сказать, и как будто она говорила это кому-то другому, с кем нельзя шутить. — Я полюбила раз твоего брата, и, что бы ни случилось с ним, со мной, *я* никогда не перестану любить его — во всю жизнь.

Наташа удивленно, любопытными глазами смотрела на Соню и молчала. Она чувствовала, что то, что говорила Соня, была правда, что была такая любовь, про которую говорила Соня; но Наташа ничего подобного еще не испытывала. Она верила, что это могло быть, но не понимала.

— Ты напишешь ему? — спросила она.

Соня задумалась. Вопрос о том, как писать к Nicolas и нужно ли писать, был вопрос, мучивший ее. Теперь, когда он был уже офицер и раненый герой, хорошо ли было с ее стороны напоминать ему о себе и как будто о том обязательстве, которое он взял на себя в отношении ее.

— Не знаю; я думаю, коли он пишет, — и я напишу, — краснея, сказала она.

— И тебе не стыдно будет писать ему?

Соня улыбнулась.

— Нет.

— А мне стыдно будет писать Борису, я не буду писать.

— Да отчего же стыдно?

— Да так, я не знаю. Неловко, стыдно.

— А я знаю, отчего ей стыдно будет, — сказал Петя, обиженный первым замечанием Наташи, — оттого, что она была влюблена в этого толстого с очками (так называл Петя своего тезку, нового графа Безухова); теперь влюблена в певца в этого (Петя говорил об итальянце, Наташином учителе пенья): вот ей и стыдно.

— Петя, ты глуп, — сказала Наташа.

— Не глупее тебя, матушка, — сказал девятилетний Петя, точно как будто он был старый бригадир.

Графиня была приготовлена намеками Анны Михайловны во время обеда. Уйдя к себе, она, сидя на кресле, не спускала глаз с миниатюрного портрета сына, вделанного в табакерке, и слезы навертывались ей на глаза. Анна Михайловна с письмом, на цыпочках, подошла к комнате графини и остановилась.

— Не входите, — сказала она старому графу, шедшему за ней, — после, — и затворила за собой дверь.

Граф приложил ухо к замку и стал слушать.

Сначала он слышал звуки равнодушных речей, потом один звук голоса Анны Михайловны, говорившей длин-

ную речь, потом вскрик, потом молчание, потом опять оба голоса вместе говорили с радостными интонациями, и потом шаги, и Анна Михайловна отворила ему дверь. На лице Анны Михайловны было гордое выражение оператора, окончившего трудную ампутацию и вводящего публику для того, чтоб она могла оценить его искусство.

— C'est fait! [1] — сказала она графу, торжественным жестом указывая на графиню, которая держала в одной руке табакерку с портретом, в другой — письмо и прижимала губы то к тому, то к другому.

Увидав графа, она протянула к нему руки, обняла его лысую голову и через лысую голову опять посмотрела на письмо и портрет и опять, для того чтобы прижать их к губам, слегка оттолкнула лысую голову. Вера, Наташа, Соня и Петя вошли в комнату, и началось чтение. В письме был кратко описан поход и два сражения, в которых участвовал Николушка, производство в офицеры и сказано, что он целует руки maman и papa, прося их благословения, и целует Веру, Наташу, Петю. Кроме того, он кланяется m-r Шелингу, и m-me Шосс, и няне, и, кроме того, просит поцеловать дорогую Соню, которую он все так же любит и о которой все так же вспоминает. Услыхав это, Соня покраснела так, что слезы выступили ей на глаза. И, не в силах выдержать обратившиеся на нее взгляды, она побежала в залу, разбежалась, закружилась и, раздув баллоном платье, вся раскрасневшаяся и улыбающаяся, села на пол. Графиня плакала.

— О чем же вы плачете, maman? — сказала Вера. — По всему, что он пишет, надо радоваться, а не плакать.

Это было совершенно справедливо, но и граф, и графиня, и Наташа — все с упреком посмотрели на нее. «И в кого она такая вышла!» — подумала графиня.

Письмо Николушки было прочитано сотни раз, и те, которые считались достойными его слушать, должны были приходить к графине, которая не выпускала его из рук. Приходили гувернеры, няни, Митенька, некоторые знакомые, и графиня перечитывала письмо всякий раз с новым наслаждением и всякий раз открывала по этому письму новые добродетели в своем Николушке. Как странно, необычайно, радостно ей было, что сын ее — тот сын, который чуть заметно крошечными членами шевелился в ней самой двадцать лет тому назад, тот сын, за которого она

---

[1] Готово!

ссорилась с баловником-графом, тот сын, который выучился говорить прежде: «груша», а потом «баба», что этот сын теперь там, в чужой земле, в чужой среде, мужественный воин, один, без помощи и руководства, делает там какое-то свое мужское дело. Весь всемирный вековой опыт, указывающий на то, что дети незаметным путем от колыбели делаются мужами, не существовал для графини. Возмужание ее сына в каждой поре возмужания было для нее так же необычайно, как бы и не было никогда миллионов-миллионов людей, точно так же возмужавших. Как не верилось двадцать лет тому назад, чтобы то маленькое существо, которое жило где-то там у ней под сердцем, закричало бы и стало сосать грудь и стало бы говорить, так и теперь не верилось ей, что это же существо могло быть тем сильным, храбрым мужчиной, образцом сыновей и людей, которым он был теперь, судя по этому письму.

— Что за *штиль,* как он описывает мило! — говорила она, читая описательную часть письма. — И что за душа! О себе ничего... ничего! О каком-то Денисове, а сам, верно, храбрее их всех. Ничего не пишет о своих страданиях. Что за сердце! Как я узнаю его! И как вспомнил всех! Никого не забыл. Я всегда, всегда говорила, еще когда он вот какой был, я всегда говорила...

Более недели готовились, писались брульоны и переписывались набело письма к Николушке от всего дома; под наблюдением графини и заботливостью графа собирались нужные вещицы и деньги для обмундирования и обзаведения вновь произведенного офицера. Анна Михайловна, практическая женщина, сумела устроить себе и своему сыну протекцию в армии даже и для переписки. Она имела случай посылать свои письма к великому князю Константину Павловичу, который командовал гвардией. Ростовы предполагали, что *русская гвардия за границей* — есть совершенно определительный адрес и что ежели письмо дойдет до великого князя, командовавшего гвардией, то нет причины, чтоб оно не дошло до Павлоградского полка, который должен быть там же поблизости; и потому решено было отослать письма и деньги через курьера великого князя к Борису, и Борис уже должен был доставить их к Николушке. Письма были от старого графа, от графини, от Пети, от Веры, от Наташи, от Сони, и, наконец, 6000 денег на обмундировку и различные вещи, которые граф посылал сыну.

VII

12-го ноября кутузовская боевая армия, стоявшая лагерем около Ольмюца, готовилась к следующему дню на смотр двух императоров — русского и австрийского. Гвардия, только что подошедшая из России, ночевала в пятнадцати верстах от Ольмюца и на другой день прямо на смотр, к десяти часам утра, вступила на ольмюцкое поле.

Николай Ростов в этот день получил от Бориса записку, извещавшую его, что Измайловский полк ночует в пятнадцати верстах не доходя Ольмюца и что Борис ждет его, чтобы передать письмо и деньги. Деньги были особенно нужны Ростову теперь, когда, вернувшись из похода, войска остановились под Ольмюцем и хорошо снабженные маркитанты и австрийские жиды, предлагая всякого рода соблазны, наполняли лагерь. У павлоградцев шли пиры за пирами, празднования полученных за поход наград и поездки в Ольмюц к вновь прибывшей туда Каролине Венгерке, открывшей там трактир с женской прислугой. Ростов недавно отпраздновал свое вышедшее производство в корнеты, купил Бедуина, лошадь Денисова, и был кругом должен товарищам и маркитантам. Получив записку Бориса, Ростов с товарищами поехал до Ольмюца, там пообедал, выпил бутылку вина и один поехал в гвардейский лагерь отыскать своего товарища детства. Ростов еще не успел обмундироваться. На нем была затасканная юнкерская куртка с солдатским крестом, такие же, подбитые затертой кожей, рейтузы и офицерская с темляком сабля; лошадь, на которой он ехал, была донская, купленная походом у казака; гусарская измятая шапочка была ухарски надета назад и набок. Подъезжая к лагерю Измайловского полка, он думал о том, как он поразит Бориса и всех его товарищей-гвардейцев своим обстрелянным боевым гусарским видом.

Гвардия весь поход прошла, как на гулянье, щеголяя своею чистотой и дисциплиной. Переходы были малые, ранцы везли на подводах, офицерам австрийское начальство готовило на всех переходах прекрасные обеды. Полки вступали и выступали из городов с музыкой, и весь поход (чем гордились гвардейцы), по приказанию великого князя, люди шли в ногу, а офицеры пешком на своих местах. Борис все время похода шел и стоял с Бергом, теперь уже ротным командиром. Берг, во время похода

получив роту, успел своей исполнительностью и аккуратностью заслужить доверие начальства и устроил весьма выгодно свои экономические дела; Борис во время похода сделал много знакомств с людьми, которые могли быть ему полезными, и через рекомендательное письмо, привезенное им от Пьера, познакомился с князем Андреем Болконским, через которого он надеялся получить место в штабе главнокомандующего. Берг и Борис, чисто и аккуратно одетые, отдохнув после последнего дневного перехода, сидели в чистой отведенной им квартире перед круглым столом и играли в шахматы. Берг держал между колен курящуюся трубочку. Борис с свойственной ему аккуратностью белыми тонкими руками пирамидкой уставлял шашки, ожидая хода Берга, и глядел на лицо своего партнера, видимо, думая об игре, как он и всегда думал только о том, чем он был занят.

— Ну-ка, как вы из этого выйдете? — сказал он.

— Будем стараться, — отвечал Берг, дотрогиваясь до пешки и опять опуская руку.

В это время дверь отворилась.

— Вот он наконец! — закричал Ростов. — И Берг тут! Ах ты, *петизанфан, але куше дормир!* [1] — закричал он, повторяя слова няньки, над которыми они смеивались когда-то вместе с Борисом.

— Батюшки! как ты переменился! — Борис встал навстречу Ростову, но, вставая, не забыл поддержать и поставить на место падавшие шахматы и хотел обнять своего друга, но Николай отстранился от него. С тем особенным чувством молодости, которая боится битых дорог, хочет, не подражая другим, по-новому, по-своему выражать свои чувства, только бы не так, как выражают это, часто притворно, старшие, Николай хотел что-нибудь особенное сделать при свидании с другом: он хотел как-нибудь ущипнуть, толкнуть Бориса, но только никак не поцеловаться, как это делали все. Борис же, напротив, спокойно и дружелюбно обнял и три раза поцеловал Ростова.

Они полгода не видались почти; и в том возрасте, когда молодые люди делают первые шаги на пути жизни, оба нашли друг в друге огромные перемены, совершенно новые отражения тех обществ, в которых они сделали свои первые шаги жизни. Оба много переменились с своего

---

[1] дети, идите ложиться спать! — *Ред.*

последнего свидания, и оба хотели поскорее выказать друг другу происшедшие в них перемены.

— Ах вы, полотеры проклятые! Чистенькие, свеженькие, точно с гулянья, не то, что мы грешные, армейщина, — говорил Ростов с новыми для Бориса баритонными звуками в голосе и армейскими ухватками, указывая на свои забрызганные грязью рейтузы.

Хозяйка-немка высунулась из двери на громкий голос Ростова.

— Что, хорошенькая? — сказал он, подмигнув.

— Что ты так кричишь? Ты их напугаешь, — сказал Борис. — А я тебя не ждал нынче, — прибавил он. — Я вчера только отдал тебе записку через одного знакомого адъютанта кутузовского — Болконского. Я не думал, что он так скоро тебе доставит... Ну, что ты, как? Уже обстрелян? — спросил Борис.

Ростов, не отвечая, тряхнул по солдатскому Георгиевскому кресту, висевшему на снурках мундира и, указывая на свою подвязанную руку, улыбаясь, взглянул на Берга.

— Как видишь, — сказал он.

— Вот как, да, да! — улыбаясь, сказал Борис. — А мы тоже славный поход сделали. Ведь ты знаешь, цесаревич постоянно ехал при нашем полку, так что у нас были все удобства и все выгоды. В Польше что за приемы были, что за обеды, балы — я не могу тебе рассказать! И цесаревич очень милостив был ко всем нашим офицерам.

И оба приятеля рассказывали друг другу — один о своих гусарских кутежах и боевой жизни, другой о приятности и выгодах службы под командою высокопоставленных лиц и т. п.

— О гвардия! — сказал Ростов. — А вот что, пошли-ка за вином.

Борис поморщился.

— Ежели непременно хочешь, — сказал он.

И, подойдя к кровати, из-под чистых подушек достал кошелек и велел принести вина.

— Да, и тебе отдать твои деньги и письмо, — прибавил он.

Ростов взял письмо и, бросив на диван деньги, облокотился обеими руками на стол и стал читать. Он прочел несколько строк и злобно взглянул на Берга. Встретив его взгляд, Ростов закрыл лицо письмом.

— Однако денег вам порядочно прислали, — сказал Берг, глядя на тяжелый, вдавившийся в диван кошелек. — Вот мы так и жалованьем, граф, пробиваемся. Я вам скажу про себя...

— Вот что, Берг, милый мой, — сказал Ростов. — Когда вы получите из дома письмо и встретитесь с своим человеком, у которого вам захочется расспросить про все, и я буду тут, — я сейчас уйду, чтобы не мешать вам. Послушайте, уйдите, пожалуйста, куда-нибудь, куда-нибудь... к черту! — крикнул он и тотчас же, схватив его за плечо и ласково глядя в его лицо, видимо, стараясь смягчить грубость своих слов, прибавил: — Вы знаете, не сердитесь; милый, голубчик, я от души говорю, как нашему старому знакомому.

— Ах, помилуйте, граф, я очень понимаю, — сказал Берг, вставая и говоря в себя, горловым голосом.

— Вы к хозяевам пойдите: они вас звали, — прибавил Борис.

Берг надел чистейший, без пятнышка и соринки, сюртучок, взбил перед зеркалом височки кверху, как носил Александр Павлович, и, убедившись по взгляду Ростова, что его сюртучок был замечен, с приятной улыбкой вышел из комнаты.

— Ах, какая я скотина, однако! — проговорил Ростов, читая письмо.

— А что?

— Ах, какая я свинья, однако, что я ни разу не писал и так напугал их. Ах, какая я свинья! — повторил он, вдруг покраснев. — Что же, пошли за вином Гаврилу! Ну, ладно, хватим!.. — сказал он.

В письмах родных было вложено еще рекомендательное письмо к князю Багратиону, которое, по совету Анны Михайловны, через знакомых достала старая графиня и посылала сыну, прося его снести по назначению и им воспользоваться.

— Вот глупости! Очень мне нужно, — сказал Ростов, бросая письмо под стол.

— Зачем ты это бросил? — спросил Борис.

— Письмо какое-то рекомендательное, черта ли мне в письме!

— Как, черта ли в письме? — поднимая и читая надпись, сказал Борис. — Письмо это очень нужное для тебя.

— Мне ничего не нужно, и я в адъютанты ни к кому не пойду.

— Отчего же? — спросил Борис.

— Лакейская должность!

— Ты все такой же мечтатель, я вижу, — покачивая головою, сказал Борис.

— А ты все такой же дипломат. Ну, да не в том дело... Ну, ты что? — спросил Ростов.

— Да вот, как видишь. До сих пор все хорошо; но признаюсь, желал бы, и очень, попасть в адъютанты, а не оставаться во фронте.

— Зачем?

— Затем, что, уже раз пойдя по карьере военной службы, надо стараться сделать, коль возможно, блестящую карьеру.

— Да, вот как! — сказал Ростов, видимо, думая о другом.

Он пристально и вопросительно смотрел в глаза своему другу, видимо, тщетно отыскивая разрешения какого-то вопроса.

Старик Гаврило принес вино.

— Не послать ли теперь за Альфонс Карлычем? — сказал Борис. — Он выпьет с тобой, а я не могу.

— Пошли, пошли! Ну, что эта немчура? — сказал Ростов с презрительной улыбкой.

— Он очень, очень хороший, честный и приятный человек, — сказал Борис.

Ростов пристально еще раз посмотрел в глаза Борису и вздохнул. Берг вернулся, и за бутылкой вина разговор между тремя офицерами оживился. Гвардейцы рассказывали Ростову о своем походе, о том, как их чествовали в России, Польше и за границей. Рассказывали о словах и поступках их командира, великого князя, анекдоты о его доброте и вспыльчивости. Берг, как и обыкновенно, молчал, когда дело касалось не лично его, но по случаю анекдотов о вспыльчивости великого князя с наслаждением рассказал, как в Галиции ему удалось говорить с великим князем, когда он объезжал полки и гневался за неправильность движения. С приятной улыбкой на лице он рассказал, как великий князь, очень разгневанный, подъехав к нему, закричал: «Арнауты!» (Арнауты — была любимая поговорка цесаревича, когда он был в гневе), и потребовал ротного командира.

— Поверите ли, граф, я ничего не испугался, потому что я знал, что я прав. Я, знаете, граф, не хвалясь, могу сказать, что я приказы по полку наизусть знаю и устав

тоже знаю, как *Отче наш на небесех.* Поэтому, граф, у меня по роте упущений не бывает. Вот моя совесть и спокойна. Я явился. (Берг привстал и представил в лицах, как он с рукой к козырьку явился. Действительно, трудно было изобразить в лице более почтительности и самодовольства.) Уж он меня пушил, как это говорится, пушил, пушил; пушил не на живот, а на смерть, как говорится: и «арнауты», и «черти», и «в Сибирь», — говорил Берг, проницательно улыбаясь. — Я знаю, что я прав, и потому молчу, не так ли, граф? «Что, ты немой, что ли?» — он закричал. Я все молчу. Что же вы думаете, граф? На другой день и в приказе не было; вот что значит не потеряться! Так-то, граф, — говорил Берг, закуривая трубку и пуская колечки.

— Да, это славно, — улыбаясь, сказал Ростов.

Но Борис, заметив, что Ростов сбирался посмеяться над Бергом, искусно отклонил разговор. Он попросил Ростова рассказать о том, как и где он получил рану. Ростову это было приятно, и он начал рассказывать, во время рассказа все более и более одушевляясь. Он рассказал им свое Шенграбенское дело совершенно так, как обыкновенно рассказывают про сражения участвовавшие в них, то есть так, как им хотелось бы, чтоб оно было, так, как они слыхали от других рассказчиков, так, как красивее было рассказывать, но совершенно не так, как оно было. Ростов был правдивый молодой человек, он ни за что умышленно не сказал бы неправды. Он начал рассказывать с намерением рассказать все, как оно точно было, но незаметно, невольно и неизбежно для себя перешел в неправду. Ежели бы он рассказал правду этим слушателям, которые, как и он сам, слышали уже множество раз рассказы об атаках и составили себе определенное понятие о том, что такое была атака, и ожидали точно такого же рассказа, — или бы они не поверили ему, или, что еще хуже, подумали бы, что Ростов был сам виноват в том, что с ним не случилось того, что случается обыкновенно с рассказчиками кавалерийских атак. Не мог он им рассказать так просто, что поехали все рысью, он упал с лошади, свихнул руку и изо всех сил побежал в лес от француза. Кроме того, для того чтобы рассказать все, как было, надо было сделать усилие над собой, чтобы рассказывать только то, что было. Рассказать правду очень трудно, и молодые люди редко на это способны. Они ждали рассказа о том, как горел он весь в огне, сам себя не помня, как бурею

налетал на каре; как врубался в него, рубил направо и налево; как сабля отведала мяса и как он падал в изнеможении, и тому подобное. И он рассказал им все это.

В середине его рассказа, в то время как он говорил: «Ты не можешь представить, какое странное чувство бешенства испытываешь во время атаки», в комнату вошел князь Андрей Болконский, которого ждал Борис. Князь Андрей, любивший покровительственные отношения к молодым людям, польщенный тем, что к нему обращались за протекцией, и хорошо расположенный к Борису, который умел ему понравиться накануне, желал исполнить желание молодого человека. Присланный с бумагами от Кутузова к цесаревичу, он зашел к молодому человеку, надеясь застать его одного. Войдя в комнату и увидав рассказывающего военные похождения армейского гусара (сорт людей, которых терпеть не мог князь Андрей), он ласково улыбнулся Борису, поморщился, прищурился на Ростова и, слегка поклонившись, устало и лениво сел на диван. Ему неприятно было, что он попал в дурное общество. Ростов вспыхнул, поняв это. Но это было ему все равно: это был чужой человек. Но, взглянув на Бориса, он увидал, что и ему как будто стыдно за армейского гусара. Несмотря на неприятный, насмешливый тон князя Андрея, несмотря на общее презрение, которое с своей армейской боевой точки зрения имел Ростов ко всем этим штабным адъютантикам, к которым, очевидно, причислялся и вошедший, Ростов почувствовал себя сконфуженным, покраснел и замолчал. Борис спросил, какие новости в штабе и что, без нескромности, слышно о наших предположениях?

— Вероятно, пойдут вперед, — видимо, не желая при посторонних говорить более, отвечал Болконский.

Берг воспользовался случаем спросить с особенною учтивостию, будут ли выдавать теперь, как слышно было, удвоенное фуражное армейским ротным командирам? На это князь Андрей с улыбкой отвечал, что он не может судить о столь важных государственных распоряжениях, и Берг радостно рассмеялся.

— О вашем деле, — обратился князь Андрей опять к Борису, — мы поговорим после, — и он оглянулся на Ростова. — Вы приходите ко мне после смотра, мы все сделаем, что можно будет.

И, оглянув комнату, он обратился к Ростову, которого положение детского непреодолимого конфуза, переходящего в озлобление, он и не удостоивал заметить, и сказал:

— Вы, кажется, про Шенграбенское дело рассказывали? Вы были там?

— *Я* был там, — с озлоблением сказал Ростов, как будто бы этим желая оскорбить адъютанта.

Болконский заметил состояние гусара, и оно ему показалось забавно. Он слегка презрительно улыбнулся.

— Да! много теперь рассказов про это дело.

— Да, рассказов!! — громко заговорил Ростов, вдруг сделавшимися бешеными глазами глядя то на Бориса, то на Болконского. — Да, рассказов много, но наши рассказы — рассказы тех, которые были в самом огне неприятеля, наши рассказы имеют вес, а не рассказы тех штабных молодчиков, которые получают награды, ничего не делая.

— К которым, вы предполагаете, что я принадлежу? — спокойно и особенно приятно улыбаясь, проговорил князь Андрей.

Странное чувство озлобления и вместе с тем уважения к спокойствию этой фигуры соединилось в это время в душе Ростова.

— Я говорю не про вас, — сказал он, — я вас не знаю и, признаюсь, не желаю знать. Я говорю вообще про штабных.

— А я вам вот что скажу, — с спокойною властию в голосе перебил его князь Андрей. — Вы хотите оскорбить меня, и я готов согласиться с вами, что это очень легко сделать, ежели вы не будете иметь достаточного уважения к самому себе; но согласитесь, что и время и место весьма дурно для этого выбраны. На днях всем нам придется быть на большой, более серьезной дуэли, а кроме того, Друбецкой, который говорит, что он ваш старый приятель, нисколько не виноват в том, что моя физиономия имела несчастие вам не понравиться. Впрочем, — сказал он, вставая, — вы знаете мою фамилию и знаете, где найти меня; но не забудьте, — прибавил он, — что я не считаю нисколько ни себя, ни вас оскорбленным, и мой совет, как человека старше вас, оставить это дело без последствий. Так в пятницу, после смотра, я жду вас, Друбецкой; до свидания, — заключил князь Андрей и вышел, поклонившись обоим.

Ростов вспомнил то, что ему надо было ответить, только тогда, когда он уже вышел. И еще более был он сердит за то, что забыл сказать это. Ростов сейчас же велел подать свою лошадь и, сухо простившись с Борисом, поехал к себе. Ехать ли ему завтра в главную квартиру и вызвать

этого ломающегося адъютанта или в самом деле оставить это дело так? — был вопрос, который мучил его всю дорогу. То он с злобой думал о том, с каким бы удовольствием он увидал испуг этого маленького, слабого и гордого человечка под его пистолетом, то он с удивлением чувствовал, что из всех людей, которых он знал, никого бы он столько не желал иметь своим другом, как этого ненавидимого им адъютантика.

VIII

На другой день свидания Бориса с Ростовым был смотр австрийских и русских войск, как свежих, пришедших из России, так и тех, которые вернулись из похода с Кутузовым. Оба императора, русский с наследником цесаревичем и австрийский с эрцгерцогом, делали этот смотр союзной восьмидесятитысячной армии.

С раннего утра начали двигаться щегольски вычищенные и убранные войска, выстраиваясь на поле перед крепостью. То двигались тысячи ног и штыков с развевавшимися знаменами и по команде офицеров останавливались, заворачивались и строились в интервалах, обходя другие такие же массы пехоты в других мундирах; то мерным топотом и бряцанием звучала нарядная кавалерия в синих, красных, зеленых шитых мундирах с расшитыми музыкантами впереди, на вороных, рыжих, серых лошадях; то, растягиваясь с своим медным звуком подрагивающих на лафетах, вычищенных, блестящих пушек и с своим запахом пальников, ползла между пехотой и кавалерией артиллерия и расставлялась на назначенных местах. Не только генералы в полной парадной форме, с перетянутыми донельзя толстыми и тонкими талиями и красневшими, подпертыми воротниками, шеями, в шарфах и всех орденах; не только припомаженные, расфранченные офицеры, но каждый солдат — с свежевыбритым и вымытым лицом и до последней возможности блеска вычищенной амуницией, каждая лошадь, выхоленная так, что, как атлас, светилась на ней шерсть и волосок к волоску лежала примоченная гривка, — все чувствовали, что совершается что-то нешуточное, значительное и торжественное. Каждый генерал и солдат чувствовали свое ничтожество, сознавая себя песчинкой в этом море людей, и вместе чувствовали свое могущество, сознавая себя частью этого огромного целого.

С раннего утра начались напряженные хлопоты и усилия, и в десять часов все пришло в требуемый порядок. На огромном поле стали ряды. Армия вся была вытянута в три линии. Спереди кавалерия, сзади артиллерия, еще сзади пехота.

Между каждым родом войск была как бы улица. Резко отделялись одна от другой три части этой армии: боевая кутузовская (в которой на правом фланге в передней линии стояли павлоградцы), пришедшие из России армейские и гвардейские полки и австрийское войско. Но все стояли под одну линию, под одним начальством и в одинаковом порядке.

Как ветер по листьям, пронесся взволнованный шепот: «Едут! едут!» Послышались испуганные голоса, и по всем войскам пробежала волна суеты последних приготовлений.

Впереди от Ольмюца показалась подвигавшаяся группа. И в это же время, хотя день был безветренный, легкая струя ветра пробежала по армии и чуть заколебала флюгера пик и распущенные знамена, затрепавшиеся о свои древки. Казалось, сама армия этим легким движением выражала свою радость при приближении государей. Послышался один голос: «Смирно!» Потом, как петухи на заре, повторились голоса в разных концах. И все затихло.

В мертвой тишине слышался только топот лошадей. То была свита императоров. Государи подъехали к флангу, и раздались звуки трубачей первого кавалерийского полка, заигравшие генерал-марш. Казалось, не трубачи это играли, а сама армия, радуясь приближению государя, естественно издавала эти звуки. Из-за этих звуков отчетливо послышался один молодой, ласковый голос императора Александра. Он сказал приветствие, и первый полк гаркнул: «Урра!» — так оглушительно, продолжительно, радостно, что сами люди ужаснулись численности и силе той громады, которую они составляли.

Ростов, стоя в первых рядах кутузовской армии, к которой к первой подъехал государь, испытывал то же чувство, какое испытывал каждый человек этой армии,— чувство самозабвения, гордого сознания могущества и страстного влечения к тому, кто был причиной этого торжества.

Он чувствовал, что от одного слова этого человека зависело то, чтобы вся громада эта (и он, связанный с ней, — ничтожная песчинка) пошла бы в огонь и

в воду, на преступление, на смерть или на величайшее геройство, и потому-то он не мог не трепетать и не замирать при виде этого приближающегося слова.

— Урра! Урра! Урра! — гремело со всех сторон, и один полк за другим принимал государя звуками генерал-марша; потом «урра!», генерал-марш и опять «урра!» и «урра!!», которые, все усиливаясь и прибывая, сливались в оглушительный гул.

Пока не подъезжал еще государь, каждый полк в своей безмолвности и неподвижности казался безжизненным телом; только сравнивался с ним государь, полк оживлялся и гремел, присоединяясь к реву всей той линии, которую уже проехал государь. При страшном, оглушительном звуке этих голосов, посреди масс войска, неподвижных, как бы окаменевших в своих четвероугольниках, небрежно, несимметрично и, главное, свободно двигались сотни всадников свиты и впереди их два человека — императоры. На них-то безраздельно было сосредоточено сдержанно-страстное внимание всей этой массы людей.

Красивый, молодой император Александр, в конногвардейском мундире, в треугольной шляпе, надетой с поля, своим приятным лицом и звучным негромким голосом привлекал всю силу внимания.

Ростов стоял недалеко от трубачей и издалека своими зоркими глазами узнал государя и следил за его приближением. Когда государь приблизился на расстояние двадцати шагов и Николай ясно, до всех подробностей, рассмотрел прекрасное, молодое и счастливое лицо императора, он испытал чувство нежности и восторга, подобного которому он еще не испытывал. Все — всякая черта, всякое движение — казалось ему прелестно в государе.

Остановившись против Павлоградского полка, государь сказал что-то по-французски австрийскому императору и улыбнулся.

Увидав эту улыбку, Ростов сам невольно начал улыбаться и почувствовал еще сильнейший прилив любви к своему государю. Ему хотелось выказать чем-нибудь свою любовь к государю. Он знал, что это невозможно, и ему хотелось плакать. Государь вызвал полкового командира и сказал ему несколько слов.

«Боже мой! что бы со мной было, ежели бы ко мне обратился государь! — думал Ростов. — Я бы умер от счастия».

Государь обратился и к офицерам:

— Всех, господа (каждое слово слышалось Ростову, как звук с неба), благодарю от всей души.

Как бы счастлив был Ростов, ежели бы мог теперь умереть за своего царя!

— Вы заслужили георгиевские знамена и будете их достойны.

«Только умереть, умереть за него!» — думал Ростов.

Государь еще сказал что-то, чего не расслышал Ростов, и солдаты, надсаживая свои груди, закричали «урра!».

Ростов закричал тоже, пригнувшись к седлу, что было его сил, желая повредить себе этим криком, только чтобы выразить вполне свой восторг к государю.

Государь постоял несколько секунд против гусар, как будто он был в нерешимости.

«Как мог быть в нерешимости государь?» — подумал Ростов, а потом даже и эта нерешимость показалась Ростову величественной и обворожительной, как и все, что делал государь.

Нерешительность государя продолжалась одно мгновение. Нога государя, с узким острым носком сапога, как носили в то время, дотронулась до паха энглизированной гнедой кобылы, на которой он ехал; рука государя в белой перчатке подобрала поводья, и он тронулся, сопутствуемый беспорядочно заколыхавшимся морем адъютантов. Дальше и дальше отъезжал он, останавливаясь у других полков, и, наконец, только белый плюмаж его виднелся Ростову из-за свиты, окружавшей императора.

В числе господ свиты Ростов заметил и Болконского, лениво и распущенно сидящего на лошади. Ростову вспомнилась его вчерашняя ссора с ним и представился вопрос, следует — или не следует вызывать его. «Разумеется, не следует, — подумал теперь Ростов... — И стоит ли думать и говорить про это в такую минуту, как теперь? В минуту такого чувства любви, восторга и самоотвержения, что значат все наши ссоры и обиды?! Я всех люблю, всем прощаю теперь», — думал Ростов.

Когда государь объехал почти все полки, войска стали проходить мимо его церемониальным маршем, и Ростов на вновь купленном у Денисова Бедуине проехал в замке́ своего эскадрона, то есть один и совершенно на виду перед государем.

Не доезжая государя, Ростов, отличный ездок, два раза всадил шпоры своему Бедуину и довел его счастливо до того бешеного аллюра рыси, которою хаживал раз-

горяченный Бедуин. Подогнув пенящуюся морду к груди, отделив хвост и как будто летя на воздухе и не касаясь до земли, грациозно и высоко вскидывая и переменяя ноги, Бедуин, тоже чувствовавший на себе взгляд государя, прошел превосходно.

Сам Ростов, завалив назад ноги и подобрав живот и чувствуя себя одним куском с лошадью, с нахмуренным, но блаженным лицом, *чег'том,* как говорил Денисов, проехал мимо государя.

— Молодцы павлоградцы! — проговорил государь.

«Боже мой! Как бы я счастлив был, если б он велел мне сейчас броситься в огонь», — подумал Ростов.

Когда смотр кончился, офицеры, вновь пришедшие и кутузовские, стали сходиться группами, и начались разговоры о наградах, об австрийцах и их мундирах, об их фронте, о Бонапарте и о том, как ему плохо придется теперь, особенно когда подойдет еще корпус Эссена и Пруссия примет нашу сторону.

Но более всего во всех кружках говорили о государе Александре, передавали каждое его слово, движение и восторгались им.

Все только одного желали: под предводительством государя скорее идти против неприятеля. Под командою самого государя нельзя было не победить кого бы то ни было, так думали после смотра Ростов и большинство офицеров.

Все после смотра был уверены в победе больше, чем бы могли быть после двух выигранных сражений.

IX

На другой день после смотра Борис, одевшись в лучший мундир и напутствуемый пожеланиями успеха от своего товарища Берга, поехал в Ольмюц к Болконскому, желая воспользоваться его лаской и устроить себе наилучшее положение, в особенности положение адъютанта при важном лице, казавшееся ему особенно заманчивым в армии. «Хорошо Ростову, которому отец присылает по десяти тысяч, рассуждать о том, как он никому не хочет кланяться и ни к кому не пойдет в лакеи; но мне, ничего не имеющему, кроме своей головы, надо делать свою карьеру и не упускать случаев, а пользоваться ими».

В Ольмюце он не застал в этот день князя Андрея. Но вид Ольмюца, где стояла главная квартира, дипломатиче-

ский корпус и жили оба императора с своими свитами — придворных, приближенных, только больше усилил его желание принадлежать к этому верховному миру.

Он никого не знал, и, несмотря на его щегольской гвардейский мундир, все эти высшие люди, сновавшие по улицам, в щегольских экипажах, плюмажах, лентах и орденах, придворные и военные, казалось, стояли так неизмеримо выше его, гвардейского офицерика, что не только не хотели, но и не могли признать его существование. В помещении главнокомандующего Кутузова, где он спросил Болконского, все эти адъютанты и даже денщики смотрели на него так, как будто желали внушить ему, что таких, как он, офицеров очень много сюда шляется и что они все уже очень надоели. Несмотря на это, или, скорее вследствие этого, на другой день, пятнадцатого числа, он после обеда опять поехал в Ольмюц и, войдя в дом, занимаемый Кутузовым, спросил Болконского. Князь Андрей был дома, и Бориса провели в большую залу, в которой, вероятно, прежде танцевали, а теперь стояли пять кроватей, разнородная мебель: столы, стулья и клавикорды. Один адъютант, ближе к двери, в персидском халате, сидел за столом и писал. Другой, красный, толстый Несвицкий, лежал на постели, подложив руки под голову, и смеялся с присевшим к нему офицером. Третий играл на клавикордах венский вальс, четвертый лежал на этих клавикордах и подпевал ему. Болконского не было. Никто из этих господ, заметив Бориса, не изменил своего положения. Тот, который писал и к которому обратился Борис, досадливо обернулся и сказал ему, что Болконский дежурный и чтоб он шел налево в дверь, в приемную, коли ему нужно видеть его. Борис поблагодарил и пошел в приемную. В приемной было человек десять офицеров и генералов.

В то время как взошел Борис, князь Андрей, презрительно прищурившись (с тем особенным видом учтивой усталости, которая ясно говорит, что, коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать), выслушивал старого русского генерала в орденах, который почти на цыпочках, навытяжке, с солдатским подобострастным выражением багрового лица что-то докладывал князю Андрею.

— Очень хорошо, извольте подождать, — сказал он генералу по-русски, тем французским выговором, которым он говорил, когда хотел говорить презрительно, и,

заметив Бориса, не обращаясь более к генералу (который с мольбою бегал за ним, прося еще что-то выслушать), князь Андрей с веселой улыбкой, кивая ему, обратился к Борису.

Борис в эту минуту уже ясно понял то, что он предвидел прежде, именно то, что в армии, кроме той субординации и дисциплины, которая была написана в уставе и которую знали в полку и он знал, была другая, более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого с багровым лицом генерала почтительно дожидаться, в то время как капитан князь Андрей для своего удовольствия находил более удобным разговаривать с прапорщиком Друбецким. Больше чем когда-нибудь Борис решился служить впредь не по той писанной в уставе, а по этой неписаной субординации. Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше генерала, который в других случаях, во фронте, мог уничтожить его, гвардейского прапорщика. Князь Андрей подошел к нему и взял за руку.

— Очень жаль, что вчера вы не застали меня. Я целый день провозился с немцами. Ездили с Вейротером поверять диспозицию. Как немцы возьмутся за аккуратность — конца нет!

Борис улыбнулся, как будто он понимал то, о чем, как об общеизвестном, намекал князь Андрей. Но он в первый раз слышал и фамилию Вейротера, и даже слово диспозиция.

— Ну, что, мой милый, все в адъютанты хотите? Я об вас подумал за это время.

— Да, я думал, — невольно отчего-то краснея, сказал Борис, — просить главнокомандующего; к нему было письмо обо мне от князя Курагина; я хотел просить только потому, — прибавил он, как бы извиняясь, — что, боюсь, гвардия не будет в деле.

— Хорошо! хорошо! мы обо всем переговорим, — сказал князь Андрей, — только дайте доложить про этого господина, и я принадлежу вам.

В то время как князь Андрей ходил докладывать про багрового генерала, генерал этот, видимо, не разделявший понятий Бориса о выгодах неписаной субординации, так уперся глазами в дерзкого прапорщика, помешавшего ему договорить с адъютантом, что Борису стало

неловко. Он отвернулся и с нетерпением ожидал, когда возвратится князь Андрей из кабинета главнокомандующего.

— Вот что, мой милый, я думал о вас, — сказал князь Андрей, когда они прошли в большую залу с клавикордами. — К главнокомандующему вам ходить нечего, — говорил князь Андрей, — он наговорит вам кучу любезностей, скажет, чтобы приходили к нему обедать («это было бы еще не так плохо для службы по той субординации», — подумал Борис), но из этого дальше ничего не выйдет; нас, адъютантов и ординарцев, скоро будет батальон. Но вот что мы сделаем: у меня есть хороший приятель, генерал-адъютант и прекрасный человек, князь Долгоруков; и хотя вы этого можете не знать, но дело в том, что теперь Кутузов с его штабом и мы все ровно ничего не значим: все теперь сосредоточивается у государя; так вот мы пойдемте-ка к Долгорукову, мне и надо сходить к нему, я уж ему говорил про вас; так мы и посмотрим, не найдет ли он возможным пристроить вас при себе или где-нибудь там, поближе к солнцу.

Князь Андрей всегда особенно оживлялся, когда ему приходилось руководить молодого человека и помогать ему в светском успехе. Под предлогом этой помощи другому, которую он по гордости никогда бы не принял для себя, он находился вблизи той среды, которая давала успех и которая притягивала его к себе. Он весьма охотно взялся за Бориса и пошел с ним к князю Долгорукову.

Было уже поздно вечером, когда они взошли в Ольмюцкий дворец, занимаемый императорами и их приближенными.

В этот самый день был военный совет, на котором участвовали все члены гофкригсрата и оба императора. На совете, в противность мнению стариков — Кутузова и князя Шварценберга, было решено немедленно наступать и дать генеральное сражение Бонапарту. Военный совет только что кончился, когда князь Андрей, сопутствуемый Борисом, пришел во дворец отыскивать князя Долгорукова. Еще все лица главной квартиры находились под обаянием сегодняшнего, победоносного для партии молодых, военного совета. Голоса медлителей, советовавших ожидать еще чего-то, не наступая, так единодушно были заглушены и доводы их опровергнуты несомненными доказательствами выгод наступления, что то, о чем толковалось в совете, будущее сражение и, без сомнения, победа

казались уже не будущим, а прошедшим. Все выгоды были на нашей стороне. Огромные силы, без сомнения превосходившие силы Наполеона, были стянуты в одно место; войска были одушевлены присутствием императоров и рвались в дело; стратегический пункт, на котором приходилось действовать, был до малейших подробностей известен австрийскому генералу Вейротеру, руководившему войска (как бы счастливая случайность сделала то, что австрийские войска в прошлом году были на маневрах именно на тех полях, на которых теперь предстояло сразиться с французом); до малейших подробностей была известна и передана на картах предлежащая местность, и Бонапарте, видимо, ослабленный, ничего не предпринимал.

Долгоруков, один из самых горячих сторонников наступления, только что вернулся из совета, усталый, измученный, но оживленный и гордый одержанной победой. Князь Андрей представил покровительствуемого им офицера, но князь Долгоруков, учтиво и крепко пожав ему руку, ничего не сказал Борису и, очевидно, не в силах удержаться от высказывания тех мыслей, которые сильнее всего занимали его в эту минуту, по-французски обратился к князю Андрею.

— Ну, мой милый, какое мы выдержали сражение! Дай бог только, чтобы то, которое будет следствием его, было бы столь же победоносно. Однако, мой милый, — говорил он отрывочно и оживленно, — я должен признать свою вину перед австрийцами и в особенности перед Вейротером. Что за точность, что за подробность, что за знание местности, что за предвидение всех возможностей, всех условий, всех малейших подробностей! Нет, мой милый, выгодней тех условий, в которых мы находимся, нельзя ничего нарочно выдумать. Соединение австрийской отчетливости с русской храбростию — чего ж вы хотите еще?

— Так наступление окончательно решено? — сказал Болконский.

— И знаете ли, мой милый, мне кажется, что решительно Буонапарте потерял свою латынь. Вы знаете, что нынче получено от него письмо к императору. — Долгоруков улыбнулся значительно.

— Вот как! Что ж он пишет? — спросил Болконский.

— Что он может писать? Традиридира и тому подобное, всё только с целью выиграть время. Я вам говорю,

что он у нас в руках, это верно! Но что забавнее всего,— сказал он, вдруг добродушно засмеявшись, — это то, что никак не могли придумать, как ему адресовать ответ? Ежели не консулу, само собою разумеется, не императору, то генералу Буонапарту, как мне казалось.

— Но между тем, чтобы не признавать императором, и тем, чтобы называть генералом Буонапарте, есть разница, — сказал Болконский.

— В том-то и дело, — смеясь и перебивая, быстро говорил Долгоруков. — Вы знаете Билибина, он очень умный человек, он предлагал адресовать: «узурпатору и врагу человеческого рода».

Долгоруков весело захохотал.

— Не более того? — заметил Болконский.

— Но все-таки Билибин нашел серьезный титул адреса. И остроумный и умный человек...

— Как же?

— Главе французского правительства. Au chef du gouvernement français, — серьезно и с удовольствием сказал князь Долгоруков. — Не правда ли, что хорошо?

— Хорошо, но очень не понравится ему, — заметил Болконский.

— О, и очень! Мой брат знает его: он не раз обедал у него, у теперешнего императора, в Париже и говорил мне, что он не видал более утонченного и хитрого дипломата: знаете, соединение французской ловкости и итальянского актерства. Вы знаете его анекдоты с графом Марко́вым? Только один граф Марко́в умел с ним обращаться. Вы знаете историю платка? Это прелесть.

И словоохотливый Долгоруков, обращаясь то к Борису, то к князю Андрею, рассказал, как Бонапарт, желая испытать Марко́ва, нашего посланника, нарочно уронил перед ним платок и остановился, глядя на него, ожидая, вероятно, услуги от Марко́ва, и как Марко́в тотчас же уронил рядом свой платок и поднял свой, не поднимая платка Бонапарта.

— Charmant[1], — сказал Болконский. — Но вот что, князь, я пришел к вам просителем за этого молодого человека. Видите ли что...

Но князь Андрей не успел докончить, как в комнату вошел адъютант, который звал князя Долгорукова к императору.

---

[1] Прелестно.

— Ах, какая досада! — сказал Долгоруков, поспешно вставая и пожимая руки князя Андрея и Бориса. — Вы знаете, я очень рад сделать все, что от меня зависит, и для вас, и для этого милого молодого человека. — Он еще раз пожал руку Бориса с выражением добродушного, искреннего и оживленного легкомыслия. — Но вы видите... до другого раза!

Бориса волновала мысль о той близости к высшей власти, в которой он в эту минуту чувствовал себя. Он сознавал себя здесь в соприкосновении с теми пружинами, которые руководили всеми теми громадными движениями масс, которых он в своем полку чувствовал себя маленькою, покорною и ничтожною частью. Они вышли в коридор вслед за князем Долгоруковым и встретили выходившего (из той двери комнаты государя, в которую вошел Долгоруков) невысокого человека в штатском платье, с умным лицом и резкой чертой выставленной вперед челюсти, которая, не портя его, придавала ему особенную живость и изворотливость выражения. Этот невысокий человек кивнул, как своему, Долгорукову и пристально-холодным взглядом стал вглядываться в князя Андрея, идя прямо на него и, видимо, ожидая, чтобы князь Андрей поклонился ему или дал дорогу. Князь Андрей не сделал ни того, ни другого; в лице его выразилась злоба, и молодой человек, отвернувшись, прошел стороной коридора.

— Кто это? — спросил Борис.

— Это один из самых замечательнейших, но неприятнейших мне людей. Это министр иностранных дел, князь Адам Чарторижский.

— Вот эти люди, — сказал Болконский со вздохом, который он не мог подавить, в то время как они выходили из дворца, — вот эти-то люди решают судьбы народов.

На другой день войска выступили в поход, и Борис не успел до самого Аустерлицкого сражения побывать ни у Болконского, ни у Долгорукова и остался еще на время в Измайловском полку.

X

На заре 16-го числа эскадрон Денисова, в котором служил Николай Ростов и который был в отряде князя Багратиона, двинулся с ночлега в дело, как говорили, и,

пройдя около версты позади других колонн, был остановлен на большой дороге. Ростов видел, как мимо его прошли вперед казаки, 1-й и 2-й эскадрон гусар, пехотные батальоны с артиллерией и проехали генералы Багратион и Долгоруков с адъютантами. Весь страх, который он, как и прежде, испытывал перед делом, вся внутренняя борьба, посредством которой он преодолевал этот страх, все его мечтания о том, как он по-гусарски отличится в этом деле, — пропали даром. Эскадрон их был оставлен в резерве, и Николай Ростов скучно и тоскливо провел этот день. В девятом часу утра он услыхал пальбу впереди себя, крики «ура», видел привозимых назад раненых (их было немного) и, наконец, видел, как в середине сотни казаков провели целый отряд французских кавалеристов. Очевидно, дело было кончено, и дело было, очевидно, небольшое, но счастливое. Проходившие назад солдаты и офицеры рассказывали о блестящей победе, о занятии города Вишау и взятии в плен целого французского эскадрона. День был ясный, солнечный, после сильного ночного заморозка, и веселый блеск осеннего дня совпадал с известием о победе, которое передавали не только рассказы участвовавших в нем, но и радостное выражение лиц солдат, офицеров, генералов и адъютантов, ехавших туда и оттуда мимо Ростова. Тем больнее щемило сердце Николая, напрасно перестрадавшего весь страх, предшествующий сражению, и пробывшего этот веселый день в бездействии.

— Г'остов, иди сюда, выпьем с го'я! — крикнул Денисов, усевшись на краю дороги перед фляжкой и закуской.

Офицеры собрались кружком, закусывая и разговаривая, около погребца Денисова.

— Вот еще одного ведут! — сказал один из офицеров, указывая на французского пленного драгуна, которого вели пешком два казака.

Один из них вел в поводу взятую у пленного рослую и красивую французскую лошадь.

— Пг'одай лошадь! — крикнул Денисов казаку.

— Изволь, ваше благородие...

Офицеры встали и окружили казаков и пленного француза. Французский драгун был молодой малый, альзасец, говоривший по-французски с немецким акцентом. Он задыхался от волнения, лицо его было красно, и, услыхав французский язык, он быстро заговорил с офицерами, обращаясь то к тому, то к другому. Он говорил, что его

бы не взяли: что он не виноват в том, что его взяли, а виноват le caporal, который послал его захватить попоны, что он ему говорил, что уже русские там. И ко всякому слову он прибавлял: mais qu'on ne fasse pas de mal à mon petit cheval[1], и ласкал свою лошадь. Видно было, что он не понимал хорошенько, где он находится. Он то извинялся, что его взяли, то, предполагая перед собою свое начальство, выказывал свою солдатскую исправность и заботливость о службе. Он донес с собой в наш ариергард во всей свежести атмосферу французского войска, которое так чуждо было для нас.

Казаки отдали лошадь за два червонца, и Ростов, теперь, получив деньги, самый богатый из офицеров, купил ее.

— Mais qu'on ne fasse pas de mal à mon petit cheval[2], — добродушно сказал альзасец Ростову, когда лошадь передана была гусару.

Ростов, улыбаясь, успокоил драгуна и дал ему денег.

— Алё, алё! — сказал казак, трогая за руку пленного, чтобы он шел дальше.

— Государь! Государь! — вдруг послышалось между гусарами.

Все побежало, заторопилось, и Ростов увидал сзади по дороге несколько подъезжающих всадников с белыми султанами на шляпах. В одну минуту все были на местах и ждали.

Ростов не помнил и не чувствовал, как он добежал до своего места и сел на лошадь. Мгновенно прошло его сожаление о неучастии в деле, его будничное расположение духа в кругу приглядевшихся лиц, мгновенно исчезла всякая мысль о себе: он весь поглощен был чувством счастия, происходящего от близости государя. Он чувствовал себя одною этою близостью вознагражденным за потерю нынешнего дня. Он был счастлив, как любовник, дождавшийся ожидаемого свидания. Не смея оглядываться во фронте и не оглядываясь, он чувствовал восторженным чутьем *его* приближение. И он чувствовал это не по одному звуку копыт лошадей приближавшейся кавалькады, но он чувствовал это потому, что по мере приближения все светлее, радостнее и значительнее и праздничнее делалось вокруг него. Все ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокруг себя лучи крот-

---

[1] лошадку-то мою пожалейте.

[2] А пожалейте лошадку.

кого и величественного света, и вот он уже чувствует себя захваченным этими лучами, он слышит его голос — этот ласковый, спокойный, величественный и вместе с тем столь простой голос. Как и должно было быть по чувству Ростова, наступила мертвая тишина, и в этой тишине раздались звуки голоса государя.

— Les huzards de Pavlograd? [1] — вопросительно сказал он.

— La réserve, sire! [2] — отвечал чей-то голос, столь человеческий после того нечеловеческого голоса, который сказал: «Les huzards de Pavlograd?»

Государь поравнялся с Ростовым и остановился. Лицо Александра было еще прекраснее, чем на смотру три дня тому назад. Оно сияло такою веселостью и молодостью, такою невинною молодостью, что напоминало ребяческую четырнадцатилетнюю резвость, и вместе с тем это было все-таки лицо величественного императора. Случайно оглядывая эскадрон, глаза государя встретились с глазами Ростова и не более как на две секунды остановились на них. Понял ли государь все, что делалось в душе Ростова (Ростову казалось, что он все понял), но он посмотрел секунды две своими голубыми глазами в лицо Ростова. (Мягко и кротко лился из них свет.) Потом вдруг он приподнял брови, резким движением ударил левой ногой лошадь и галопом поехал вперед.

Услыхав пальбу в авангарде, молодой император не мог воздержаться от желания присутствовать при сражении и, несмотря на все представления придворных, в двенадцать часов, отделившись от третьей колонны, при которой он следовал, поскакал к авангарду. Еще не доезжая до гусар, несколько адъютантов встретили его с известием о счастливом исходе дела.

Сражение, состоявшее только в том, что захвачен эскадрон французов, было представлено как блестящая победа над французами, и потому государь и вся армия, особенно пока не разошелся еще пороховой дым на поле сражения, верили, что французы побеждены и отступают против своей воли. Несколько минут после того, как проехал государь, дивизион павлоградцев потребовали вперед. В самом Вишау, маленьком немецком городке, Ростов еще раз увидал государя. На площади города, на

---

[1] Павлоградские гусары?
[2] Резерв, ваше величество!

которой была до приезда государя довольно сильная перестрелка, лежало несколько человек убитых и раненых, которых не успели подобрать. Государь, окруженный свитою военных и невоенных, был на рыжей, уже другой, чем на смотру, энглизированной кобыле и, склонившись набок, грациозным жестом держа золотой лорнет у глаза, смотрел в него на лежащего ничком, без кивера, с окровавленною головою солдата. Солдат раненый был так нечист, груб и гадок, что Ростова оскорбила близость его к государю. Ростов видел, как содрогнулись, как бы от пробежавшего мороза, сутулые плечи государя, как левая нога его судорожно стала бить шпорой бок лошади. Приученная лошадь равнодушно оглядывалась и не трогалась с места. Слезшие с лошади адъютанты взяли под руки солдата и стали класть на появившиеся носилки. Солдат застонал.

— Тише, тише, разве нельзя тише? — видимо более страдая, чем умирающий солдат, проговорил государь и отъехал прочь.

Ростов видел слезы, наполнившие глаза государя, и слышал, как он, отъезжая, по-французски сказал Чарторижскому:

— Какая ужасная вещь война, какая ужасная вещь! Quelle terrible chose que la guerre!

Войска авангарда расположились впереди Вишау, в виду цепи неприятельской, уступавшей нам место при малейшей перестрелке в продолжение всего дня. Авангарду объявлена была благодарность государя, обещаны награды и людям роздана двойная порция водки. Еще веселее, чем в прошлую ночь, трещали бивачные костры и раздавались солдатские песни. Денисов в эту ночь праздновал производство свое в майоры, и Ростов, уже довольно выпивший, в конце пирушки предложил тост за здоровье государя, но «не государя императора, как говорят на официальных обедах, — сказал он, — а за здоровье государя, доброго, обворожительного и великого человека; пьем за его здоровье и за верную победу над французами!»

— Коли мы прежде дрались, — сказал он, — и не давали спуску французам, как под Шенграбеном, что же теперь будет, когда сам он впереди? Мы все умрем, с наслаждением умрем за него. Так, господа? Может быть, я не так говорю, я много выпил; да я так чувствую, и вы тоже. За здоровье Александра Первого! Урра!

— Урра! — зазвучали воодушевленные голоса офицеров.

И старый ротмистр Кирстен кричал воодушевленно и не менее искренно, чем двадцатилетний Ростов.

Когда офицеры выпили и разбили свои стаканы, Кирстен налил другие и, в одной рубашке и рейтузах, с стаканом в руке подошел к солдатским кострам и в величественной позе, взмахнув кверху рукой, с своими длинными седыми усами, белой грудью, видневшейся из-за распахнувшейся рубашки, остановился в свете костра.

— Ребята, за здоровье государя императора, за победу над врагами, урра! — крикнул он своим молодецким, старогусарским баритоном.

Гусары столпились и дружно отвечали громким криком.

Поздно ночью, когда все разошлись, Денисов потрепал своей коротенькой рукой по плечу своего любимца Ростова.

— Вот на походе не в кого влюбиться, так он в ца'я влюбился, — сказал он.

— Денисов, ты этим не шути, — крикнул Ростов, — это такое высокое, такое прекрасное чувство, такое...

— Ве'ю, ве'ю, дг'ужок, и г'азделяю и одоб'яю...

— Нет, не понимаешь!

И Ростов встал и пошел бродить между костров, мечтая о том, какое было бы счастие умереть, не спасая жизнь (об этом он и не смел мечтать), а просто умереть в глазах государя. Он действительно был влюблен и в царя, и в славу русского оружия, и в надежду будущего торжества. И не он один испытывал это чувство в те памятные дни, предшествующие Аустерлицкому сражению: девять десятых людей русской армии в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя и в славу русского оружия.

XI

На следующий день государь остановился в Вишау. Лейб-медик Вилье несколько раз был призываем к нему. В главной квартире и в ближайших войсках распространилось известие, что государь был нездоров. Он ничего не ел и дурно спал эту ночь, как говорили приближенные. Причина этого нездоровья заключалась в сильном

впечатлении, произведенном на чувствительную душу государя видом раненых и убитых.

На заре 17-го числа в Вишау был препровожден с аванпостов французский офицер, приехавший под парламентерским флагом, требуя свидания с русским императором. Офицер этот был Савари. Государь только что заснул, и потому Савари должен был дожидаться. В полдень он был допущен к государю и через час поехал вместе с князем Долгоруковым на аванпосты французской армии.

Как слышно было, цель присылки Савари состояла в предложении мира и в предложении свидания императора Александра с Наполеоном. В личном свидании, к радости и гордости всей армии, было отказано, и вместо государя князь Долгоруков, победитель при Вишау, был отправлен вместе с Савари для переговоров с Наполеоном, ежели переговоры эти, против чаяния, имели целью действительное желание мира.

Ввечеру вернулся Долгоруков, прошел прямо к государю и долго пробыл у него наедине.

18-го и 19-го ноября войска прошли еще два перехода вперед, и неприятельские аванпосты после коротких перестрелок отступали. В высших сферах армии с полдня 19-го числа началось сильное хлопотливо-возбужденное движение, продолжавшееся до утра следующего дня, 20 ноября, в который дано было столь памятное Аустерлицкое сражение.

До полудня 19-го числа движение, оживленные разговоры, беготня, посылки адъютантов ограничивались одной главной квартирой императоров; после полудня того же дня движение передалось в главную квартиру Кутузова и в штабы колонных начальников. Вечером через адъютантов разнеслось это движение по всем концам и частям армии, и в ночь с 19-го на 20-е поднялась с ночлегов, загудела говором и заколыхалась и тронулась громадным девятиверстным холстом восьмидесятитысячная масса союзного войска.

Сосредоточенное движение, начавшееся поутру в главной квартире императоров и давшее толчок всему дальнейшему движению, было похоже на первое движение серединного колеса больших башенных часов. Медленно двинулось одно колесо, повернулось другое, третье, и все быстрее и быстрее пошли вертеться колеса, блоки, шестерни, начали играть куранты, выскакивать фигуры, и мерно стали подвигаться стрелки, показывая результат движения.

Как в механизме часов, так и в механизме военного дела, так же неудержимо до последнего результата раз данное движение, и так же безучастно неподвижны, за момент до передачи движения, части механизма, до которых еще не дошло дело. Свистят на осях колеса, цепляясь зубьями, шипят от быстроты вертящиеся блоки, а соседнее колесо так же спокойно и неподвижно, как будто оно сотни лет готово простоять этою неподвижностью; но пришел момент — зацепил рычаг, и, покоряясь движению, трещит, поворачиваясь, колесо и сливается в одно действие, результат и цель которого ему не понятны.

Как в часах результат сложного движения бесчисленных различных колес и блоков есть только медленное и уравномеренное движение стрелки, указывающей время, так и результатом всех сложных человеческих движений этих ста шестидесяти тысяч русских и французов — всех страстей, желаний, раскаяний, унижений, страданий, порывов гордости, страха, восторга этих людей — был только проигрыш Аустерлицкого сражения, так называемого сражения трех императоров, то есть медленное передвижение всемирно-исторической стрелки на циферблате истории человечества.

Князь Андрей был в этот день дежурным и неотлучно при главнокомандующем.

В шестом часу вечера Кутузов приехал в главную квартиру императоров и, недолго пробыв у государя, зашел к обер-гофмаршалу графу Толстому.

Болконский воспользовался этим временем, чтобы зайти к Долгорукову узнать о подробностях дела. Князь Андрей чувствовал, что Кутузов чем-то расстроен и недоволен, и что им недовольны в главной квартире, и что все лица императорской главной квартиры имеют с ним тон людей, знающих что-то такое, чего другие не знают, и поэтому ему хотелось поговорить с Долгоруковым.

— Ну, здравствуйте, mon cher, — сказал Долгоруков, сидевший с Билибиным за чаем. — Праздник на завтра. Что ваш старик? не в духе?

— Не скажу, чтобы был не в духе, но ему, кажется, хотелось бы, чтоб его выслушали.

— Да его слушали на военном совете и будут слушать, когда он будет говорить дело; но медлить и ждать чего-то теперь, когда Бонапарт боится более всего генерального сражения — невозможно.

— Да, вы его видели? — сказал князь Андрей. — Ну, что Бонапарт? Какое впечатление он произвел на вас?

— Да, видел и убедился, что он боится генерального сражения более всего на свете, — повторил Долгоруков, видимо, дорожа этим общим выводом, сделанным им из его свидания с Наполеоном. — Ежели бы он не боялся сражения, для чего бы ему было требовать этого свидания, вести переговоры и, главное, отступать, тогда как отступление так противно всей его методе ведения войны? Поверьте мне: он боится, боится генерального сражения, его час настал. Это я вам говорю.

— Но расскажите, как он, что? — еще спросил князь Андрей.

— Он человек в сером сюртуке, очень желавший, чтоб я ему говорил «ваше величество», но, к огорчению своему, не получивший от меня никакого титула. Вот это какой человек, и больше ничего, — отвечал Долгоруков, оглядываясь с улыбкой на Билибина.

— Несмотря на мое полное уважение к старому Кутузову, — продолжал он, — хороши мы были бы все, ожидая чего-то и тем давая ему случай уйти или обмануть нас, тогда как теперь он верно в наших руках. Нет, не надобно забывать Суворова и его правила: не ставить себя в положение атакованного, а атаковать самому. Поверьте, на войне энергия молодых людей часто вернее указывает путь, чем вся опытность старых кунктаторов.

— Но в какой же позиции мы атакуем его? Я был на аванпостах нынче, и нельзя решить, где он именно стоит с главными силами, — сказал князь Андрей.

Ему хотелось высказать Долгорукову свой, составленный им, план атаки.

— Ах, это совершенно все равно, — быстро заговорил Долгоруков, вставая и раскрывая карту на столе. — Все случаи предвидены: ежели он стоит у Брюнна...

И князь Долгоруков быстро и неясно рассказал план флангового движения Вейротера.

Князь Андрей стал возражать и доказывать свой план, который мог быть одинаково хорош с планом Вейротера, но имел тот недостаток, что план Вейротера уже был одобрен. Как только князь Андрей стал доказывать невыгоды того и выгоды своего, князь Долгоруков перестал его слушать и расеянно смотрел не на карту, а на лицо князя Андрея.

— Впрочем, у Кутузова будет нынче военный совет: вы там можете все это высказать, — сказал Долгоруков.

— Я это и сделаю, — сказал князь Андрей, отходя от карты.

— И о чем вы заботитесь, господа? — сказал Билибин, до сих пор с веселой улыбкой слушавший их разговор и теперь, видимо, собираясь пошутить. — Будет ли завтра победа или поражение, слава русского оружия застрахована. Кроме вашего Кутузова, нет ни одного русского начальника колонн. Начальники: Herr general Wimpfen, le comte de Langeron, le prince de Lichtenstein, le prince de Hohenloe et enfin Prsch... prsch... et ainsi de suite, comme tous les noms polonais [1].

— Taisez vous, mauvaise langue [2], — сказал Долгоруков. — Неправда, теперь уже два русских: Милорадович и Дохтуров, и был бы третий, граф Аракчеев, но у него нервы слабы.

— Однако Михаил Иларионович, я думаю, вышел, — сказал князь Андрей. — Желаю счастия и успеха, господа, — прибавил он и вышел, пожав руки Долгорукову и Билибину.

Возвращаясь домой, князь Андрей не мог удержаться, чтобы не спросить молчаливо сидевшего подле него Кутузова о том, что он думает о завтрашнем сражении?

Кутузов строго посмотрел на своего адъютанта и, помолчав, ответил:

— Я думаю, что сражение будет проиграно, и я так сказал графу Толстому и просил его передать это государю. Что же, ты думаешь, он мне ответил? Eh, mon cher général, je me mêle de riz et des cotelettes, mêlez vous des affaires de la guerre [3]. Да... Вот что мне отвечали!

XII

В десятом часу вечера Вейротер с своими планами переехал на квартиру Кутузова, где и был назначен военный совет. Все начальники колонн были потребованы

---

[1] Господин генерал Вимпфен, граф Ланжерон, князь Лихтенштейн, князь Гогенлоэ и еще Пршпршипрш, как все польские имена (*нем.* и *франц.*).

[2] Замолчите, злой язык.

[3] И, любезный генерал! Я занят рисом и котлетами, а вы занимайтесь военными делами.

к главнокомандующему, и, за исключением князя Багратиона, который отказался приехать, все явились к назначенному часу.

Вейротер, бывший полным распорядителем предполагаемого сражения, представлял своею оживленностью и торопливостью резкую противоположность с недовольным и сонным Кутузовым, неохотно игравшим роль председателя и руководителя военного совета. Вейротер, очевидно, чувствовал себя во главе движения, которое стало уже неудержимо. Он был как запряженная лошадь, разбежавшаяся с возом под гору. Он ли вез или его гнало, он не знал; но он несся во всю возможную быстроту, не имея времени уже обсуждать того, к чему поведет это движение. Вейротер в этот вечер был два раза для личного осмотра в цепи неприятеля и два раза у государей, русского и австрийского, для доклада и объяснений, и в своей канцелярии, где он диктовал немецкую диспозицию. Он, измученный, приехал теперь к Кутузову.

Он, видимо, так был занят, что забывал даже быть почтительным с главнокомандующим: он перебивал его, говорил быстро, неясно, не глядя в лицо собеседника, не отвечая на делаемые ему вопросы, был испачкан грязью и имел вид жалкий, измученный, растерянный и вместе с тем самонадеянный и гордый.

Кутузов занимал небольшой дворянский за́мок около Остралиц. В большой гостиной, сделавшейся кабинетом главнокомандующего, собрались: сам Кутузов, Вейротер и члены военного совета. Они пили чай. Ожидали только князя Багратиона, чтобы приступить к военному совету. В восьмом часу приехал ординарец Багратиона с известием, что князь быть не может. Князь Андрей пришел доложить о том главнокомандующему и, пользуясь прежде данным ему Кутузовым позволением присутствовать при совете, остался в комнате.

— Так как князь Багратион не будет, то мы можем начинать, — сказал Вейротер, поспешно вставая с своего места и приближаясь к столу, на котором была разложена огромная карта окрестностей Брюнна.

Кутузов, в расстегнутом мундире, из которого, как бы освободившись, выплыла на воротник его жирная шея, сидел в вольтеровском кресле, положив симметрично пухлые старческие руки на подлокотники, и почти спал. На звук голоса Вейротера он с усилием открыл единственный глаз.

— Да, да пожалуйста, а то поздно, — проговорил он и, кивнув головой, опустил ее и опять закрыл глаза.

Ежели первое время члены совета думали, что Кутузов притворялся спящим, то звуки, которые он издавал носом во время последующего чтения, доказывали, что в эту минуту для главнокомандующего дело шло о гораздо важнейшем, чем о желании выказать свое презрение к диспозиции или к чему бы то ни было: дело шло для него о неудержимом удовлетворении человеческой потребности — сна. Он действительно спал. Вейротер с движением человека, слишком занятого для того, чтобы терять хоть одну минуту времени, взглянул на Кутузова и, убедившись, что он спит, взял бумагу и громким однообразным тоном начал читать диспозицию будущего сражения под заглавием, которое он тоже прочел:

«Диспозиция к атаке неприятельской позиции позади Кобельница и Сокольница, 20 ноября 1805 года».

Диспозиция была очень сложная и трудная. В оригинальной диспозиции значилось:

Da der Feind mit seinem linken Flügel an die mit Wald bedeckten Berge lehnt und sich mit seinem rechten Flügel längs Kobelnitz und Sokolnitz hinter die dort befindlichen Teiche zieht, wir im Gegenteil mit unserem linken Flügel seinen rechten sehr debordieren, so ist es vorteilhaft letzteren Flügel des Feindes zu attakieren, besonders wenn wir die Dörfer Sokolnitz und Kobelnitz im Besitze haben, wodurch wir dem Feind zugleich in die Flanke fallen und ihn auf der Fläche zwischen Schlapanitz und dem Thuerassa-Walde verfolgen können, indem wir dem Defileen von Schlapanitz und Bellowitz ausweichen, welche die feindliche Front decken. Zu diesem Endzwecke ist es nötig... Die erste Kolonne marschiert... die zweite Kolonne marschiert... die dritte Kolonne marschiert... [1] и т. д., — читал Вейротер.

---

[1] Так как неприятель опирается левым крылом своим на покрытые лесом горы, а правым крылом тянется вдоль Кобельница и Сокольница, позади находящихся там прудов, а мы, напротив, превосходим нашим левым крылом его правое, то выгодно нам атаковать сие последнее неприятельское крыло, особливо если мы займем деревни Сокольниц и Кобельниц, будучи поставлены в возможность нападать на фланг неприятеля и преследовать его в равнине между Шлапаницем и лесом Тюрасским и избегая дефилеи между Шлапаницем и Беловицем, которою прикрыт неприятельский фронт. Для этой цели необходимо... Первая колонна марширует... вторая колонна марширует.. третья колонна марширует... *(нем.)*.

Генералы, казалось, неохотно слушали трудную диспозицию. Белокурый высокий генерал Буксгевден стоял, прислонившись спиною к стене, и, остановив свои глаза на горевшей свече, казалось, не слушал и даже не хотел, чтобы думали, что он слушает. Прямо против Вейротера, устремив на него свои блестящие открытые глаза, в воинственной позе, оперев руки с выгнутыми наружу локтями на колени, сидел румяный Милорадович, с приподнятыми усами и плечами. Он упорно молчал, глядя в лицо Вейротера, и спускал с него глаза только в то время, когда австрийский начальник штаба замолкал. В это время Милорадович значительно оглядывался на других генералов. Но по значению этого значительного взгляда нельзя было понять, был ли он согласен или не согласен, доволен или не доволен диспозицией. Ближе всех к Вейротеру сидел граф Ланжерон и с тонкой улыбкой южного французского лица, не покидавшей его во все время чтения, глядел на свои тонкие пальцы, быстро перевертывавшие за углы золотую табакерку с портретом. В середине одного из длиннейших периодов он остановил вращательное движение табакерки, поднял голову и с неприятной учтивостью на самых концах тонких губ перебил Вейротера и хотел сказать что-то; но австрийский генерал, не прерывая чтения, сердито нахмурился и замахал локтями, как бы говоря: потом, потом вы мне скажете свои мысли, теперь извольте смотреть на карту и слушать. Ланжерон поднял глаза кверху с выражением недоумения, оглянулся на Милорадовича, как бы ища объяснения, но, встретив значительный, ничего не значащий взгляд Милорадовича, грустно опустил глаза и опять принялся вертеть табакерку.

— Une leçon de géographie [1], — проговорил он как бы про себя, но довольно громко, чтоб его слышали.

Пржебышевский с почтительной, но достойной учтивостью пригнул рукою ухо к Вейротеру, имея вид человека, поглощенного вниманием. Маленький ростом Дохтуров сидел прямо против Вейротера с старательным и скромным видом и, нагнувшись над разложенною картой, добросовестно изучал диспозицию и неизвестную ему местность. Он несколько раз просил Вейротера повторять нехорошо расслышанные им слова и трудные наименования деревень. Вейротер исполнял его желание, и Дохтуров записывал.

---

[1] Урок из географии.

Когда чтение, продолжавшееся более часу, было кончено, Ланжерон, опять остановив табакерку и не глядя на Вейротера и ни на кого особенно, начал говорить о том, как трудно было исполнить такую диспозицию, где положение неприятеля предполагается известным, тогда как положение это может быть нам неизвестно, так как неприятель находится в движении. Возражения Ланжерона были основательны, но было очевидно, что цель этих возражений состояла преимущественно в желании дать почувствовать генералу Вейротеру, столь самоуверенно, как школьникам-ученикам, читавшему свою диспозицию, что он имел дело не с одними дураками, а с людьми, которые могли и его поучить в военном деле. Когда замолк однообразный звук голоса Вейротера, Кутузов открыл глаза, как мельник, который просыпается при перерыве усыпительного звука мельничных колес, прислушался к тому, что говорил Ланжерон, и, как будто говоря: «А вы всё еще про эти глупости!», поспешно закрыл глаза и еще ниже опустил голову.

Стараясь как можно язвительнее оскорбить Вейротера в его авторском военном самолюбии, Ланжерон доказывал, что Бонапарте легко может атаковать, вместо того чтобы быть атакованным, и вследствие того сделает всю эту диспозицию совершенно бесполезною. Вейротер на все возражения отвечал твердой презрительной улыбкой, очевидно, вперед приготовленною для всякого возражения, независимо от того, что бы ему ни говорили.

— Ежели бы он мог атаковать нас, то он нынче бы это сделал, — сказал он.

— Вы, стало быть, думаете, что он бессилен? — сказал Ланжерон.

— Много, если у него сорок тысяч войска, — отвечал Вейротер с улыбкой доктора, которому лекарка хочет указать средства лечения.

— В таком случае он идет на свою погибель, ожидая нашей атаки, — с тонкой иронической улыбкой сказал Ланжерон, за подтверждением оглядываясь опять на ближайшего Милорадовича.

Но Милорадович, очевидно, в эту минуту думал менее всего о том, о чем спорили генералы.

— Ma foi [1], — сказал он, — завтра всё увидим на поле сражения.

[1] Ей-богу. — *Ред.*

Вейротер усмехнулся опять тою улыбкой, которая говорила, что *ему* смешно и странно встречать возражения от русских генералов и доказывать то, в чем не только он сам слишком хорошо был уверен, но в чем уверены были им государи императоры.

— Неприятель потушил огни, и слышен непрерывный шум в его лагере, — сказал он. — Что это значит? Или он удаляется, чего одного мы должны бояться, или он переменяет позицию (он усмехнулся). Но даже ежели бы он и занял позицию в Тюрасе, он только избавляет нас от больших хлопот, и распоряжения все, до малейших подробностей, остаются те же.

— Каким же образом?.. — сказал князь Андрей, уже давно выжидавший случая выразить свои сомнения.

Кутузов проснулся, тяжело откашлялся и оглянул генералов.

— Господа, диспозиция на завтра, даже на нынче (потому что уже первый час), не может быть изменена,— сказал он. — Вы ее слышали, и все мы исполним наш долг. А перед сражением нет ничего важнее... (он помолчал) как выспаться хорошенько.

Он сделал вид, что привстает. Генералы откланялись и удалились. Было уже за полночь. Князь Андрей вышел.

Военный совет, на котором князю Андрею не удалось высказать своего мнения, как он надеялся, оставил в нем неясное и тревожное впечатление. Кто был прав: Долгоруков с Вейротером или Кутузов с Ланжероном и другими, не одобрявшими план атаки, он не знал. «Но неужели нельзя было Кутузову прямо высказать государю свои мысли? Неужели это не может иначе делаться? Неужели из-за придворных и личных соображений должно рисковать десятками тысяч и моей, *моей* жизнью?» — думал он.

«Да, очень может быть, завтра убьют»,— подумал он. И вдруг, при этой мысли о смерти, целый ряд воспоминаний, самых далеких и самых задушевных, восстал в его воображении; он вспоминал последнее прощание с отцом и женою; он вспомнил первые времена своей любви к ней; вспомнил о ее беременности, и ему стало жалко и ее и себя, и он в нервично-размягченном и взволнованном состоянии вышел из избы, в которой он стоял с Несвицким, и стал ходить перед домом.

Ночь была туманная, и сквозь туман таинственно пробивался лунный свет. «Да, завтра, завтра! — думал он.— Завтра, может быть, все будет кончено для меня, всех

этих воспоминаний не будет более, все эти воспоминания не будут иметь для меня более никакого смысла. Завтра же, может быть,— даже наверное завтра, я это предчувствую, в первый раз мне придется, наконец, показать все то, что я могу сделать». И ему представилось сражение, потеря его, сосредоточение боя на одном пункте и замешательство всех начальствующих лиц. И вот та счастливая минута, тот Тулон, которого так долго ждал он, наконец представляется ему. Он твердо и ясно говорит свое мнение и Кутузову, и Вейротеру, и императорам. Все поражены верностью его соображения, но никто не берется исполнить его, и вот он берет полк, дивизию, выговаривает условие, чтоб уже никто не вмешивался в его распоряжения, и ведет свою дивизию к решительному пункту и один одерживает победу. А смерть и страдания? — говорит другой голос. Но князь Андрей не отвечает этому голосу и продолжает свои успехи. Диспозиция следующего сражения делается им одним. Он носит звание дежурного по армии при Кутузове, но делает все он один. Следующее сражение выиграно им одним. Кутузов сменяется, назначается он... Ну, а потом? — говорит опять другой голос,— а потом, ежели ты десять раз прежде этого не будешь ранен, убит или обманут; ну а потом что ж? «Ну, а потом... — отвечает сам себе князь Андрей,— я не знаю, что будет потом, не хочу и не могу знать; но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого! Я никогда никому не скажу этого, но, боже мой! что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди — отец, сестра, жена,— самые дорогие мне люди,— но, как ни страшно и ни неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать, за любовь вот этих людей»,— подумал он, прислушиваясь к говору на дворе Кутузова. На дворе Кутузова слышались голоса укладывавшихся денщиков; один голос, вероятно кучера, дразнившего старого кутузовского повара, которого знал князь Андрей и которого звали Титом, говорил: «Тит, а Тит?»

— Ну,— отвечал старик.

— Тит, ступай молотить, — говорил шутник.

— Тьфу, ну те к черту,— раздавался голос, покрываемый хохотом денщиков и слуг.

«И все-таки я люблю и дорожу только торжеством над всеми ими, дорожу этой таинственной силой и славой, которая вот тут надо мной носится в этом тумане!»

XIII

Ростов в эту ночь был со взводом во фланкёрской цепи, впереди отряда Багратиона. Гусары его попарно были рассыпаны в цепи; сам он ездил верхом по этой линии цепи, стараясь преодолеть сон, непреодолимо клонивший его. Позади его видно было огромное пространство неясно горевших в тумане костров нашей армии; впереди его была туманная темнота. Сколько ни вглядывался Ростов в эту туманную даль, он ничего не видел: то серелось, то как будто чернелось что-то; то мелькали как будто огоньки, там, где должен быть неприятель; то ему думалось, что это только в глазах блестит у него. Глаза его закрывались, и в воображении представлялся то государь, то Денисов, то московские воспоминания, и он опять поспешно открывал глаза, и близко перед собой он видел голову и уши лошади, на которой он сидел, иногда черные фигуры гусар, когда он в шести шагах наезжал на них, а вдали все ту же туманную темноту. «Отчего же? очень может быть,— думал Ростов,— что государь, встретив меня, даст поручение, как и всякому офицеру, скажет: «Поезжай, узнай, что там». Много рассказывали же, как совершенно случайно он узнал так какого-то офицера и приблизил к себе. Что, ежели бы он приблизил меня к себе! О, как бы я охранял его, как бы я говорил ему всю правду, как бы я изобличал его обманщиков!» И Ростов, для того чтобы живо представить себе свою любовь и преданность государю, представлял себе врага или обманщика-немца, которого он с наслаждением не только убивал, но по щекам бил в глазах государя. Вдруг дальний крик разбудил Ростова. Он вздрогнул и открыл глаза.

«Где я? Да, в цепи; лозунг и пароль — дышло, Ольмюц. Экая досада, что завтра эскадрон наш будет в резервах... — подумал он.— Попрошусь в дело. Это, может быть, единственный случай увидать государя. Да, теперь недолго до смены. Объеду еще раз и, как вернусь, пойду

к генералу и попрошу его». Он поправился на седле и тронул лошадь, чтобы еще раз объехать своих гусар. Ему показалось, что было светлей. В левой стороне виднелся пологий освещенный скат и противоположный черный бугор, казавшийся крутым, как стена. На бугре этом было белое пятно, которого никак не мог понять Ростов: поляна ли это в лесу, освещенная месяцем, или оставшийся снег, или белые дома? Ему показалось даже, что по этому белому пятну зашевелилось что-то. «Должно быть, снег — это пятно; пятно — une tache, — думал Ростов. — Вот тебе и не *таш...*»

«Наташа, сестра, черные глаза. На... ташка... (Вот удивится, когда ей скажу, как я увидал государя!) Наташку... ташку возьми...» — «Поправей-то, ваше благородие, а то тут кусты», — сказал голос гусара, мимо которого, засыпая, проезжал Ростов. Ростов вдруг поднял голову, которая опустилась уже до гривы лошади, и остановился подле гусара. Молодой детский сон непреодолимо клонил его. «Да, бишь, что я думал? — не забыть. Как с государем говорить буду? Нет, не то — это завтра. Да, да! На ташку, наступить... тупить нас — кого? Гусаров. А гусары и усы... По Тверской ехал этот гусар с усами, еще я подумал о нем, против самого Гурьева дома... Старик Гурьев... Эх, славный малый Денисов! Да, все это пустяки. Главное теперь — государь тут. Как он на меня смотрел, и хотелось ему что-то сказать, да он не смел... Нет, это я не смел. Да это пустяки, а главное — не забывать, что я нужное-то думал, да. На — ташку, нас — тупить, да, да, да. Это хорошо». И он опять упал головой на шею лошади. Вдруг ему показалось, что в него стреляют. «Что? Что? Что!.. Руби! Что?..» — заговорил, очнувшись, Ростов. В то мгновение, как он открыл глаза, Ростов услыхал перед собой, там, где был неприятель, протяжные крики тысячи голосов. Лошади его и гусара, стоявшего подле него, насторожили уши на эти крики. На том месте, с которого слышались крики, зажегся и потух один огонек, потом другой, и по всей линии французских войск на горе зажглись огни, и крики все более и более усиливались. Ростов слышал звуки французских слов, но не мог их разобрать. Слишком много гудело голосов. Только и слышно было: аааа! и рррр!

— Что это? Ты как думаешь? — обратился Ростов к гусару, стоявшему подле него. — Ведь это у неприятеля?

Гусар ничего не ответил.

— Что ж, ты разве не слышишь? — довольно долго подождав ответа, опять спросил Ростов.

— А кто ё знает, ваше благородие,— неохотно отвечал гусар.

— По месту, должно быть, неприятель? — опять повторил Ростов.

— Може, он, а може, и так,— проговорил гусар,— дело ночное. Ну! шали! — крикнул он на свою лошадь, шевелившуюся под ним.

Лошадь Ростова тоже торопилась, била ногой по мерзлой земле, прислушиваясь к звукам и приглядываясь к огням. Крики голосов всё усиливались и усиливались и слились в общий гул, который могла произвести только несколькотысячная армия. Огни больше и больше распространялись, вероятно, по линии французского лагеря. Ростову уже не хотелось спать. Веселые, торжествующие крики в неприятельской армии возбудительно действовали на него. «Vive l'empereur, l'empereur!» [1] — уже ясно слышалось теперь Ростову.

— А недалеко,— должно быть, за ручьем,— сказал он стоявшему подле него гусару.

Гусар только вздохнул, ничего не отвечая, и прокашлялся сердито. По линии гусар послышался топот ехавшего рысью конного, и из ночного тумана вдруг выросла, представляясь громадным слоном, фигура гусарского унтер-офицера.

— Ваше благородие, генералы! — сказал унтер-офицер, подъезжая к Ростову.

Ростов, продолжая оглядываться на огни и крики, поехал с унтер-офицером навстречу нескольким верховым, ехавшим по линии. Один был на белой лошади. Князь Багратион с князем Долгоруковым и адъютантами выехали посмотреть на странное явление огней и криков в неприятельской армии. Ростов, подъехав к Багратиону, рапортовал ему и присоединился к адъютантам, прислушиваясь к тому, что говорили генералы.

— Поверьте,— говорил князь Долгоруков, обращаясь к Багратиону, — что это больше ничего как хитрость: он отступил и в ариергарде велел зажечь огни и шуметь, чтоб обмануть нас.

— Едва ли,— сказал Багратион,— с вечера я их видел на том бугре; коли ушли, так и оттуда снялись. Господин

[1] Виват император, император!

офицер, — обратился князь Багратион к Ростову, — стоят там еще его фланкёры?

— С вечера стояли. А теперь не могу знать, ваше сиятельство. Прикажите, я съезжу с гусарами,— сказал Ростов.

Багратион остановился и, не отвечая, в тумане старался разглядеть лицо Ростова.

— А что ж, съездите,— сказал он, помолчав немного.

— Слушаю-с.

Ростов дал шпоры лошади, окликнул унтер-офицера Федченку и еще двух гусар, приказал им ехать за собою и рысью поехал под гору по направлению к все продолжавшимся крикам. Ростову и жутко и весело было ехать одному с тремя гусарами туда, в эту таинственную и опасную туманную даль, где никто не был прежде его. Багратион закричал ему с горы, чтобы он не ездил дальше ручья, но Ростов сделал вид, как будто не слыхал его слов, и, не останавливаясь, ехал дальше и дальше, беспрестанно обманываясь, принимая кусты за деревья и рытвины за людей и беспрестанно объясняя свои обманы. Спустившись рысью под гору, он уже не видал ни наших, ни неприятельских огней, но громче, яснее слышал крики французов. В лощине он увидал перед собой что-то вроде реки, но когда он доехал до нее, он узнал проезженную дорогу. Выехав на дорогу, он придержал лошадь в нерешительности: ехать по ней или пересечь ее и ехать по черному полю в гору. Ехать по светлевшей в тумане дороге было безопаснее, потому что скорее можно было рассмотреть людей. «Пошел за мной»,— проговорил он, пересек дорогу и стал подниматься галопом на гору, к тому месту, где с вечера стояли французские пикеты.

— Ваше благородие, вот он! — проговорил сзади один из гусар.

И не успел еще Ростов разглядеть что-то, вдруг зачерневшееся в тумане, как блеснул огонек, щелкнул выстрел, и пуля, как будто жалуясь на что-то, зажужжала высоко в тумане и вылетела из слуха. Другое ружье не выстрелило, но блеснул огонек на полке. Ростов повернул лошадь и галопом поехал назад. Еще раздались в разных промежутках четыре выстрела, и на разные тоны запели пули где-то в тумане. Ростов придержал лошадь, повеселевшую так же, как и он, от выстрелов, и поехал шагом. «Ну-ка еще, ну-ка еще!» — говорил в его душе какой-то веселый голос. Но выстрелов больше не было.

Только подъезжая к Багратиону, Ростов опять пустил свою лошадь в галоп и, держа руку у козырька, подъехал к нему.

Долгоруков все настаивал на своем мнении, что французы отступили и только для того, чтобы обмануть нас, разложили огни.

— Что же это доказывает? — говорил он в то время, как Ростов подъехал к ним.— Они могли отступить и оставить пикеты.

— Видно, еще не все ушли, князь,— сказал Багратион.— До завтрашнего утра, завтра всё узнаем.

— На горе пикет, ваше сиятельство, все там же, где был с вечера,— доложил Ростов, нагибаясь вперед, держа руку у козырька и не в силах удержать улыбку веселья, вызванного в нем его поездкой и, главное, звуками пуль.

— Хорошо, хорошо,— сказал Багратион,— благодарю вас, господин офицер.

— Ваше сиятельство,— сказал Ростов,— позвольте вас просить.

— Что такое?

— Завтра эскадрон наш назначен в резервы; позвольте вас просить прикомандировать меня к первому эскадрону.

— Как фамилия?

— Граф Ростов.

— А, хорошо. Оставайся при мне ординарцем.

— Ильи Андреича сын? — сказал Долгоруков.

Но Ростов не отвечал ему.

— Так я буду надеяться, ваше сиятельство.

— Я прикажу.

«Завтра, очень может быть, пошлют с каким-нибудь приказанием к государю,— подумал он.— Слава богу!»

Крики и огни в неприятельской армии происходили оттого, что в то время, как по войскам читали приказ Наполеона, сам император верхом объезжал свои бивуаки. Солдаты, увидав императора, зажигали пуки соломы и с криками «vive l'empereur!» бежали за ним. Приказ Наполеона был следующий:

«Солдаты! Русская армия выходит против вас, чтобы отмстить за австрийскую, ульмскую армию. Это те же батальоны, которые вы разбили при Голлабрунне и которые вы с тех пор преследовали постоянно до этого места.

Позиции, которые мы занимаем,— могущественны, и пока они будут идти, чтоб обойти меня справа, они выставят мне фланг! Солдаты! Я сам буду руководить вашими батальонами. Я буду держаться далеко от огня, если вы, с вашей обычной храбростью, внесете в ряды неприятельские беспорядок и смятение; но если победа будет хоть одну минуту сомнительна, вы увидите вашего императора, подвергающегося первым ударам неприятеля, потому что не может быть колебания в победе, особенно в тот день, в который идет речь о чести французской пехоты, которая так необходима для чести своей нации.

Под предлогом увода раненых не расстраивать ряда! Каждый да будет вполне проникнут мыслию, что надо победить этих наемников Англии, воодушевленных такою ненавистью против нашей нации. Эта победа окончит наш поход, и мы можем возвратиться на зимние квартиры, где застанут нас новые французские войска, которые формируются во Франции; и тогда мир, который я заключу, будет достоин моего народа, вас и меня.

Наполеон».

XIV

В пять часов утра еще было совсем темно. Войска центра, резервов и правый фланг Багратиона стояли еще неподвижно, но на левом фланге колонны пехоты, кавалерии и артиллерии, долженствовавшие первые спуститься с высот, для того чтобы атаковать французский правый фланг и отбросить его, по диспозиции, в Богемские горы, уже зашевелились и начали подниматься с своих ночлегов. Дым от костров, в которые бросали все лишнее, ел глаза. Было холодно и темно. Офицеры торопливо пили чай и завтракали, солдаты пережевывали сухари, отбивали ногами дробь, согреваясь, и стекались против огней, бросая в дрова остатки балаганов, стулья, столы, колеса, кадушки, все лишнее, что нельзя было увезти с собою. Австрийские колонновожатые сновали между русскими войсками и служили предвестниками выступления. Как только показывался австрийский офицер около стоянки полкового командира, полк начинал шевелиться: солдаты сбегались от костров, прятали в голенища трубочки, мешочки в повозки, разбирали ружья и строились. Офицеры застегивались, надевали шпаги и ранцы и, покрикивая,

обходили ряды; обозные и денщики запрягали, укладывали и увязывали повозки. Адъютанты, батальонные и полковые командиры садились верхами, крестились, отдавали последние приказания, наставления и поручения остающимся обозным, и звучал однообразный топот тысячей ног. Колонны двигались, не зная куда и не видя от окружавших людей, от дыма и от усиливающегося тумана ни той местности, из которой они выходили, ни той, в которую они вступали.

Солдат в движении так же окружен, ограничен и влеком своим полком, как моряк кораблем, на котором он находится. Как бы далеко он ни прошел, в какие бы странные, неведомые и опасные широты ни вступил он, вокруг него — как для моряка всегда и везде те же палубы, мачты, канаты своего корабля — всегда и везде те же товарищи, те же ряды, тот же фельдфебель Иван Митрич, та же ротная собака Жучка, то же начальство. Солдат редко желает знать те широты, в которых находится весь корабль его; но в день сражения, бог знает как и откуда, в нравственном мире войска слышится одна для всех строгая нота, которая звучит приближением чего-то решительного и торжественного и вызывает их на несвойственное им любопытство. Солдаты в дни сражений возбужденно стараются выйти из интересов своего полка, прислушиваются, приглядываются и жадно расспрашивают о том, что делается вокруг них.

Туман стал так силен, что, несмотря на то, что рассветало, не видно было в десяти шагах перед собою. Кусты казались громадными деревьями, ровные места — обрывами и скатами. Везде, со всех сторон, можно было столкнуться с невидимым в десяти шагах неприятелем. Но долго шли колонны всё в том же тумане, спускаясь и поднимаясь на горы, минуя сады и ограды, по новой, непонятной местности, нигде не сталкиваясь с неприятелем. Напротив того, то впереди, то сзади, со всех сторон, солдаты узнавали, что идут по тому же направлению наши русские колонны. Каждому солдату приятно становилось на душе оттого, что он знал, что туда же, куда он идет, то есть неизвестно куда, идет еще много, много наших.

— Ишь ты, и курские прошли,— говорили в рядах.

— Страсть, братец ты мой, что войски нашей собралось! Вечор посмотрел, как огни разложили, конца-краю не видать. Москва — одно слово!

Хотя никто из колонных начальников не подъезжал к рядам и не говорил с солдатами (колонные начальники, как мы видели на военном совете, были не в духе и недовольны предпринимаемым делом и потому только исполняли приказания и не заботились о том, чтобы повеселить солдат), несмотря на то, солдаты шли весело, как и всегда идя в дело, в особенности в наступательное. Но, пройдя около часу всё в густом тумане, большая часть войска должна была остановиться, и по рядам пронеслось неприятное сознание совершающегося беспорядка и бестолковщины. Каким образом передается это сознание, весьма трудно определить; но несомненно то, что оно передается необыкновенно верно и быстро разливается, незаметно и неудержимо, как вода по лощине. Ежели бы русское войско было одно, без союзников, то, может быть, еще прошло бы много времени, пока это сознание беспорядка сделалось бы общею уверенностью; но теперь, с особенным удовольствием и естественностью относя причину беспорядков к бестолковым немцам, все убедились в том, что происходит вредная путаница, которую наделали колбасники.

— Что стали-то? Аль загородили? Или уж на француза наткнулись?

— Нет, не слыхать. А то палить бы стал.

— То-то торопили выступать, а выступили — стали без толку посереди поля,— всё немцы проклятые путают. Эки черти бестолковые!

— То-то я бы их и пустил наперед. А то небось позади жмутся. Вот и стой теперь не емши.

— Да что, скоро ли там? Кавалерия, говорят, дорогу загородила,— говорил офицер.

— Эх, немцы проклятые, своей земли не знают! — говорил другой.

— Вы какой дивизии? — кричал, подъезжая, адъютант.

— Осьмнадцатой.

— Так зачем же вы здесь? вам давно бы впереди должно быть, теперь до вечера не пройдете. Вот распоряжения-то дурацкие; сами не знают, что делают,— говорил офицер и отъезжал.

Потом проезжал генерал и сердито не по-русски кричал что-то.

— Тафа-лафа, а что бормочет, ничего не разберешь,— говорил солдат, передразнивая отъехавшего генерала.— Расстрелял бы я их, подлецов!

— В девятом часу велено на месте быть, а мы и половины не прошли. Вот так распоряжения! — повторялось с разных сторон.

И чувство энергии, с которым выступали в дело войска, начало обращаться в досаду и в злобу на бестолковые распоряжения и на немцев.

Причина путаницы заключалась в том, что во время движения австрийской кавалерии, шедшей на левом фланге, высшее начальство нашло, что наш центр слишком отдален от правого фланга, и всей кавалерии велено было перейти на правую сторону. Несколько тысяч кавалерии продвигалось перед пехотой, и пехота должна была ждать.

Впереди произошло столкновение между австрийским колонновожатым и русским генералом. Русский генерал кричал, требуя, чтобы остановлена была конница; австриец доказывал, что виноват был не он, а высшее начальство. Войска между тем стояли, скучая и падая духом. После часовой задержки войска двинулись, наконец, дальше и стали спускаться под гору. Туман, расходившийся на горе, только гуще расстилался в низах, куда спустились войска. Впереди, в тумане, раздался один, другой выстрел, сначала нескладно, в разных промежутках: трат-та... тат, а потом все складнее и чаще, и завязалось дело над речкою Гольдбахом.

Не рассчитывая встретить внизу над речкою неприятеля и нечаянно в тумане наткнувшись на него, не слыша сло́ва одушевления от высших начальников, с распространившимся по войскам сознанием, что было опоздано, и, главное, в густом тумане не видя ничего впереди и кругом себя, русские лениво и медленно перестреливались с неприятелем, подвигались вперед и опять останавливались, не получая вовремя приказаний от начальников и адъютантов, которые блудили по туману в незнакомой местности, не находя своих частей войск. Так началось дело для первой, второй и третьей колонны, которые спустились вниз. Четвертая колонна, при которой находился сам Кутузов, стояла на Праценских высотах.

В низах, где началось дело, был все еще густой туман, наверху прояснело, но все не видно было ничего из того, что происходило впереди. Были ли все силы неприятеля, как мы предполагали, за десять верст от нас, или он был тут, в этой черте тумана,— никто не знал до девятого часа.

Было девять часов утра. Туман сплошным морем расстилался понизу, но при деревне Шлапанице, на высоте, на которой стоял Наполеон, окруженный своими маршалами, было совершенно светло. Над ним было ясное голубое небо, и огромный шар солнца, как огромный пустотелый багровый поплавок, колыхался на поверхности молочного моря тумана. Не только все французские войска, но сам Наполеон со штабом находился не по ту сторону ручьев и низов деревень Сокольниц и Шлапаниц, за которыми мы намеревались занять позицию и начать дело, но по сю сторону, так близко от наших войск, что Наполеон простым глазом мог в нашем войске отличать конного от пешего. Наполеон стоял несколько впереди своих маршалов на маленькой серой арабской лошади, в синей шинели, в той самой, в которой он делал итальянскую кампанию. Он молча вглядывался в холмы, которые как бы выступали из моря тумана и по которым вдалеке двигались русские войска, и прислушивался к звукам стрельбы в лощине. В то время еще худое лицо его не шевелилось ни одним мускулом; блестящие глаза были неподвижно устремлены на одно место. Его предположения оказались верными. Русские войска частью уже спустились в лощину к прудам и озерам, частью очищали те Праценские высоты, которые он намерен был атаковать и считал ключом позиции. Он видел среди тумана, как в углублении, составляемом двумя горами около деревни Прац, все по одному направлению к лощинам двигались, блестя штыками, русские колонны и одна за другою скрывались в море тумана. По сведениям, полученным им с вечера, по звукам колес и шагов, слышанным ночью на аванпостах, по беспорядочности движения русских колонн, по всем предположениям он ясно видел, что союзники считали его далеко впереди себя, что колонны, двигавшиеся близ Працена, составляли центр русской армии и что центр уже достаточно ослаблен для того, чтобы успешно атаковать его. Но он все еще не начинал дела.

Нынче был для него торжественный день — годовщина его коронования. Перед утром он задремал на несколько часов и, здоровый, веселый, свежий, в том счастливом расположении духа, в котором все кажется возможным и все удается, сел на лошадь и выехал в поле. Он стоял неподвижно, глядя на виднеющиеся из-за тумана высоты, и на холодном лице его был тот особый оттенок самоуверенного, заслуженного счастья, который бывает на лице

влюбленного и счастливого мальчика. Маршалы стояли позади его и не смели развлекать его внимание. Он смотрел то на Праценские высоты, то на выплывавшее из тумана солнце.

Когда солнце совершенно вышло из тумана и ослепляющим блеском брызнуло по полям и туману (как будто он только ждал этого для начала дела), он снял перчатку с красивой белой руки, сделал ею знак маршалам и отдал приказание начинать дело. Маршалы, сопутствуемые адъютантами, поскакали в разные стороны, и через несколько минут быстро двинулись главные силы французской армии к тем Праценским высотам, которые все более и более очищались русскими войсками, спускавшимися налево в лощину.

XV

В восемь часов Кутузов выехал верхом к Працу, впереди четвертой милорадовичевской колонны, той, которая должна была занять места колонн Пржебышевского и Ланжерона, спустившихся уже вниз. Он поздоровался с людьми переднего полка и отдал приказание к движению, показывая тем, что он сам намерен был вести эту колонну. Выехав к деревне Прац, он остановился. Князь Андрей, в числе огромного количества лиц, составлявших свиту главнокомандующего, стоял позади его. Князь Андрей чувствовал себя взволнованным, раздраженным и вместе с тем сдержанно спокойным, каким бывает человек при наступлении давно желанной минуты. Он твердо был уверен, что нынче был день его Тулона или его Аркольского моста. Как это случится, он не знал, но он твердо был уверен, что это будет. Местность и положение наших войск были ему известны, насколько они могли быть известны кому-нибудь из нашей армии. Его собственный стратегический план, который, очевидно, теперь и думать нечего было привести в исполнение, был им забыт. Теперь, уже входя в план Вейротера, князь Андрей обдумывал могущие произойти случайности и делал новые соображения, такие, в которых могли бы потребоваться его быстрота соображения и решительность.

Налево внизу, в тумане, слышалась перестрелка между невидными войсками. Там, казалось князю Андрею, сосредоточится сражение, там встретится препятствие, и «туда-то я буду послан,— думал он,— с бригадой или

дивизией, и там-то со знаменем в руке я пойду вперед и сломлю все, что будет предо мной».

Князь Андрей не мог равнодушно смотреть на знамена проходивших батальонов. Глядя на знамя, ему все думалось: может быть, это то самое знамя, с которым мне придется идти впереди войск.

Ночной туман к утру оставил на высотах только иней, переходивший в росу, в лощинах же туман расстилался еще молочно-белым морем. Ничего не было видно в той лощине налево, куда спустились наши войска и откуда долетали звуки стрельбы. Над высотами было темное ясное небо, и направо — огромный шар солнца. Впереди, далеко, на том берегу туманного моря, виднелись выступающие лесистые холмы, на которых должна была быть неприятельская армия, и виднелось что-то. Вправо вступала в область тумана гвардия, звучавшая топотом и колесами и изредка блестевшая штыками; налево, за деревней, такие же массы кавалерии подходили и скрывались в море тумана. Спереди и сзади двигалась пехота. Главнокомандующий стоял на выезде деревни, пропуская мимо себя войска. Кутузов в это утро казался изнуренным и раздражительным. Шедшая мимо его пехота остановилась без приказания, очевидно потому, что впереди что-нибудь задержало ее.

— Да скажите же, наконец, чтобы строились в батальонные колонны и шли в обход деревни,— сердито сказал Кутузов подъехавшему генералу.— Как же вы не поймете, ваше превосходительство, милостивый государь, что растянуться по этому дефилею улицы деревни нельзя, когда мы идем против неприятеля.

— Я предполагал построиться за деревней, ваше высокопревосходительство,— отвечал генерал.

Кутузов желчно засмеялся.

— Хороши вы будете, развертывая фронт в виду неприятеля, очень хороши!

— Неприятель еще далеко, ваше высокопревосходительство. По диспозиции...

— Диспозиция,— желчно вскрикнул Кутузов,— а это вам кто сказал?.. Извольте делать, что вам приказывают.

— Слушаюсь-с!

— Mon cher,— сказал шепотом князю Андрею Несвицкий,— le vieux est d'une humeur de chien [1].

---

[1] Ну, любезный, старик сильно не в духе.

К Кутузову подскакал австрийский офицер с зеленым плюмажем на шляпе, в белом мундире и спросил от имени императора: выступила ли в дело четвертая колонна.

Кутузов, не отвечая ему, отвернулся, и взгляд его нечаянно попал на князя Андрея, стоявшего подле него. Увидав Болконского, Кутузов смягчил злое и едкое выражение взгляда, как бы сознавая, что его адъютант не был виноват в том, что делалось. И, не отвечая австрийскому адъютанту, он обратился к Болконскому:

— Allez voir, mon cher, si la troisième division a dépassé le village. Dites-lui de s'arrêter et d'attendre mes ordres [1].

Только что князь Андрей отъехал, он остановил его.

— Et demandez-lui, si les tirailleurs sont postés,— прибавил он. — Ce qu'ils font, ce qu'ils font! [2] — проговорил он про себя, все не отвечая австрийцу.

Князь Андрей поскакал исполнять поручение.

Обогнав все шедшие впереди батальоны, он остановил третью дивизию и убедился, что действительно впереди наших колонн не было стрелковой цепи. Полковой командир бывшего впереди полка был очень удивлен переданным ему от главнокомандующего приказанием рассыпать стрелков. Полковой командир стоял тут в полной уверенности, что впереди его есть еще войска и что неприятель не может быть ближе десяти верст. Действительно, впереди ничего не было видно, кроме пустынной местности, склоняющейся вперед и застланной густым туманом. Приказав от имени главнокомандующего исполнить упущенное, князь Андрей поскакал назад. Кутузов стоял все на том же месте и, старчески опустившись на седле своим тучным телом, тяжело зевал, закрывши глаза. Войска уже не двигались, а стояли ружья к ноге.

— Хорошо, хорошо,— сказал он князю Андрею и обратился к генералу, который с часами в руках говорил, что пора бы двигаться, так как все колонны с левого фланга уже спустились.

— Еще успеем, ваше превосходительство,— сквозь зевоту проговорил Кутузов.— Успеем! — повторил он.

В это время позади Кутузова послышались вдали звуки здоровающихся полков, и голоса эти стали быстро

---

[1] Ступайте, мой милый, посмотрите, прошла ли третья дивизия через деревню. Велите ей остановиться и ждать моего приказания.

[2] И спросите, поставлены ли застрельщики. Что делают, что делают!

приближаться по всему протяжению растянувшейся линии наступавших русских колонн. Видно было, что тот, с кем здоровались, ехал скоро. Когда закричали солдаты того полка, перед которым стоял Кутузов, он отъехал несколько в сторону и, сморщившись, оглянулся. По дороге из Працена скакал как бы эскадрон разноцветных всадников. Два из них крупным галопом скакали рядом впереди остальных. Один был в черном мундире с белым султаном, на рыжей энглизированной лошади, другой в белом мундире, на вороной лошади. Это были два императора со свитой. Кутузов, с аффектацией служаки, находящегося во фронте, скомандовал «смирно» стоявшим войскам и, салютуя, подъехал к императору. Вся его фигура и манера вдруг изменились. Он принял вид подначальственного, нерассуждающего человека. Он с аффектацией почтительности, которая, очевидно, неприятно поразила императора Александра, подъехал и салютовал ему.

Неприятное впечатление, только как остатки тумана на ясном небе, пробежало по молодому и счастливому лицу императора и исчезло. Он был, после нездоровья, несколько худее в этот день, чем на Ольмюцком поле, где его в первый раз за границей видел Болконский; но то же обворожительное соединение величавости и кротости было в его прекрасных серых глазах, и на тонких губах та же возможность разнообразных выражений и преобладающее выражение благодушной, невинной молодости.

На ольмюцком смотру он был величавее, здесь он был веселее и энергичнее. Он несколько разрумянился, прогалопировав эти три версты, и, остановив лошадь, отдохновенно вздохнул и оглянулся на такие же молодые, такие же оживленные, как и его, лица своей свиты. Чарторижский и Новосильцев, и князь Волконский и Строганов, и другие, все богато одетые, веселые молодые люди, на прекрасных, выхоленных, свежих, только что слегка вспотевших лошадях, переговариваясь и улыбаясь, остановились позади государя. Император Франц, румяный длиннолицый молодой человек, чрезвычайно прямо сидел на красивом вороном жеребце и озабоченно и неторопливо оглядывался вокруг себя. Он подозвал одного из своих белых адъютантов и спросил что-то. «Верно, в котором часу они выехали»,— подумал князь Андрей, наблюдая своего старого знакомого, с улыбкой, которой он не мог удержать, вспоминая свою аудиенцию. В свите императо-

ров были отобранные молодцы-ординарцы, русские и австрийские, гвардейских и армейских полков. Между ними велись берейторами в расшитых попонах красивые запасные царские лошади.

Как будто через растворенное окно вдруг пахнуло свежим полевым воздухом в душную комнату, так пахнуло на невеселый кутузовский штаб молодостью, энергией и уверенностью в успехе от этой прискакавшей блестящей молодежи.

— Что же вы не начинаете, Михаил Ларионович? — поспешно обратился император Александр к Кутузову, в то же время учтиво взглянув на императора Франца.

— Я поджидаю, ваше величество, — отвечал Кутузов, почтительно наклоняясь вперед.

Император пригнул ухо, слегка нахмурясь и показывая, что он не расслышал.

— Поджидаю, ваше величество,— повторил Кутузов (князь Андрей заметил, что у Кутузова неестественно дрогнула верхняя губа, в то время как он говорил это «поджидаю»).— Не все колонны еще собрались, ваше величество.

Государь расслышал, но ответ этот, видимо, не понравился ему; он пожал сутуловатыми плечами, взглянул на Новосильцева, стоявшего подле, как будто взглядом этим жалуясь на Кутузова.

— Ведь мы не на Царицыном Лугу, Михаил Ларионович, где не начинают парада, пока не придут все полки,— сказал государь, снова взглянув в глаза императору Францу, как бы приглашая его если не принять участие, то прислушаться к тому, что он говорит; но император Франц, продолжая оглядываться, не слушал.

— Потому и не начинаю, государь,— сказал звучным голосом Кутузов, как бы предупреждая возможность не быть расслышанным, и в лице его еще раз что-то дрогнуло. — Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном Лугу,— выговорил он ясно и отчетливо.

В свите государя на всех лицах, мгновенно переглянувшихся друг с другом, выразился ропот и упрек. «Как он ни стар, он не должен бы, никак не должен бы говорить этак»,— выразили эти лица.

Государь пристально и внимательно посмотрел в глаза Кутузову, ожидая, не скажет ли он еще чего. Но Кутузов с своей стороны, почтительно нагнув голову,

тоже, казалось, ожидал. Молчание продолжалось около минуты.

— Впрочем, если прикажете, ваше величество,— сказал Кутузов, поднимая голову и снова изменяя тон на прежний тон тупого, нерассуждающего, но повинующегося генерала.

Он тронул лошадь и, подозвав к себе начальника колонны Милорадовича, передал ему приказание к наступлению.

Войско опять зашевелилось, и два батальона Новгородского полка и батальон Апшеронского полка тронулись вперед мимо государя.

В то время как проходил этот Апшеронский батальон, румяный Милорадович, без шинели, в мундире и орденах и со шляпой с огромным султаном, надетой набекрень и с поля, марш-марш выскакал вперед и, молодецки салютуя, осадил лошадь перед государем.

— С богом, генерал,— сказал ему государь.

— Ma foi, sire, nous ferons ce que qui sera dans notre possibilité, sire! [1] — отвечал он весело, тем не менее вызывая насмешливую улыбку у господ свиты государя своим дурным французским выговором.

Милорадович круто повернул свою лошадь и стал несколько позади государя. Апшеронцы, возбуждаемые присутствием государя, молодецким бойким шагом отбивая ногу, проходили мимо императоров и их свиты.

— Ребята! — крикнул громким, самоуверенным и веселым голосом Милорадович, видимо, до такой степени возбужденный звуками стрельбы, ожиданием сражения и видом молодцов-апшеронцев, еще своих суворовских товарищей, бойко проходивших мимо императоров, что забыл о присутствии государя.— Ребята, вам не первую деревню брать! — крикнул он.

— Рады стараться! — прокричали солдаты.

Лошадь государя шарахнулась от неожиданного крика. Лошадь эта, носившая государя еще на смотрах в России, здесь, на Аустерлицком поле, несла своего седока, выдерживая его рассеянные удары левой ногой, настораживала уши от звуков выстрелов точно так же, как она делала это на Марсовом Поле, не понимая значения ни этих слышавшихся выстрелов, ни соседства вороного жеребца

---

[1] Ваше величество, мы сделаем все, что будет возможно сделать, ваше величество.

императора Франца, ни всего того, что говорил, думал, чувствовал в этот день тот, кто ехал на ней.

Государь с улыбкой обратился к одному из своих приближенных, указывая на молодцов-апшеронцев, и что-то сказал ему.

XVI

Кутузов, сопутствуемый своими адъютантами, поехал шагом за карабинерами.

Проехав с полверсты в хвосте колонны, он остановился у одинокого заброшенного дома (вероятно, бывшего трактира) подле разветвления двух дорог. Обе дороги спускались под гору, и по обеим шли войска.

Туман начинал расходиться, и неопределенно, верстах в двух расстояния, виднелись уже неприятельские войска на противоположных возвышенностях. Налево внизу стрельба становилась слышнее. Кутузов остановился, разговаривая с австрийским генералом. Князь Андрей, стоя несколько позади, вглядывался в них и, желая попросить зрительную трубу у адъютанта, обратился к нему.

— Посмотрите, посмотрите,— говорил этот адъютант, глядя не на дальние войска, а вниз по горе перед собой.— Это французы!

Два генерала и адъютанты стали хвататься за трубу, вырывая ее один у другого. Все лица вдруг изменились, и на всех выразился ужас. Французов предполагали за две версты от нас, а они явились вдруг неожиданно перед нами.

— Это неприятель?.. Нет!.. Да, смотрите, он... наверное... Что ж это? — послышались голоса.

Князь Андрей простым глазом увидал внизу направо поднимавшуюся навстречу апшеронцам густую колонну французов, не дальше пятисот шагов от того места, где стоял Кутузов.

«Вот она, наступила решительная минута! Дошло до меня дело»,— подумал князь Андрей и, ударив лошадь, подъехал к Кутузову.

— Надо остановить апшеронцев,— закричал он,— ваше высокопревосходительство!

Но в тот же миг все застлалось дымом, раздалась близкая стрельба, и наивно испуганный голос в двух шагах от князя Андрея закричал: «Ну, братцы, шабаш!»

И как будто голос этот был команда. По этому голосу все бросились бежать.

Смешанные, все увеличивающиеся толпы бежали назад к тому месту, где пять минут тому назад войска проходили мимо императоров. Не только трудно было остановить эту толпу, но невозможно было самим не податься назад вместе с толпой. Болконский только старался не отставать от Кутузова и оглядывался, недоумевая и не в силах понять того, что делалось перед ним. Несвицкий, с озлобленным видом, красный и на себя не похожий, кричал Кутузову, что, ежели он не уедет сейчас, он будет взят в плен наверное. Кутузов стоял на том же месте и, не отвечая, доставал платок. Из щеки его текла кровь. Князь Андрей протеснился до него.

— Вы ранены? — спросил он, едва удерживая дрожание нижней челюсти.

— Рана не здесь, а вот где! — сказал Кутузов, прижимая платок к раненой щеке и указывая на бегущих.

— Остановите же их! — крикнул он и в то же время, вероятно, убедясь, что невозможно было их остановить, ударил лошадь и поехал вправо.

Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад.

Войска бежали такою густою толпою, что, раз попавши в середину толпы, трудно было из нее выбраться. Кто кричал: «Пошел, что замешкался?» Кто тут же, оборачиваясь, стрелял в воздух; кто бил лошадь, на которой ехал сам Кутузов. С величайшим усилием выбравшись из потока толпы влево, Кутузов со свитой, уменьшенной более чем вдвое, поехал на звуки близких орудийных выстрелов. Выбравшись из толпы бегущих, князь Андрей, стараясь не отставать от Кутузова, увидал на спуске горы, в дыму, еще стрелявшую русскую батарею и подбегающих к ней французов. Повыше стояла русская пехота, не двигаясь ни вперед на помощь батарее, ни назад по одному направлению с бегущими. Генерал верхом отделился от этой пехоты и подъехал к Кутузову. Из свиты Кутузова осталось только четыре человека. Все были бледны и молча переглядывались.

— Остановите этих мерзавцев! — задыхаясь, проговорил Кутузов полковому командиру, указывая на бегущих; но в то же мгновение, как будто в наказание за эти слова, как рой птичек, со свистом пролетели пули по полку и свите Кутузова.

Французы атаковали батарею и, увидав Кутузова, выстрелили по нем. С этим залпом полковой командир схватился за ногу; упало несколько солдат, и подпрапорщик, стоявший с знаменем, выпустил его из рук; знамя зашаталось и упало, задержавшись на ружьях соседних солдат. Солдаты без команды стали стрелять.

— О-оох! — с выражением отчаяния промычал Кутузов и оглянулся.— Болконский,— прошептал он дрожащим от сознания своего старческого бессилия голосом. — Болконский,— прошептал он, указывая на расстроенный батальон и на неприятеля,— что ж это?

Но прежде чем он договорил это слово, князь Андрей, чувствуя слезы стыда и злобы, подступавшие ему к горлу, уже соскакивал с лошади и бежал к знамени.

— Ребята, вперед! — крикнул он детски-пронзительно.

«Вот оно!» — думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно направленных именно против него. Несколько солдат упало.

— Ура! — закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним.

И действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком «ура!» побежал вперед и обогнал его. Унтер-офицер батальона, подбежав, взял колебавшееся от тяжести в руках князя Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал с батальоном. Впереди себя он видел наших артиллеристов, из которых одни дрались, другие бросали пушки и бежали к нему навстречу; он видел и французских пехотных солдат, которые хватали артиллерийских лошадей и поворачивали пушки. Князь Андрей с батальоном уже был в двадцати шагах от орудий. Он слышал над собою неперестававший свист пуль, и беспрестанно справа и слева от него охали и падали солдаты. Но он не смотрел на них; он вглядывался только в то, что происходило впереди его — на батарее. Он ясно видел уже одну фигуру рыжего артиллериста с сбитым набок кивером, тянущего с одной стороны банник, тогда как французский солдат тянул банник к себе за другую сторону. Князь Андрей видел уже ясно растерянное и вместе озлобленное выражение лиц этих двух людей, видимо, не понимавших того, что они делали.

«Что они делают? — думал князь Андрей, глядя на них.— Зачем не бежит рыжий артиллерист, когда у него нет оружия? Зачем не колет его француз? Не успеет добежать, как француз вспомнит о ружье и заколет его».

Действительно, другой француз, с ружьем наперевес, подбежал к борющимся, и участь рыжего артиллериста, все еще не понимавшего того, что ожидает его, и с торжеством выдернувшего банник, должна была решиться. Но князь Андрей не видал, чем это кончилось. Как бы со всего размаха крепкою палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову. Немного это больно было, а главное, неприятно, потому что боль эта развлекала его и мешала ему видеть то, на что он смотрел.

«Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются», — подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба,— высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал,— подумал князь Андрей,— не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист,— совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу!..»

XVII

На правом фланге у Багратиона в девять часов дело еще не начиналось. Не желая согласиться на требование Долгорукова начинать дело и желая отклонить от себя ответственность, князь Багратион предложил Долгорукову послать спросить о том главнокомандующего. Багратион знал, что, по расстоянию почти десяти верст, отделявшему один фланг от другого, ежели не убьют того, кого пошлют (что было очень вероятно), и ежели он даже найдет глав-

нокомандующего, что было весьма трудно, посланный не успеет вернуться раньше вечера.

Багратион оглянул свою свиту своими большими, ничего не выражающими, невыспавшимися глазами, и невольно замиравшее от волнения и надежды детское лицо Ростова первое бросилось ему в глаза. Он послал его.

— А ежели я встречу его величество прежде, чем главнокомандующего, ваше сиятельство? — сказал Ростов, держа руку у козырька.

— Можете передать его величеству,— поспешно перебивая Багратиона, сказал Долгоруков.

Сменившись из цепи, Ростов успел соснуть несколько часов перед утром и чувствовал себя веселым, смелым, решительным, с тою упругостью движений, уверенностью в свое счастие и в том расположении духа, в котором все кажется легко, весело и возможно.

Все желания его исполнялись в это утро: давалось генеральное сражение, он участвовал в нем; мало того, он был ординарцем при храбрейшем генерале; мало того, он ехал с поручением к Кутузову, а может быть, и к самому государю. Утро было ясное, лошадь под ним была добрая. На душе его было радостно и счастливо. Получив приказание, он пустил лошадь и поскакал вдоль по линии. Сначала он ехал по линии Багратионовых войск, еще не вступавших в дело и стоявших неподвижно; потом он въехал в пространство, занимаемое кавалерией Уварова, и здесь заметил уже передвижения и признаки приготовлений к делу; проехав кавалерию Уварова, он уже ясно услыхал звуки пушечной и орудийной стрельбы впереди себя. Стрельба все усиливалась.

В свежем утреннем воздухе раздавались уже, не как прежде — в неравные промежутки, по два, по три выстрела и потом один или два орудийных выстрела,— а по скатам гор, впереди Працена, слышались перекаты ружейной пальбы, перебиваемой такими частыми выстрелами из орудий, что иногда несколько пушечных выстрелов уже не отделялись друг от друга, а сливались в один общий гул.

Видно было, как по скатам дымки ружей как будто бегали, догоняя друг друга, и как дымы орудий клубились, расплывались и сливались одни с другими. Видны были, по блеску штыков между дымом, двигавшиеся массы пехоты и узкие полосы артиллерии с зелеными ящиками.

Ростов на пригорке остановил на минуту лошадь, чтобы рассмотреть то, что делалось; но как он ни напрягал внимание, он ничего не мог ни понять, ни разобрать из того, что делалось: двигались там в дыму какие-то люди, двигались и спереди и сзади какие-то холсты войск; но зачем? кто? куда? — нельзя было понять. Вид этот и звуки эти не только не возбуждали в нем какого-нибудь унылого или робкого чувства, но, напротив, придавали ему энергии и решительности.

«Ну, еще, еще наддай!» — обращался он мысленно к этим звукам и опять пустился скакать по линии, всё дальше и дальше проникая в область войск, уже вступивших в дело.

«Уж как это там будет, не знаю, а все будет хорошо!» — думал Ростов.

Проехав какие-то австрийские войска, Ростов заметил, что следующая за тем часть линии (это была гвардия) уже вступила в дело.

«Тем лучше! посмотрю вблизи», — подумал он.

Он ехал почти по передней линии. Несколько всадников скакали по направлению к нему. Это были наши лейб-уланы, которые расстроенными рядами возвращались из атаки. Ростов миновал их, заметил невольно одного из них в крови и поскакал дальше.

«Мне до этого дела нет!» — подумал он. Не успел он проехать нескольких сот шагов после этого, как влево от него, наперерез ему, показалась на всем протяжении поля огромная масса кавалеристов на вороных лошадях, в белых блестящих мундирах, которые рысью шли прямо на него. Ростов пустил лошадь во весь скок, для того чтоб уехать с дороги от этих кавалеристов, и он бы уехал от них, ежели бы они шли все тем же аллюром, но они все прибавляли хода, так что некоторые лошади уже скакали. Ростову все слышнее и слышнее становился их топот и бряцание их оружия и виднее становились их лошади, фигуры и даже лица. Это были наши кавалергарды, шедшие в атаку на французскую кавалерию, подвигавшуюся им навстречу.

Кавалергарды скакали, но еще удерживая лошадей. Ростов уже видел их лица и услышал команду: «Марш, марш!», произнесенную офицером, выпустившим во весь мах свою кровную лошадь. Ростов, опасаясь быть раздавленным или завлеченным в атаку на французов, скакал

вдоль фронта, что было мочи у его лошади, и все-таки не успел миновать их.

Крайний кавалергард, огромный ростом рябой мужчина, злобно нахмурился, увидав перед собой Ростова, с которым он неминуемо должен был столкнуться. Этот кавалергард непременно сбил бы с ног Ростова с его Бедуином (Ростов сам себе казался таким маленьким и слабеньким в сравнении с этими громадными людьми и лошадьми), ежели бы он не догадался взмахнуть нагайкой в глаза кавалергардовой лошади. Вороная тяжелая пятивершковая лошадь шарахнулась, приложив уши; но рябой кавалергард всадил ей с размаху в бока огромные шпоры, и лошадь, взмахнув хвостом и вытянув шею, понеслась еще быстрее. Едва кавалергарды миновали Ростова, как он услыхал их крик: «Ура!» — и, оглянувшись, увидал, что передние ряды их смешивались с чужими, вероятно, французскими кавалеристами в красных эполетах. Дальше нельзя было ничего видеть, потому что тотчас же после этого откуда-то стали стрелять пушки и все застлалось дымом.

В ту минуту как кавалергарды, миновав его, скрылись в дыму, Ростов колебался, скакать ли ему за ними или ехать туда, куда ему нужно было. Это была та блестящая атака кавалергардов, которой удивлялись сами французы. Ростову страшно было слышать потом, что из всей этой массы огромных красавцев людей, из всех этих блестящих, на тысячных лошадях, богачей, юношей, офицеров и юнкеров, проскакавших мимо его, после атаки осталось только осьмнадцать человек.

«Что мне завидовать, мое не уйдет, и я сейчас, может быть, увижу государя!» — подумал Ростов и поскакал дальше.

Поравнявшись с гвардейской пехотой, он заметил, что чрез нее и около нее летали ядры, не столько потому, что он слышал звук ядер, сколько потому, что на лицах солдат он увидал беспокойство и на лицах офицеров — неестественную воинственную торжественность.

Проезжая позади одной из линий пехотных гвардейских полков, он услыхал голос, называвший его по имени.

— Ростов!

— Что? — откликнулся он, не узнавая Бориса.

— Каково, в первую линию попали! Наш полк в атаку ходил! — сказал Борис, улыбаясь той счастливой улыбкой,

которая бывает у молодых людей, в первый раз побывавших в огне.

Ростов остановился.

— Вот как! — сказал он.— Ну что?

— Отбили! — оживленно сказал Борис, сделавшийся болтливым.— Ты можешь себе представить?

И Борис стал рассказывать, каким образом гвардия, ставши на место и увидав перед собой войска, приняла их за австрийцев и вдруг по ядрам, пущенным из этих войск, узнала, что она в первой линии, и неожиданно должна была вступить в дело. Ростов, не дослушав Бориса, тронул свою лошадь.

— Ты куда? — спросил Борис.

— К его величеству с поручением.

— Вот он! — сказал Борис, которому послышалось, что Ростову нужно было «его высочество» вместо «его величества».

И он указал ему на великого князя, который в ста шагах от них, в каске и в кавалергардском колете, с своими поднятыми плечами и нахмуренными бровями, что-то кричал австрийскому белому и бледному офицеру.

— Да ведь это великий князь, а мне к главнокомандующему или к государю,— сказал Ростов и тронул было лошадь.

— Граф, граф! — кричал Берг, такой же оживленный, как и Борис, подбегая с другой стороны.— Граф, я в правую руку ранен (говорил он, показывая кисть руки, окровавленную, обвязанную носовым платком) и остался во фронте. Граф, держу шпагу в левой руке: в нашей породе фон Бергов, граф, все были рыцари.

Берг еще что-то говорил, но Ростов, не дослушав его, уже поехал дальше.

Проехав гвардию и пустой промежуток, Ростов, для того чтобы не попасть опять в первую линию, как он попал под атаку кавалергардов, поехал по линии резервов, далеко объезжая то место, где слышалась самая жаркая стрельба и канонада. Вдруг впереди себя и позади наших войск, в таком месте, где он никак не мог предполагать неприятеля, он услыхал близкую ружейную стрельбу.

«Что это может быть? — подумал Ростов.— Неприятель в тылу наших войск? Не может быть,— подумал Ростов, и ужас страха за себя и за исход всего сражения вдруг нашел на него.— Что бы это ни было, однако,—

подумал он,— теперь уже нечего объезжать. Я должен искать главнокомандующего здесь, и ежели все погибло, то и мое дело погибнуть со всеми вместе».

Дурное предчувствие, нашедшее вдруг на Ростова, подтверждалось все более и более, чем дальше он въезжал в занятое толпами разнородных войск пространство, находящееся за деревнею Працем.

— Что такое? Что такое? По ком стреляют? Кто стреляет? — спрашивал Ростов, равняясь с русскими и австрийскими солдатами, бежавшими перемешанными толпами наперерез его дороги.

— А черт их знает! Всех побил! Пропадай всё! — отвечали ему по-русски, по-немецки и по-чешски толпы бегущих и не понимавших точно так же, как и он, того, что тут делалось.

— Бей немцев! — кричал один.

— А черт их дери! — изменников.

— Zum Henker diese Russen!.. [1] — что-то ворчал немец.

Несколько раненых шли по дороге. Ругательства, крики, стоны сливались в один общий гул. Стрельба затихла, и, как потом узнал Ростов, стреляли друг в друга русские и австрийские солдаты.

«Боже мой! Что ж это такое? — думал Ростов.— И здесь, где всякую минуту государь может увидать их!.. Но нет, это, верно, только несколько мерзавцев. Это пройдет, это не то, это не может быть,— думал он.— Только поскорее, поскорее проехать их!»

Мысль о поражении и бегстве не могла прийти в голову Ростову. Хотя он и видел французские орудия и войска именно на Праценской горе, на той самой, где ему велено было отыскивать главнокомандующего, он не мог и не хотел верить этому.

XVIII

Около деревни Праца Ростову велено было искать Кутузова и государя. Но здесь не только не было их, но не было ни одного начальника, а были разнородные толпы расстроенных войск. Он погонял уставшую уже лошадь, чтобы скорее проехать эти толпы, но чем дальше он подвигался, тем толпы становились расстроеннее. По

---

[1] К черту этих русских!.. *(нем.)*

большой дороге, на которую он выехал, толпились коляски, экипажи всех сортов, русские и австрийские солдаты всех родов войск, раненые и нераненые. Все это гудело и смешанно копошилось под мрачный звук летавших ядер с французских батарей, поставленных на Праценских высотах.

— Где государь? Где Кутузов? — спрашивал Ростов у всех, кого мог остановить, и ни от кого не мог получить ответа.

Наконец, ухватив за воротник солдата, он заставил его ответить себе.

— Э, брат! Уж давно все там, вперед удрали! — сказал Ростову солдат, смеясь чему-то и вырываясь.

Оставив этого солдата, который, очевидно, был пьян, Ростов остановил лошадь денщика или берейтора важного лица и стал расспрашивать его. Денщик объявил Ростову, что государя с час тому назад провезли во весь дух в карете по этой самой дороге и что государь опасно ранен.

— Не может быть,— сказал Ростов,— верно, другой кто.

— Сам я видел,— сказал денщик с самоуверенной усмешкой.— Уж мне-то пора знать государя: кажется, сколько раз в Петербурге вот так-то видал. Бледный-пребледный в карете сидит. Четверню вороных как припустит, батюшки мои, мимо нас прогремел: пора, кажется, и царских лошадей, и Илью Иваныча знать; кажется, с другим, как с царем, Илья-кучер не ездит.

Ростов пустил его лошадь и хотел ехать дальше. Шедший мимо раненый офицер обратился к нему.

— Да вам кого нужно? — спросил офицер. — Главнокомандующего? Так убит ядром, в грудь убит при нашем полку.

— Не убит, ранен,— поправил другой офицер.

— Да кто? Кутузов? — спросил Ростов.

— Не Кутузов, а как бишь его,— ну, да все одно, живых не много осталось. Вон туда ступайте, вон к той деревне, там все начальство собралось,— сказал этот офицер, указывая на деревню Гостиерадек, и прошел мимо.

Ростов ехал шагом, не зная, зачем и к кому он теперь поедет. Государь ранен, сражение проиграно. Нельзя было не верить этому теперь. Ростов ехал по тому направлению, которое ему указали и по которому виднелись вдалеке башня и церковь. Куда ему было торопиться? Что

ему было теперь говорить государю или Кутузову, ежели бы даже они и были живы и не ранены?

— Этою дорогой, ваше благородие, поезжайте, а тут прямо убьют,— закричал ему солдат.— Тут убьют!

— О! что говоришь! — сказал другой.— Куда он поедет? Тут ближе.

Ростов задумался и поехал именно по тому направлению, где ему говорили, что убьют.

«Теперь все равно! Уж ежели государь ранен, неужели мне беречь себя?» — думал он. Он въехал в то пространство, на котором более всего погибло людей, бегущих с Працена. Французы еще не занимали этого места, а русские, те, которые были живы или ранены, давно оставили его. На поле, как копны на хорошей пашне, лежало человек десять — пятнадцать убитых, раненых на каждой десятине места. Раненые сползались по два, по три вместе, и слышались неприятные, иногда притворные, как казалось Ростову, их крики и стоны. Ростов пустил лошадь рысью, чтобы не видать всех этих страдающих людей, и ему стало страшно. Он боялся не за свою жизнь, а за то мужество, которое ему нужно было и которое, он знал, не выдержит вида этих несчастных.

Французы, переставшие стрелять по этому усеянному мертвыми и ранеными полю, потому что уже никого на нем живого не было, увидав едущего по нем адъютанта, навели на него орудие и бросили несколько ядер. Чувство этих свистящих, страшных звуков и окружающие мертвецы слились для Ростова в одно впечатление ужаса и сожаления к себе. Ему вспомнилось последнее письмо матери. «Что бы она почувствовала,— подумал он,— коль бы она видела меня теперь здесь, на этом поле, и с направленными на меня орудиями?»

В деревне Гостиерадеке были хотя и спутанные, но в бо́льшем порядке русские войска, шедшие прочь с поля сражения. Сюда уже не доставали французские ядра, и звуки стрельбы казались далекими. Здесь все уже ясно видели и говорили, что сражение проиграно. К кому ни обращался Ростов, никто не мог сказать ему, ни где был государь, ни где был Кутузов. Одни говорили, что слух о ране государя справедлив, другие говорили, что нет, и объясняли этот ложный распространившийся слух тем, что действительно в карете государя проскакал назад с поля сражения бледный и испуганный обер-гофмаршал граф Толстой, выехавший с другими в свите императора

на поле сражения. Один офицер сказал Ростову, что за деревней налево он видел кого-то из высшего начальства, и Ростов поехал туда, уж не надеясь найти кого-нибудь, но для того только, чтобы перед самим собою очистить свою совесть. Проехав версты три и миновав последние русские войска, Ростов увидал около огорода, окопанного канавой, двух стоявших против канавы всадников. Один, с белым султаном на шляпе, показался почему-то знакомым Ростову; другой, незнакомый всадник, на прекрасной рыжей лошади (лошадь эта показалась знакомою Ростову), подъехал к канаве, толкнул лошадь шпорами и, выпустив поводья, легко перепрыгнул через канаву огорода. Только земля осыпалась с насыпи от задних копыт лошади. Круто повернув лошадь, он опять назад перепрыгнул канаву и почтительно обратился к всаднику с белым султаном, очевидно, предлагая ему сделать то же. Всадник, которого фигура, показавшись знакома Ростову, почему-то невольно приковала к себе его внимание, сделал отрицательный жест головой и рукой, и по этому жесту Ростов мгновенно узнал своего оплакиваемого обожаемого государя.

«Но это не мог быть он, один посреди этого пустого поля», — подумал Ростов. В это время Александр повернул голову, и Ростов увидал так живо врезавшиеся в его памяти любимые черты. Государь был бледен, щеки его впали и глаза ввалились; но тем больше прелести, кротости было в его чертах. Ростов был счастлив, убедившись в том, что слух о ране государя был несправедлив. Он был счастлив, что видел его. Он знал, что мог, даже должен был прямо обратиться к нему и передать то, что приказано было ему передать от Долгорукова.

Но как влюбленный юноша дрожит и млеет, не смея сказать того, о чем он мечтает ночи, и испуганно оглядывается, ища помощи или возможности отсрочки и бегства, когда наступила желанная минута и он стоит наедине с ней, так и Ростов теперь, достигнув того, чего он желал больше всего на свете, не знал, как подступить к государю, и ему представлялись тысячи соображений, почему это было неудобно, неприлично и невозможно.

«Как! Я как будто рад случаю воспользоваться тем, что он один и в унынии. Ему неприятно и тяжело может показаться неизвестное лицо в эту минуту печали, и потом, что я могу сказать ему теперь, когда при одном взгляде на него у меня замирает сердце и пересыхает

во рту?» Ни одна из тех бесчисленных речей, которые он, обращая к государю, слагал в своем воображении, не приходила ему теперь в голову. Те речи большею частию держались совсем при других условиях, те говорились большею частию в минуты побед и торжеств и преимущественно на смертном одре от полученных ран, в то время как государь благодарил его за геройские поступки и он, умирая, высказывал ему подтвержденную на деле любовь свою.

«Потом, что же я буду спрашивать государя об его приказаниях на правый фланг, когда уже теперь четвертый час вечера и сражение проиграно? Нет, решительно я не должен подъезжать к нему, не должен нарушать его задумчивость. Лучше умереть тысячу раз, чем получить от него дурной взгляд, дурное мнение»,— решил Ростов и с грустью и с отчаянием в сердце поехал прочь, беспрестанно оглядываясь на все еще стоявшего в том же положении нерешительности государя.

В то время как Ростов делал эти соображения и печально отъезжал от государя, капитан фон Толь случайно наехал на то же место и, увидав государя, прямо подъехал к нему, предложил ему свои услуги и помог перейти пешком через канаву. Государь, желая отдохнуть и чувствуя себя нездоровым, сел под яблочное дерево, и Толь остановился подле него. Ростов издалека с завистью и раскаянием видел, как фон Толь что-то долго и с жаром говорил государю, как государь, видимо, заплакав, закрыл глаза рукой и пожал руку Толю.

«И это я мог бы быть на его месте!» — подумал про себя Ростов и, едва удерживая слезы сожаления об участи государя, в совершенном отчаянии поехал дальше, не зная, куда и зачем он теперь едет.

Его отчаяние было тем сильнее, что он чувствовал, что его собственная слабость была причиной его горя.

Он мог бы... не только мог бы, но он должен был подъехать к государю. И это был единственный случай показать государю свою преданность. И он не воспользовался им... «Что я наделал?» — подумал он. И он повернул лошадь и поскакал назад к тому месту, где видел императора; но никого уже не было за канавой. Только ехали повозки и экипажи. От одного фурмана Ростов узнал, что кутузовский штаб находится неподалеку в деревне, куда шли обозы. Ростов поехал за ними.

Впереди его шел берейтор Кутузова, ведя лошадей

в попонах. За берейтором ехала повозка, и за повозкой шел старик дворовый, в картузе, полушубке и с кривыми ногами.

— Тит, а Тит! — сказал берейтор.

— Чего? — рассеянно отвечал старик.

— Тит! Ступай молотить.

— Э, дурак, тьфу! — сердито плюнув, сказал старик. Прошло несколько времени молчаливого движения, и повторилась опять та же шутка.

В пятом часу вечера сражение было проиграно на всех пунктах. Более ста орудий находилось уже во власти французов.

Пржебышевский с своим корпусом положил оружие. Другие колонны, растеряв около половины людей, отступали расстроенными, перемешанными толпами.

Остатки войск Ланжерона и Дохтурова, смешавшись, теснились около прудов на плотинах и берегах у деревни Аугеста.

В шестом часу только у плотины Аугеста еще слышалась жаркая канонада одних французов, выстроивших многочисленные батареи на спуске Праценских высот и бивших по нашим отступающим войскам.

В ариергарде Дохтуров и другие, собирая батальоны, отстреливались от французской кавалерии, преследовавшей наших. Начинало смеркаться. На узкой плотине Аугеста, на которой столько лет мирно сиживал в колпаке старичок мельник с удочками, в то время как внук его, засучив рукава рубашки, перебирал в лейке серебряную трепещущую рыбу; на этой плотине, по которой столько лет мирно проезжали на своих парных возах, нагруженных пшеницей, в мохнатых шапках и синих куртках моравы и уезжали по той же плотине запыленные мукой, с белыми возами,— на этой узкой плотине теперь между фурами и пушками, под лошадьми и между колес толпились обезображенные страхом смерти люди, давя друг друга, умирая, шагая через умирающих и убивая друг друга для того только, чтобы, пройдя несколько шагов, быть точно так же убитыми.

Каждые десять секунд, нагнетая воздух, шлепало ядро или разрывалась граната в средине этой густой толпы, убивая и обрызгивая кровью тех, которые стояли близко. Долохов, раненный в руку, пешком, с десятком солдат

своей роты (он был уже офицер), и его полковой командир, верхом, представляли из себя остатки всего полка. Влекомые толпой, они втеснились во вход к плотине и, сжатые со всех сторон, остановились, потому что впереди упала лошадь под пушкой и толпа вытаскивала ее. Одно ядро убило кого-то сзади их, другое ударилось впереди и забрызгало кровью Долохова. Толпа отчаянно надвинулась, сжалась, тронулась несколько шагов и опять остановилась.

«Пройти эти сто шагов — и, наверное, спасен; простоять еще две минуты — и погиб, наверное», — думал каждый.

Долохов, стоявший в середине толпы, рванулся к краю плотины, сбив с ног двух солдат, и сбежал на склизкий лед, покрывший пруд.

— Сворачивай! — закричал он, подпрыгивая по льду, который трещал под ним,— сворачивай! — кричал он на орудие.— Держит!..

Лед держал его, но гнулся и трещал, и очевидно было, что не только под орудием или толпой народа, но под ним одним он сейчас рухнется. На него смотрели и жались к берегу, не решаясь еще ступить на лед. Командир полка, стоявший верхом у въезда, поднял руку и раскрыл рот, обращаясь к Долохову. Вдруг одно из ядер так низко засвистело над толпой, что все нагнулись. Что-то шлепнулось в мокрое, и генерал упал с лошадью в лужу крови. Никто не взглянул на генерала, не только не подумал поднять его.

— Пошел на лед! пошел по льду! Пошел! вороти! Аль не слышишь! Пошел! — вдруг после ядра, попавшего в генерала, послышались бесчисленные голоса, сами не зная, что и зачем кричавшие.

Одно из задних орудий, вступавшее на плотину, своротило на лед. Толпы солдат с плотины стали сбегать на замерзший пруд. Под одним из передних солдат треснул лед, и одна нога ушла в воду; он хотел оправиться и провалился по пояс. Ближайшие солдаты замялись, орудийный ездовой остановил свою лошадь, но сзади все еще слышались крики: «Пошел на лед, что стал, пошел! пошел!» И крики ужаса послышались в толпе. Солдаты, окружавшие орудие, махали на лошадей и били их, чтоб они сворачивали и подвигались. Лошади тронулись с берега. Лед, державший пеших, рухнулся огромным

куском, и человек сорок, бывших на льду, бросились кто вперед, кто назад, потопляя один другого.

Ядра все так же равномерно свистели и шлепались на лед, в воду и чаще всего в толпу, покрывавшую плотину, пруды и берег.

XIX

На Праценской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном.

К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове.

«Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидал нынче? — было первою его мыслью.— И страдания этого я не знал также,— подумал он.— Да, я ничего, ничего не знал до сих пор. Но где я?»

Он стал прислушиваться и услыхал звуки приближающегося топота лошадей и звуки голосов, говоривших по-французски. Он раскрыл глаза. Над ним было опять все то же высокое небо с еще выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которые виднелась синеющая бесконечность. Он не поворачивал головы и не видал тех, которые, судя по звуку копыт и голосов, подъехали к нему и остановились.

Подъехавшие верховые были Наполеон, сопутствуемый двумя адъютантами. Бонапарте, объезжая поле сражения, отдавал последние приказания об усилении батарей, стреляющих по плотине Аугеста, и рассматривал убитых и раненых, оставшихся на поле сражения.

— De beaux hommes! [1] — сказал Наполеон, глядя на убитого русского гренадера, который с уткнутым в землю лицом и почернелым затылком лежал на животе, откинув далеко одну уже закоченевшую руку.

— Les munitions des pièces de position sont épuisées, sire! [2] — сказал в это время адъютант, приехавший с батарей, стрелявших по Аугесту.

---

[1] Славный народ!

[2] Батарейных зарядов больше нет, ваше величество!

— Faites avancer celles de la réserve [1], — сказал Наполеон, и, отъехав несколько шагов, он остановился над князем Андреем, лежавшим навзничь с брошенным подле него древком знамени (знамя уже, как трофей, было взято французами).

— Voilà une belle mort [2], — сказал Наполеон, глядя на Болконского.

Князь Андрей понял, что это было сказано о нем и что говорит это Наполеон. Он слышал, как называли sire [3] того, кто сказал эти слова. Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. Он не только не интересовался ими, но он и не заметил, а тотчас же забыл их. Ему жгло голову; он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собою далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками. Ему было совершенно все равно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорил о нем; он рад был только тому, что остановились над ним люди, и желал только, чтоб эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасною, потому что он так иначе понимал ее теперь. Он собрал все свои силы, чтобы пошевелиться и произвести какой-нибудь звук. Он слабо пошевелил ногою и произвел самого его разжалобивший, слабый, болезненный стон.

— А! он жив,— сказал Наполеон.— Поднять этого молодого человека, ce jeune homme, и снести на перевязочный пункт!

Сказав это, Наполеон поехал дальше навстречу к маршалу Ланну, который, сняв шляпу, улыбаясь и поздравляя с победой, подъезжал к императору.

Князь Андрей не помнил ничего дальше: он потерял сознание от страшной боли, которую причинили ему укладывание на носилки, толчки во время движения и сондирование раны на перевязочном пункте. Он очнулся уже только в конце дня, когда его, соединив с другими русскими ранеными и пленными офицерами, понесли

---

[1] Велите привезти из резервов.
[2] Вот прекрасная смерть.
[3] Ваше величество.

в госпиталь. На этом передвижении он чувствовал себя несколько свежее и мог оглядываться и даже говорить.

Первые слова, которые он услыхал, когда очнулся,— были слова французского конвойного офицера, который поспешно говорил:

— Надо здесь остановиться: император сейчас проедет; ему доставит удовольствие видеть этих пленных господ.

— Нынче так много пленных, чуть не вся русская армия, что ему, вероятно, это наскучило,— сказал другой офицер.

— Ну, однако! Этот, говорят, командир всей гвардии императора Александра,— сказал первый, указывая на раненого русского офицера в белом кавалергардском мундире.

Болконский узнал князя Репнина, которого он встречал в петербургском свете. Рядом с ним стоял другой, девятнадцатилетний мальчик, тоже раненый кавалергардский офицер.

Бонапарте, подъехав галопом, остановил лошадь.

— Кто старший? — сказал он, увидав пленных.

Назвали полковника, князя Репнина.

— Вы командир кавалергардского полка императора Александра? — спросил Наполеон.

— Я командовал эскадроном,— отвечал Репнин.

— Ваш полк честно исполнил долг свой,— сказал Наполеон.

— Похвала великого полководца есть лучшая награда солдату,— сказал Репнин.

— С удовольствием отдаю ее вам,— сказал Наполеон.— Кто этот молодой человек подле вас?

Князь Репнин назвал поручика Сухтелена.

Посмотрев на него, Наполеон сказал, улыбаясь:

— Il est venu bien jeune se frotter à nous [1].

— Молодость не мешает быть храбрым,— проговорил обрывающимся голосом Сухтелен.

— Прекрасный ответ,— сказал Наполеон,— молодой человек, вы далеко пойдете!

Князь Андрей, для полноты трофея пленников выставленный также вперед, на глаза императору, не мог не привлечь его внимания. Наполеон, видимо, вспомнил, что он видел его на поле, и, обращаясь к нему, употребил то самое наименование молодого человека — jeune homme,

---

[1] Молод же он сунулся биться с нами.

под которым Болконский в первый раз отразился в его памяти.

— Et vous, jeune homme? Ну, а вы, молодой человек? — обратился он к нему.— Как вы себя чувствуете, mon brave?

Несмотря на то, что за пять минут перед этим князь Андрей мог сказать несколько слов солдатам, переносившим его, он теперь, прямо устремив свои глаза на Наполеона, молчал... Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял,— что он не мог отвечать ему.

Да и все казалось так бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и величественным строем мысли, который вызывали в нем ослабление сил от истекшей крови, страдание и близкое ожидание смерти. Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих.

Император, не дождавшись ответа, отвернулся и, отъезжая, обратился к одному из начальников:

— Пусть позаботятся об этих господах и свезут их в мой бивуак; пускай мой доктор Ларрей осмотрит их раны. До свидания, князь Репнин.— И он, тронув лошадь, галопом поехал дальше.

На лице его было сиянье самодовольства и счастия.

Солдаты, принесшие князя Андрея и снявшие с него попавшийся им золотой образок, навешенный на брата княжною Марьею, увидав ласковость, с которою обращался император с пленными, поспешили возвратить образок.

Князь Андрей не видал, кто и как надел его опять, но на груди его сверх мундира вдруг очутился образок на мелкой золотой цепочке.

«Хорошо бы это было,— подумал князь Андрей, взглянув на этот образок, который с таким чувством и благоговением навесила на него сестра,— хорошо бы это было, ежели бы все было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье. Как хорошо бы было знать, где искать помощи в этой жизни и чего ждать после нее там, за гробом! Как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог

сказать теперь: господи, помилуй меня!.. Но кому я скажу это? Или сила — неопределенная, непостижимая, к которой я не только не могу обращаться, но которой не могу выразить словами,— великое все или ничего,— говорил он сам себе,— или это тот бог, который вот здесь зашит, в этой ладанке, княжной Марьей? Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего!»

Носилки тронулись. При каждом толчке он опять чувствовал невыносимую боль; лихорадочное состояние усиливалось, и он начинал бредить. Те мечтания об отце, жене, сестре и будущем сыне и нежность, которую он испытывал в ночь накануне сражения, фигура маленького, ничтожного Наполеона и над всем этим высокое небо — составляли главное основание его горячечных представлений.

Тихая жизнь и спокойное семейное счастие в Лысых Горах представлялись ему. Он уже наслаждался этим счастием, когда вдруг являлся маленький Наполеон с своим безучастным, ограниченным и счастливым от несчастия других взглядом, и начинались сомнения, муки, и только небо обещало успокоение. К утру все мечтания смешались и слились в хаос и мрак беспамятства и забвения, которые гораздо вероятнее, по мнению самого Ларрея, доктора Наполеонова, должны были разрешиться смертью, чем выздоровлением.

— C'est un sujet nerveux et bilieux,— сказал Ларрей,— il n'en rechappera pas [1].

Князь Андрей, в числе других безнадежных раненых, был сдан на попечение жителей.

[1] Это субъект нервный и желчный, — он не выздоровеет.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 7. *...Генуя и Лукка поместья фамилии Бонапарте.* — В 1797 году, после своего первого Итальянского похода, Наполеон образовал из Генуи Лигурийскую республику, а в 1805 году присоединил ее к Франции. Лукка была захвачена французами в 1799 году, но вошла вначале в состав формально независимой Итальянской республики. В 1805 году Лукка стала центром образованного Наполеоном княжества, отданного им сестре Элизе.

...все ужасы этого Антихриста (право, я верю, что он Антихрист)... — Эти слова имеют реальное основание. В одном из посланий Синода (в период первых войн России с Наполеоном) Наполеон был объявлен антихристом.

Стр. 8. *...депеши Новосильцева?* — В 1804—1805 годах против наполеоновской Франции создавалась коалиция европейских держав, в которую должны были войти Англия, Россия, Австрия, Пруссия, Швеция и Неаполитанское королевство. Переговоры с Англией со стороны России вел в начале 1805 года Н. Н. Новосильцев, крупный сановник, состоявший в первые годы царствования Александра при нем «по особым поручениям». Наполеон, узнав о планах коалиции, неожиданно предложил Англии мир. Англия просила Александра I быть посредником в переговорах с Францией, и тот послал в Париж Новосильцева. Приехав 15 июня 1805 года в Берлин, Новосильцев узнал о захвате Наполеоном Генуи и Лукки, о чем депешей сообщил Александру I. Дожидаясь подтверждения дипломатических полномочий, Новосильцев в Париж не поехал. Мир между Англией и Францией заключен не был. Осенью 1805 года началась война Наполеона против Австрии и России.

Стр. 9. *...не говорите мне про Австрию!.. Она предает нас.* — Австрия, в отличие от России, не решилась, как и все германские государства, открыто протестовать против нарушения Наполеоном неприкосновенности баденской территории и убийства герцога Энгиенского (см. прим. к стр. 17). Памятны были сепаратные действия Австрии в предшествующих войнах России. Во время русско-турецкой войны 1787—1791 годов Австрия стремилась заключить

сепаратный мир с турками; в 1799 году, после блестящих побед Суворова в Италии над французскими войсками, действия австрийского командования привели к расторжению военного союза России с Австрией.

Она отказалась очистить Мальту. — Остров Мальта, с XVI века принадлежавший рыцарскому ордену иоаннитов, в 1798 году был захвачен Наполеоном, а в 1800 году — Англией. По Амьенскому договору 1802 года Англия обязалась освободить Мальту. В марте 1803 года Наполеон потребовал очищения Мальты, Англия отказалась. Россия пыталась уладить конфликт, предлагая занять Мальту русским гарнизоном. Посредничество России было отвергнуто.

Пруссия уже объявила, что Бонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него... не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. — Пруссия, со страхом наблюдавшая, как быстро расправляется «непобедимый» Наполеон с западногерманскими и южногерма́нскими княжествами, подчиняя их или устанавливая их вассальную зависимость от Франции, медлила вступать в коалицию против Бонапарта и держала нейтралитет. Отправляя в августе 1805 года русские войска в Австрию, Александр I дал даже приказ пройти через прусские владения без разрешения и при сопротивлении действовать против прусских войск как против неприятеля. К.-А. Гарденберг был в 1805 году прусским министром иностранных дел и придерживался антифранцузской ориентации; Х.-А. Гаугвиц, бывший министр, был крупным дипломатом пронаполеоновского курса.

Стр. 9—10. *...послали вместо... Винценгероде... согласие прусского короля.* — Ф. Ф. Винценгероде с 1797 года был генералом русской армии. В мае 1805 года Александр I послал его в Пруссию и в Австрию с планом общих действий антинаполеоновской коалиции; предполагалось, что Пруссию удастся уговорить войти в этот союз. В августе Австрия присоединилась к англо-русской союзной конвенции, Пруссия продолжала держать нейтралитет.

Стр. 10. *...виконт Мортемар, он в родстве с Монморанси чрез Роганов.* — Монморанси и Роганы — старинные французские дворянские фамилии.

Стр. 11. *Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви.* — Швейцарский писатель, автор «Физиономики» И.-К. Лафатер (1741—1801) устанавливал связь между характером и способностями человека и строением его головы. В конце XVIII — начале XIX века теория Лафатера была в Европе очень популярной. В 1801—1806 годах его труд, с иллюстрациями, был издан в трех томах на французском языке. На русском языке отрывки из книги Лафатера вышли в 1817 году.

Стр. 12. *...известный князь Болконский, отставленный еще при*

покойном императоре и прозванный прусским королем. — В образе старого князя Болконского воплотились многие черты деда Л. Н. Толстого по матери Н. С. Волконского. Толстой писал о нем впоследствии в «Воспоминаниях»: «Про деда я знаю то, что, достигнув высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине, он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт». За это он «был назначен воеводой в Архангельск, где пробыл, кажется, до воцарения Павла, когда вышел в отставку и... поселился в полученном от своего отца Сергея Федоровича имении Ясной Поляне» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90 т., т. 34, с. 351 [1]). «Прусским королем» старый Болконский, видимо, был прозван за упрямое подражание во внешности (напудренный парик, кафтан, коса) и манерах прусскому королю Фридриху II.

Стр. 13. *...в шифре...* — Шифр — вензель, составленный из инициалов царя или царицы. Шифр носили фрейлины императорского двора.

Стр. 15. *...его план вечного мира...* — Прототипом аббата Морио явился итальянский аббат Сципион Пьятоли. Одно время он был воспитателем князя А. А. Чарторыйского, который в начале царствования Александра I стал близким советником царя, а в 1804—1806 годах министром иностранных дел. Это открыло аббату доступ в великосветские салоны. Проект вечного мира Пьятоли, основанный на «экилибре сил», то есть на «равновесии сил» — путем создания антинаполеоновского европейского союза, — заинтересовал Петербург, так как в осуществлении его видная роль отводилась России.

В черновиках «Войны и мира» аббат Пьятоли назван по имени: «В Петербурге жил в то время известный изгнанник Abbé Piatoli» и охарактеризован как «философ и политик, привезший в Петербург проект совершенно нового политического устройства Европы, которое, как сказывали, он уже имел счастие через кн. Адама Чарторыйского представлять молодому императору» (т. 13, с. 176, 186).

Стр. 17. *...об убиении герцога Энгиенского.* — Луи-Антуан де Бурбон-Конде, герцог Энгиенский (1772—1804), принц французского королевского дома, после революции 1789 года жил в эмиграции, в баденском городке Эттенгейме. Он не имел никакого отношения к заговору против Наполеона, раскрытому в Париже в 1804 году. Желая отомстить Бурбонам, причастным к заговору, Наполеон, исходя, по его словам, из требований «государственных интересов», распорядился арестовать герцога. В ночь с 14 на 15 марта 1804 года герцог был захвачен вторгшимися на территорию Бадена француз-

[1] В дальнейшем ссылки на это издание даются лишь с указанием тома и страницы.

скими драгунами. По приговору военного суда, не утруждавшего себя доказательствами виновности, герцог был расстрелян. Александр I протестовал особой нотой против убийства герцога (из европейских государств одна Швеция присоединилась к этому протесту).

Стр. 18. *...бальною робой, убранною плющом и мохом...* — Пышное парадное платье, украшенное плоскими пуговицами и мягкими, тонкими махрами.

Стр. 19. *...ездил в Париж для свидания с m-lle George...* — Маргарита Жозефина Жорж (1786—1867) — известная французская драматическая актриса. Рассказ о поездке Энгиенского в Париж принадлежит к анекдотам.

Стр. 23. *...обратиться к Румянцеву, через князя Голицына...* — Граф Н. П. Румянцев (1754—1826) — крупный государственный деятель, близкий к царю; князь А. Н. Голицын (1773—1844) — с 1803 года обер-прокурор синода.

Стр. 24. *...осаждают Кутузова с тех пор, как он назначен главнокомандующим.* — Летом 1805 года Кутузов, находившийся до того в отставке и опале (Александр I сместил его в 1802 году с должности петербургского военного губернатора), был назначен главнокомандующим 50-тысячной русской армией, двинувшейся в Австрию для войны с Наполеоном.

...комедию коронации в Милане... — Столица Ломбардии Милан была занята Наполеоном в 1796 году и затем снова в 1800 году, когда он, вернувшись из Египетского похода, уничтожил плоды суворовских побед в Северной Италии. Став в 1804 году императором Франции, Наполеон в 1805 году объявил себя королем Италии и 28 мая короновался в Милане.

Стр. 25. *...что они сделали для Людовика XVI, для королевы, для Елизаветы?* — Людовик XVI и Мария-Антуанетта были казнены, по приговору Конвента, в 1793 году; сестра Людовика XVI, Елизавета, — в 1794 году.

...герб Конде. — Конде — одна из ветвей королевской династии Франции. Герцог Энгиенский был Бурбон-Конде.

Стр. 26. *«Я показал им путь славы: они не хотели; я открыл им мои передние: они бросились толпой...»* — В годы консульства и затем империи дворяне-эмигранты возвращались во Францию. Многие из них нашли благосклонный прием при дворе Наполеона, а некоторые стали видными государственными деятелями.

Стр. 28. *«Общественный договор» Руссо.* — В своем сочинении «Об общественном договоре, или Принципы политического права», увидевшем свет в 1762 году, Ж.-Ж. Руссо утверждал, что основу политической власти должен составлять «общественный договор». Из условий этого договора он выводил право народа на переустройство общественных отношений. Для русских декабристов, так же

как и для деятелей французской революции и для Наполеона в молодости, был характерен интерес к идеям Руссо. Декабрист Н. Н. Муравьев, например, рассказывает в своих «Записках» о том, как взволновало его, шестнадцатилетнего юношу, чтение «Contrat Social» Руссо с его идеями всеобщего равенства и перевоспитания человека: «Чтение Руссо образовало мои нравственные наклонности и обратило их к добру» (М. В. Нечкина. А. С. Грибоедов и декабристы. М., Гослитиздат, 1947, с. 100).

Стр. 29. *...18 брюмера...* — 9—10 ноября (по республиканскому французскому календарю 18—19 брюмера) 1799 года Наполеон Бонапарт произвел государственный переворот, в результате которого вся власть над Французской республикой передавалась трем консулам, а фактически оказалась в руках первого консула, то есть Наполеона.

А пленные в Африке, которых он убил? — Четыре тысячи турецких солдат, при взятии сирийского города Яффы добровольно сдавшихся в плен, при условии, что им будет сохранена жизнь, были расстреляны по приказу Наполеона (якобы в наказание за убийство французского парламентера).

...на Аркольском мосту... — В сражении 15—17 ноября 1796 года с австрийской армией на севере Италии, при местечке Арколе, Наполеон, командовавший французской армией, рискуя жизнью, бросился вперед на мост, со знаменем в руках.

...в госпитале в Яффе, где он чумным подает руку... — Сирийская гавань Яффа была взята штурмом французскими войсками 6 марта 1799 года. Чума, свирепствовавшая в городе, губила и местное население, и армию завоевателя. Наполеон вместе с маршалами Бертье и Бессьером посетил в Яффе чумной госпиталь.

Стр. 33. *...это были Записки Цезаря...* — «Записки о галльской войне» знаменитого римского полководца Юлия Цезаря (100—44 гг. до н. э.). В тогдашней военной среде «Записки» Цезаря пользовались большой популярностью. В одной из дневниковых записей 1857 года Толстой сопоставляет историческую роль Цезаря, установившего диктатуру императорской власти в Древнем Риме, с наполеоновским переворотом: «Ежели бы не было истории Кесаря, не было бы Наполеона» (т. 47, с. 205).

Стр. 55. *Саломони* — выдающаяся оперная артистка, дочь балетмейстера итальянца Иосифа Соломони, приехавшего в Москву в 1782 году, выступала зимой 1805—1806 годов в составе гастролировавшей немецкой труппы.

Стр. 59. *...ты только madame de Genlis...* — Французская писательница Стефания Жанлис (1746—1830) была известна своими нравоучительными романами.

Стр. 60. *...с наших театров у Румянцевых.* — Домашний театр графов Румянцевых находился в их подмосковном имении Троиц-

кое-Кайнарджи, названном так в память о Кучук-Кайнарджийском мире с турками, заключенном П. А. Румянцевым в 1774 году.

Стр. 62. *...у графа Орлова такого обеда не бывало...* — Граф А. Г. Орлов-Чесменский (1737—1807), фаворит Екатерины II; после Турецкой войны 1774 года вышел в отставку и жил в Москве. О роскошных балах и обедах в Нескучном дворце графа Орлова несколько раз вспоминает С. Жихарев в своем «Дневнике студента» (С. П. Жихарев. Записки современника с 1805 по 1819 г., ч. I.— Дневник студента. СПб., 1859; книга хранится в Яснополянской библиотеке).

...проехала по устланной соломой улице... — Таков был старинный обычай: устилать слоем соломы улицу против дома, где лежит тяжелобольной (чтобы заглушить шум экипажей).

Стр. 68. *Англии конец... не успел договорить приговора Питту...* — Вильям Питт (1759—1806) руководил в конце XVIII — начале XIX века внешней политикой Англии; ярый противник французской революции, а с 1804 года — Наполеона.

Стр. 69. *...о Булонской экспедиции? ...Билльнев бы не оплошал!* — В 1804—1805 годах Наполеон создал в Булони, на северном берегу Франции, мощный военный лагерь и готовил высадку десанта в Англию. Адмиралу Билльневу, командующему соединенным франко-испанским флотом, он приказал осенью 1805 года направиться из Средиземного моря в Ла-Манш и присоединиться к ла-маншской эскадре. Билльнев, блокированный английским флотом, господствовавшим на Средиземном море, не смог исполнить приказ и действительно «оплошал» (21 октября 1805 года в морской битве при Трафальгаре адмирал Нельсон уничтожил его флот; сам французский адмирал был взят в плен). В то же время стало известно, что русские войска выступили на помощь Австрии. Отказавшись от вторжения в Англию, Наполеон двинул свою армию к границам Австрии. Все европейские и русские газеты расценивали Трафальгар как крупнейшую победу союзников.

Стр. 73. *...о войне, которая была объявлена манифестом о наборе.* — Манифест Александра I о начале войны и о наборе был объявлен в Москве 1 сентября 1805 года, но еще 10 августа русская гвардия под командованием цесаревича Константина вышла из Петербурга для соединения с австрийской, так что манифест (о котором знали раньше, хотя и не читали его, и потому могли говорить о нем на именинах у Ростовых 26 августа) был лишь официальным заявлением о начале войны.

Стр. 77. *...когда он в случае был...* — «Быть в случае», «попасть в случай» — выражения XVIII века, относившиеся к людям, которые быстро и случайно возвысились при дворе. Во время царствования Екатерины II такими «людьми в случае» становились обычно ее любовники. В образе старого графа Безухова Толстой, видимо,

воспроизвел некоторые черты канцлера А. А. Безбородко, пользовавшегося «неограниченной доверенностью императрицы». Он был крупным помещиком на Украине (Пьер получил в наследство большие имения в Киевской губернии), очень богат, холост, имел побочных детей, жил на широкую ногу, умер стариком в 1799 году.

Стр. 79. *...манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге... новые усилия».* — Цитату из манифеста 1 сентября (см. прим. к стр. 73) Толстой приводит по книге С. П. Жихарева «Дневник студента» (запись 7 сентября 1805 г.).

Стр. 80. *...Суворова — и того расколотили à plate couture...* — Во время швейцарского похода Суворова осенью 1799 года австрийское командование не доставило вовремя продовольствие и вьючный транспорт; противник воспользовался этим для разгрома войск по частям. Французы нанесли при Цюрихе поражение русскому корпусу А. М. Римского-Корсакова и австрийскому корпусу Ф. Готце. Суворов же, вопреки суждению Шиншина, не только не был разбит, но с 20—22-тысячным отрядом, окруженный 80-тысячной армией французов, успешно вырвался из окружения, совершив легендарный переход через Альпы.

Стр. 84. *...квартет «Ключ»...* — Существует предположение, что он написан Моцартом. По воспоминаниям ученика яснополянской школы В. С. Морозова и С. Л. Толстого, этот «благозвучный старый романс в итальянском стиле» распевал сам Толстой со своими учениками. Слова и ноты романса записал С. Л. Толстой (напечатано в сб. «Звенья», М. — Л., «Academia», 1934, и повторено в книге: Б. И. Кандиев. Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир». Комментарий. М., 1967, с. 76—78).

...вновь выученную... песню... — Текст песни взят Толстым из «Дневника студента» С. Жихарева (запись 5 января 1806 г.). Стихи принадлежат Д. А. Кавелину, отцу известного историка и юриста К. Д. Кавелина.

Стр. 85. *Данило Купор была собственно одна фигура англеза.* — Англез — старинный английский танец, отличавшийся живым характером и легкостью движений (во Франции получил название контрданса). Известный мемуарист Ф. Ф. Вигель пишет в своих «Воспоминаниях»: «Одному из сих контрдансов дано было имя Данилы Купера, вероятно, в честь композитора его, какого-нибудь англичанина Cooper» (Ф. Ф. Вигель. Воспоминания, ч. I. М., 1864, с. 62; впервые опубликованы в 1856 г. в «Русском вестнике»).

Стр. 87. *...глухая исповедь...* — религиозный обряд, в котором священник отпускает грехи умирающему, сам перечисляя ему на ухо его главные грехи.

Главнокомандующий Москвы... — В 1804—1806 годах генерал-губернатором Москвы был А. А. Беклешов.

Стр. 110. *От Элоизы?* — Переписку княжны Марьи старый Болконский иронически сравнивает с сентиментальным романом в письмах Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Источником этой переписки в «Войне и мире» послужил «целый волюм» писем фрейлины М. А. Волковой к ее подруге В. И. Ланской. Эту рукопись Толстой внимательно читал в 1863 году (напечатаны частично в «Русском архиве», 1872, декабрь; полностью — в «Вестнике Европы», 1874, № 8—12).

Стр. 111. *Ключ таинства...* — книга немецкого писателя-мистика К. Эккартсгаузена (1752—1803) «Ключ к таинствам натуры».

Стр. 120. *Дюссековой сонаты.* — И.-Л. Дюссек (1761—1812) — чешский пианист и композитор.

Стр. 125. *Михельсона армию я понимаю, Толстого тоже... высадка единовременная... Южная армия что будет делать? Пруссия, нейтралитет... Австрия что?.. Швеция что? Как Померанию перейдут?* — План войны с Наполеоном, разработанный генералом Винценгероде, предполагал нападение на Францию с нескольких сторон. Шведы, англичане и 20-тысячный отряд русской армии под начальством генерала П. А. Толстого должны были, высадившись десантом, действовать с севера, через Померанию и Ганновер. С востока наступали русские и австрийцы под начальством Михельсона и Бенигсена, к ним же должна была присоединиться прусская армия; в Галиции, для операций по Дунаю, — южная русская армия под командованием Кутузова и Буксгевдена и баварская армия австрийцев. Другая армия австрийцев должна была действовать на севере Италии, а в центре Италии — русский корпус Анрепа, англичане и Неаполитанский король. Сдача Ульма, Вены и поражение под Аустерлицем, в сущности, завершили кампанию. Пруссия так и не вступила в коалицию; северная армия не успела приступить к военным действиям; Неаполитанское королевство было занято французскими войсками и перестало существовать.

«Мальбрук в поход поехал, бог весть когда вернется».— Шуточная французская песенка начала XVIII века, когда английский герцог Мальборо во главе английского войска вел войну с Францией.

Стр. 128. *...разве... Суворов не попался в ловушку, которую ему поставил Моро...* — Одержав победу над французскими войсками под командованием Моро у Нови (15 августа 1799 г.), Суворов вместо преследования отступающей армии Моро вынужден был по приказу австрийского командования двинуться в Швейцарию. Окруженный французами, занявшими все выходы из гор, Суворов со своим отрядом успешно вырвался из окружения (см. прим. к стр. 80).

...коли бы у Суворова руки свободны были; а у него на руках сидели хофс-кригс-вурст-шнапс-рат. — Высшее австрийское военное учреждение, которому вынужден был подчиняться Суворов,

называлось «Придворный военный совет» («Хофскригсрат»). Болконский высмеивает его, именуя «Придворный военный колбасно-водочный совет».

Немца Палена в Новый-Йорк, в Америку, за французом Моро послали... — Генерал Моро, арестованный за участие в заговоре против Наполеона в 1804 году, был судим, изгнан из Франции и уехал в Америку. В 1805 году Александр I отправил к нему графа Ф. П. Палена с приглашением вступить в русскую службу для борьбы с Наполеоном. Пален возвратился с пути в Америку, получив известие об Аустерлицком сражении и конце войны. В 1813 году Моро участвовал в военных действиях против наполеоновской армии и погиб в сражении при Дрездене.

Стр. 130. *...привезенный из-под Очакова.* — Очаков — турецкая крепость в устье Днепра, взятая штурмом Суворовым во время русско-турецкой войны 1787—1791 годов.

Стр. 140. *И на Царицыном Лугу...* — Площадь в Петербурге, где проходили парады и смотры. С 1818 года стала называться Марсовым полем.

Стр. 144. *...конвой кроатов.* — Кроаты — немецкое название славянского народа хорватов. Хорватия входила в состав Австрийской империи.

Стр. 145. *Еще измаильский товарищ...* — М. И. Кутузов участвовал в турецких войнах екатерининского времени. Вместе с Суворовым в 1790 году брал крепость Измаил.

Стр. 148. *Теперь пруссак бунтует.* — См. прим. к стр. 9—10.

...как немцы нам коляски подавали. — Речь идет об австрийцах. Русская армия выступила в поход из Радзивиллова 13 августа 1805 года и продвигалась очень медленно. Австрийцы тоже не спешили, полагая, что армия Наполеона все еще находится на севере Франции. Между тем французская армия быстрыми переходами двигалась к Вене и менее чем через двадцать дней оказалась вблизи Дуная. Когда в начале сентября стало известно, что войска Наполеона уже на Рейне, отряд Кутузова (50 тыс. человек) был посажен на подводы, офицеры — в коляски; везли по 45—50 верст (вместо 20—30 пешком) в сутки.

Стр. 150. *...фараон заложишь...* — карточная азартная игра.

Стр. 151. *...основываясь на последнем письме, которым почтил меня его высочество эрцгерцог Фердинанд...* — Это письмо эрцгерцога Фердинанда (от 26 сентября/8 октября 1805 г.) приведено в книге А. И. Михайловского-Данилевского «Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 году» (СПб., 1844, с. 41—43), откуда его и взял Толстой. В черновиках «Войны и мира» чтение письма, которое «извещало о самом выгодном положении армии», в то время как уже доходили слухи о «совершен-

ном поражении австрийских войск», обставлено торжественными и потому особенно ироничными подробностями.

Стр. 153. *...от графа Ностица...* — Г.-И. Ностиц, австрийский генерал, в 1805 году командир кроатов; в 1807 году вступил на русскую службу.

Стр. 157. *Сорок тысяч человек погибло, и союзная нам армия уничтожена...* — В сражениях под Ульмом и при капитуляции крепости в плен сдалось около шестидесяти тысяч австрийцев. Генерал Мак был отпущен с обязательством не участвовать в сражениях против французов.

Стр. 158. *...поводья трензеля.* — Поводья от железных удил (в отличие от мундштучных).

Стр. 159. *...широкие чикчиры...* — кавалерийские шаровары с кожаными вставками.

Стр. 171. *...кутасы...* — шнуры и кисти на киверах — высоких круглых головных уборах, введенных в русской армии при Александре I (раньше были треуголки).

Стр. 174. *...вальтрап...* — покрышка на седло в кавалерии (чепрак).

Стр. 175. *Только бы на Подновинское!* — Место в Москве (между современной площадью Восстания и Проточным переулком), где происходили праздничные гулянья и катанья на масленице.

Стр. 183. *...г'убай в пéси...* — Толстой взял эту фразу из сочинения Д. Давыдова «Материалы для истории современных войн». Как вспоминал Д. Давыдов, во время войны 1806—1807 годов его боевой товарищ полковник Юрковский, венгр по происхождению, перед атакой кричал казакам эту фразу («рубай их в песи») и тем «покрыл себя славой» (Сочинения Д. В. Давыдова. Изд. 4-е, исправленное и дополненное по рукописям автора, ч. 2. М., 1860, с. 104. Книга сохранилась в Яснополянской библиотеке).

Стр. 184. *...дела при Ламбахе, Амштетене и Мельке...* — Все эти три сражения вел шеститысячный отряд под командованием Багратиона, посланный Кутузовым задержать французов и тем спасти русскую армию, отступавшую от Кремса к Цнайму. 1 ноября (20 октября) 1805 года при Ламбахе произошло первое столкновение русских с французами. Посланные Багратионом два егерских полка, эскадрон павлоградских гусаров и рота артиллерии в течение пяти часов удерживали авангард французской армии Мюрата. 5 ноября (24 октября) завязалась схватка французского авангарда со всем русским арьергардом при Амштетене, а через несколько дней — у Мелька. Этот же отряд Багратиона выдержал Шенграбенское сражение.

Стр. 189. *И канцлер, и наш посланник в Вене...* — Министр иностранных дел князь А. А. Чарторыйский (1770—1861) и князь А. К. Разумовский (1752—1836).

Стр. 191. *...Бонапарте в Шенбрунне... Врбна, отправляется к нему за приказаниями.* — В венском императорском дворце разместилась в ноябре 1805 года главная квартира Наполеона (Вена была взята 13 (1) ноября). Граф Рудольф Врбна выступал посредником в переговорах австрийцев с французами.

Стр. 192. *А мост... и князь Ауэрсперг?*— См. прим. к стр. 198—199.

...большие колпаки... — французское выражение, означающее высшее начальство.

...берлинское свидание императора Александра с прусским королем. — В октябре 1805 года Александр I отправился в Берлин, чтобы все-таки склонить прусского короля Фридриха-Вильгельма III к участию в войне с Наполеоном. Там был заключен тайный договор, торжественно обставленный в Потсдаме клятвой при гробе Фридриха II, однако он не имел никаких последствий. Правда, прусский дипломат Гаугвиц был направлен с ультиматумом к Наполеону, но не спешил, прибыл в Вену уже после поражения русско-австрийской армии под Аустерлицем и, вместо вручения ультиматума, вынужден был поздравить Наполеона с победой и согласиться на все требования победителя, обещавшего при этих условиях заключить союз с Пруссией.

...нового Campo Formio. — Близ Кампо-Формио был подписан 17 октября 1797 года мирный договор между Французской республикой и Австрийской империей, завершивший победоносный Итальянский поход Наполеона Бонапарта. Наполеон получил право хозяйничать в Северной Италии и на левом берегу Рейна.

Стр. 193. *...надо его избавить от и... просто Бонапарт.* — Уроженец Корсики, Наполеон носил фамилию Буонапарте (Наполионе ди Буонапарте). С начала итальянского похода, возглавив французскую армию, он стал подписываться Бонапарт — это звучало по-французски. Под именем Наполеона Бонапарта он стал и императором Франции. Противники Наполеона продолжали называть его Буонапарте.

...pour les beaux yeux du сардинское величество. — По мирному договору с Наполеоном в 1796 году сардинский (пьемонтский) король Виктор-Амедей вынужден был уступить Франции Ниццу, Савойю, лучшие крепости и ряд других пунктов. Пруссия при Потсдамском свидании настояла, чтобы Наполеону был предъявлен ультиматум, в который входило и требование вознаградить сардинского короля.

...проекты мира, тайного мира, отдельно заключенного. — Еще до сдачи французам Вены австрийский император Франц посылал к Наполеону посла с предложением перемирия. Наполеон выдвинул неисполнимые условия. Перед поспешным отъездом из Вены накануне взятия ее французами император Франц снова послал Наполеону предложение перемирия, но Наполеон не согласился принять его.

Стр. 195. *...непринятием нашей депеши от 28 ноября...* — Посла-

ние Александра I, о котором здесь идет речь, было направлено в Берлин после Аустерлицкого сражения. Наполеон диктовал Австрии тяжкие условия мира, и Александр вновь побуждал прусского короля вступить в войну. Текст письма приведен в указанной книге А. Михайловского-Данилевского, с. 238. Наполеон вызвал Гаугвица, пригрозил ему вторжением в Силезию, и с Пруссией был заключен мирный договор.

Демосфен, я узнаю тебя по камню, который ты скрываешь в своих золотых устах! — По преданию, знаменитый афинский оратор Демосфен в молодости отличался неясностью произношения и боролся с ней, кладя в рот камешки и стараясь выговаривать слова как можно отчетливее.

Стр. 198—199. *...французы перешли мост... направляются на нас, на вас и на ваши сообщения.* — История взятия французами венского Таборского моста была действительно очень близка к анекдоту, рассказанному Билибиным. Три маршала: Мюрат, Ланн и Бельяр (не Бертран) и саперный полковник Дод, искусно спрятав батальон гренадеров в кустах и зарослях, сами без прикрытия явились к предмостному укреплению и объявили растерявшимся австрийцам, которым велено было при первом появлении неприятеля взорвать мост, что уже заключено перемирие. После этого они прошли мост, вызвали генерала князя Ауэрсперга, повторили свою выдумку о перемирии, и, по данному сигналу, раньше чем Ауэрсперг успел ответить, французские гренадеры выскочили из кустов и бросились на австрийцев и на пушки, расставленные на мосту. Австрийцы пытались оказать сопротивление, но оно было быстро сломлено.

Стр. 199. *...тот Тулон...* — Взятие Тулона, ставшего осенью 1793 года центром контрреволюционного восстания роялистов на юге Франции, — первое военное сражение, выигранное Наполеоном. Бонапарт — тогда еще молодой капитан, исполнявший должность помощника начальника осадной артиллерии, — шел впереди штурмующей колонны и был ранен. Город был взят республиканской армией 17 декабря 1793 года по плану, разработанному Наполеоном. Бонапарт стал после этого сражения генералом.

Стр. 202. *«Cette armée russe... le même sort»...* — Слова из прокламации Наполеона от 21 октября 1805 года, обращенной к «солдатам Великой армии». Приведена в книге А. Тьера «История консульства и империи»: «Histoire du Consulat et de l'Empire» par A. Thiers, t. II, Bruxelles, 1846, p. 41.

Стр. 210. *...письмо к Мюрату...* — Письмо Наполеона к Мюрату (от 16 ноября 1805 г.) взято Толстым из той же книги А. Тьера, т. II, с. 87.

Стр. 218. *...коли бы возможно было знать, что будет после смерти... есть атмосфера одна.* — Разговор офицеров о бессмертии имеет

своим источником статью И.-Г. Гердера «Человек сотворен для ожидания бессмертия», напечатанную в июльском номере «Вестника Европы» за 1804 год (журнал сохранился в Яснополянской библиотеке). Имя Гердера прямо упоминается в черновиках этого эпизода.

Стр. 220. *...как-то особенно говорится титул князь...* — По-французски можно сказать monsieur le comte (граф); обращаясь же к князю, требовалось говорить mon prince (без слова monsieur).

Стр. 227. *...Тьер говорит...* — Приводится цитата из указанной книги Тьера «История консульства и империи», т. II, с. 87.

...Наполеон на острове Св. Елены сказал... — Суждения Наполеона, высказанные им на острове Святой Елены, были записаны графом Лас-Казом. Первое издание книги Лас-Каза вышло в Париже в 1822—1823 годах; книга сохранилась в Яснополянской библиотеке: de Las Cases, comte. «Memorial de Sainte-Hélène». Parties I—II. Paris. Толстой считал эту книгу «самым драгоценным материалом» для разоблачения мнимого величия Наполеона (т. 65, с. 4—5).

Стр. 250. *...о пребывании государя Александра в Потсдаме...* — См. прим. к стр. 192.

Стр. 257—258. *...рескрипт государя Александра Павловича из армии... Сергей Кузьмич! Со всех сторон доходят до меня слухи и т. д.* — Текст рескрипта, отправленного из Ольмюца в Петербург, приведен в книге А. Михайловского-Данилевского, с. 158.

Стр. 290. *...писались брульоны...* — черновики.

Стр. 303. *...подойдет еще корпус Эссена...* — Генерал И. И. Эссен командовал русским корпусом, который должен был действовать вместе с австрийцами. Во время сражения находился в 60 верстах от Аустерлица.

Стр. 307. *...Буонапарте потерял свою латынь.* — Буквальный перевод французской поговорки (perdre son latin), означающей: растеряться, стать в тупик.

Стр. 307—308. *...получено от него письмо к императору... как ему адресовать ответ?* — 13—15 (25—27) ноября 1805 года произошел обмен любезными письмами между Наполеоном и Александром I. Письма приведены в книге А. Михайловского-Данилевского, с. 147—148.

Стр. 308. *Мой брат знает его...* — Полковник М. П. Долгоруков (1770—1808) в начале 1800 года находился в Париже в связи с разменом военнопленных.

...анекдоты с графом Маркóвым? — Граф А. И. Марков (1747—1827) был русским посланником в Париже в 1801—1803 годах.

Стр. 309. *...министр иностранных дел, князь Адам Чарторижский... эти-то люди решают судьбы народов.* — А. А. Чарторыйский — один из близких к Александру I лиц в первые годы его царствования. В 1804—1806 годах министр иностранных дел. Сто-

ронник союза с Англией и Австрией, Чарторыйский надеялся в войне с Наполеоном добиться восстановления Польши (в династической унии с Россией). Поражение при Аустерлице охладило Александра к Чарторыйскому и его плану переустройства Европы.

Стр. 315. *Офицер этот был Савари.* — Герцог Ровиго де Савари (1774—1833), французский генерал, в 1802—1805 годах начальник тайной полиции. Миссия Савари представляла собой тонко рассчитанную военную хитрость: Наполеон хотел показать, что он слаб, ищет мира, в то время как усиленно готовился к генеральному сражению. Оно произошло через два дня — при Аустерлице.

Стр. 317. *...кунктаторов.* — Римский полководец Фабий в борьбе с Ганнибалом, вторгшимся в III веке до н. э. в Италию, придерживался крайне осторожной тактики, избегая крупных столкновений и стараясь затягиванием войны добиться истощения противника (отсюда и его прозвище Кунктатор, то есть Медлитель). В русско-австрийском лагере кунктатором называли Кутузова.

Стр. 318. *...генерал Вимпфен, граф Ланжерон, князь Лихтенштейн, князь Гогенлоэ...* — Австрийский генерал М. Вимпфен был в 1805 году прикомандирован к штабу Кутузова; французский эмигрант граф Ланжерон вступил в русскую службу в 1790 году; австрийский фельдмаршал князь Лихтенштейн после Аустерлицкого сражения вел переговоры о мире в Пресбурге; прусский генерал князь Гогенлоэ участвовал в сражении под Аустерлицем, а год спустя был разбит Наполеоном в битве под Иеной.

...и еще Пржпршипрш... — Имеется в виду генерал И. Я. Пржибышевский. Командовал третьей колонной русских войск, в самом начале Аустерлицкого сражения взят в плен французами. По возвращении из плена в Россию был отдан под суд и приговорен к разжалованию на один месяц в солдаты, а после этого—к отставке от службы.

...был бы третий, граф Аракчеев... — В 1805 году под Аустерлицем А. А. Аракчеев находился только в свите Александра I.

Стр. 326. *...против самого Гурьева дома... Старик Гурьев...* — Большой дом на углу Тверской улицы и Малого Гнездниковского переулка стал принадлежать Гурьевым лишь с 1839 года; в начале XIX века его занимал князь А. А. Прозоровский.

Стр. 329. *Приказ Наполеона был следующий...* — Приказ приведен в книге А. Тьера «История консульства и империи», т. II, с. 95.

Стр. 358. *...узнал князя Репнина...* — Генерал-адъютант Н. Г. Репнин (1778—1833) в 1805 году командовал эскадроном кавалергардского полка. Во время атаки он был контужен в грудь и ранен пулей в голову. С остатками эскадрона, от которого уцелело 18 человек, взят в плен.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЙНА И МИР

ТОМ ПЕРВЫЙ

Часть первая 7
Часть вторая 139
Часть третья 246
Примечания 361

Лев Николаевич Толстой

Собрание сочинений, том 4

Редакторы *К. Нещименко* и *Г. Колосова.* Художеств. редактор *С. Данилов*
Технический редактор *О. Ярославцева.* Корректоры *Р. Пунга* и *А. Юрьева*

Сдано в набор 21/XII 1972 г. Подписано к печати 4/IV 1973 г. Бумага № 1 $84\times108^1/_{32}$—11,75 печ. л. 19,74 усл. печ. л. 21,14 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ 622. Цена 1 руб.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Гатчинская ул., 26.

Толстой Л.

Т 53 Собрание сочинений. В 12-ти томах. Т. IV. Война и мир. Т. I. Примеч. Л. Д. Опульской. Оформл. худ. И. Жихарева. М., «Худож. лит.», 1973.

376 с.

Роман-эпопея «Война и мир», по словам И. С. Тургенева, — «великое произведение великого писателя — это подлинная Россия».

В первом томе рассказывается о начальном этапе войны России с бонапартистской Францией, о Шенграбенском и Аустерлицком сражениях.

Первый том — это также повествование и о «мире», о «настоящей жизни» главных героев романа — Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи и Николая Ростовых.

Первый том — это и рассказ о «ненастоящей жизни» Курагиных, Друбецких — героев карьеры, поглощенных своими мелкоэгоистическими интересами и заботами.

7—3—1 РI

Подп. изд.


4
Л.Н.ТОЛСТОЙ